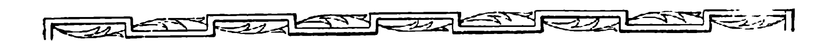


ГР. ГУКОВСКИЙ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XVIII ВЕКА

Государственное Издательство
"Художественная Литература"
Ленинград—1938

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ
АКАДЕМИИ НАУК
СССР



Настоящая книга является результатом работы, начатой в 1935 г. и продолженной в 1936 и 1937 гг. В другой книге («Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750—1770-х гг.», 1936) я изучал мировоззрение Сумарокова и его школы, оказавшееся ведущим в дворянской литературе середины столетия. В настоящей книге я ставлю новую задачу, подводящую меня к проблематике изучения литературы начала XIX столетия, в конце концов — к Пушкину. В центре моего внимания — демократические течения литературы и общественной жизни второй половины и — ближе — конца XVIII столетия, подготовлявшие возможность появления глубоко-народного творчества Пушкина. Естественно, что Радищев является центром всего этого движения. Затем меня занимает, также в связи с Радищевым, вопрос о формировании элементов художественного реализма в русской литературе XVIII века, подготовлявших почву для пушкинского гениального созидания реалистического искусства.

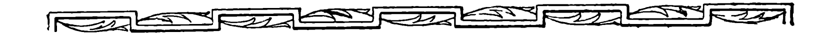
Постановка вопросов демократической литературы и элементов реализма в конце XVIII века необходимо требует уяснения отношений между радищевской традицией и во многом противоположной ей традицией русского дворянского сентиментализма, завершенного Карамзиным и видоизмененного Жуковским. Воздействие «карамзинизма» на творчество юного Пушкина

заставляет присмотреться к истокам этого движения, тем более, что элементы сентиментализма свойственны и радищевскому творчеству; при этом следует подчеркнуть существенную и принципиальную разницу обоих течений — радищевского и карамзинского. В настоящей книге я пытаюсь поставить вопрос об истоках русского дворянского сентиментализма, останавливаясь на характернейшей фигуре его — М. Н. Муравьеве, которого, может быть, и следует считать его истинным родоначальником.

Мне пришлось в настоящей книге нередко прибегать к обильному цитированию материала, поскольку приходится говорить о людях и произведениях забытых или вообще малоизвестных. Иногда же, как в отношении к Радищеву, цитация была необходима в порядке аргументации положений, существенно важных и преодолевающих старые буржуазно-либеральные точки зрения. Некоторые главы книги развивают положения, высказанные в моей вступительной статье к однотомнику «Русская литература XVIII века» (Гослитиздат, 1937); однако и по сравнению с этой статьей ряд моих установок подвергся переработке.

Гр. Г

29 сентября 1937 г.



ВОКРУГ РАДИЩЕВА

1

Формирование новой русской литературы в эпоху великого Пушкина и в его творчестве не могло явиться и не явилось чем-то не обоснованным опытом предшествующей русской культуры. Все основные проблемы пушкинского творчества, — каждая порознь во всяком случае, — были намечены литературой XVIII столетия. В частности, проблемы народности, глубочайшего демократизма пушкинского наследия, органически связанные с вопросами пушкинского реализма, требуют для своего разрешения обращения к допушкинскому прошлому русской литературы и культуры вообще.

В. И. Ленин говорит: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты; мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика». [1]

[1] *В. И. Ленин,* Соч., т. XVIII, стр. 81.

Итак, линия преемственности революционной мысли и революционного действия, традиция подлинного демократизма в России находит свое первое замечательное проявление в деятельности Александра Николаевича Радищева.

Радищев — поистине колоссальная фигура. Я полагаю, что очень и очень многое в русской действительности и культуре конца XVIII и начала XIX веков может нам уяснить именно изучение Радищева. Он был итогом накопления сил демократической мысли, и он явился на заре будущих революционных движений, — декабристского ближайшим образом. Пушкин, поэт декабристского движения, органически связан с опытом Радищева, определившим вообще множество наиболее прекрасных проявлений творческого духа и освободительной мысли в русском обществе в начале XIX столетия, да и много позднее. К сожалению, приходится констатировать, что и до сих пор не до конца изжиты привычки недооценки Радищева, как не до конца изжиты и контрреволюционные «методы» фальсификации Радищева. Милюков, Мякотин, Павлов-Сильванский, Туманов, а после этих буржуазных политиков и историков их «ученики», усиленно старались изобразить Радищева кадетствующим либералом-одиночкой или даже учителем русских царей. Ленинская цитата, приведенная выше, должна быть противопоставлена этим попыткам исказить образ Радищева.

Самая острота вопроса о Радищеве на протяжении ряда десятилетий, самое то обстоятельство, что и кадетские и другие буржуазные идеологи считали необходимым и важным бороться за Радищева, присваивать Радищева себе, делать его своим патроном, приглаживая его по своему образу и подобию, — все это показывает, конечно, значение самого Радищева. Это была сила, и Милюков не мог не понимать этого. И вот именно потому-то и нужен был Милюкову Радищев укороченный, разбавленный розовой водой, смягченный и «невинный». Давно уже пора положить конец затушевыванию вопроса о Радищеве. Пора уже полным голосом сказать, что Радищев — это революционер, просветитель, что Радищев — это великий мыслитель, великий писатель, человек, титаническая фигура кото-

рого возвышается над целым полустолетием, что без Радищева нет русской культуры конца XVIII — начала XIX столетия.

В своем «Путешествии» Радищев выступил как подлинный демократ, выступил от лица всего народа против крепостников и их правительства, выступил с призывом к народной революции. Не может не заинтересовать исследователя вопрос о том, откуда и каким образом возникло такое мироощущение, такой пафос борьбы у дворянина, немаловажного чиновника, человека, по внешней видимости несомненно принадлежавшего к петербургскому «свету», «высшему обществу», человека, как будто бы всеми условиями своего бытия отдаленного от народа. Кто повлиял и что повлияло на Радищева, сделало его революционным бойцом?

На этот вопрос пытались ответить так: Радищев и его семья разорялись, обуржуазивались и т. п., — отсюда радикализм. Ответ нелепый по существу, методологически и неверный фактически. Если Радищев обуржуазился, то почему он стал не буржуазным либералом, а революционером? Неужто же он злобился на режим за то, что разорялась его семья? Такая вульгарная клевета на Радищева не могла прийти в голову даже кадетским историкам, не пришла она в голову даже Екатерине II. Кроме того, Радищев был сыном крупного помещика; он вырос в богатой барской усадьбе, где одних дворовых слуг было до 250 человек, где был свой конный завод и т. д. Лишь с 1780-х гг., когда Радищев вполне уже созрел как революционный мыслитель, материальное благосостояние его отца стало постепенно расшатываться. [1] С другой стороны, Радищев сам не владел крепостными душами (имения принадлежали отцу), хотя он несомненно жил в Петербурге как вполне состоятельный человек.

Существует в науке другая тенденция, также биографически разрешающая данный вопрос: Радищев вывез радикализм из-за границы, из Лейпцига. Я полагаю, что помимо методологической узости такого решения, оно фактически не обосновано. В самом деле, откуда, собственно говоря, Радищев мог извлечь

---

[1] См. *П. Г. Любомиров,* Род Радищева.

в Лейпциге те веяния, которые его якобы воспитали как революционера? Мы знаем достаточно о Лейпцигском университете в 1760-е гг., как по книге Гете «Правда и вымысел», так и по обильным документальным материалам, — и совершенно ясно, что это рутинное казенно-схоластическое учебное заведение нисколько не могло дать Радищеву «якобинского закваса». Сам Радищев, судя по его сочинениям (см., например, «Житие Ф. В. Ушакова»), не сохранил благодарного воспоминания об университете, который «далеко не удовлетворял требованиям молодежи».[1] Что касается профессоров, известна стачка русских студентов против Беме. Популярные в среде студентов идеалист и эклектик Платнер и пиетист, моралист филистерского склада Геллерт ни в малой степени не были, конечно, радикально настроены. Их религиозное мировоззрение ничего не дало для радищевского «Путешествия». Конечно, Лейпцигский университет мог бы предоставить Радищеву относительно бо́льшую бытовую свободу, если бы не Бокум, т. е. если бы не щупальцы русской царской бюрократии, протянутые за Радищевым и в Лейпциг. Я полагаю, что пребывание в Лейпциге все-таки дало Радищеву немало, но в смысле общекультурной и научной подготовки. Поразителен тот факт, что с книгой Гельвеция «Об уме», по которой Радищев, по его словам, учился мыслить в Лейпциге, русских студентов познакомил вовсе не кто-нибудь из университетских профессоров или студентов, вовсе не кто-нибудь из их лейпцигских знакомцев вообще, а как раз наоборот: некий русский аристократ, заезжавший в Лейпциг на пути из Петербурга, может быть — граф Федор Орлов.

Конечно, было бы странно утверждать, что в Германии Радищев вовсе не мог найти местных людей, которые бы могли питать в нем зерна радикальной и демократической мысли. Такие люди, без сомнения, в Германии были. Но во всяком случае можно быть уверенным, что основные воздействия идеологического порядка, полученные Радищевым в Лейпциге, не способствовали его росту как революционного мыслителя.

---

[1] *Я. Л. Барсков,* Материалы к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, 1935, стр. 82.

Идеологическая атмосфера Германии 1760-х гг. — это ведь было совсем не то, что накаленная атмосфера Парижа того же времени. Правда, мы в сущности не знаем, каковы были взгляды Радищева во время его пребывания в Лейпциге. Но в 1773 г. он переводит Мабли и делает свое знаменитое примечание к слову «самодержавство», а в 1772 г. печатает отрывки из «Путешествия» в*** И*** Т***».[1] Несомненно, что, возвращаясь в Россию из Лейпцига, Радищев был уже в какой-то мере подготовлен к своему общественному служению (вспомним известное место из «Жития Ф. В. Ушакова» о переживаниях Радищева и Кутузова в момент возвращения). Это не значит, конечно, что уже в 1771 г., т. е. до восстания Пугачева, до американской революции, до того как Радищев достиг своей колоссальной учености, двадцати двух лет отроду, он мог быть тем самостоятельным и зрелым революционным мыслителем, каким он стал ко времени великой буржуазной революции во Франции. Но это значит, что еще юношей Радищев получил закваску демократической мысли. Получил он ее не в Лейпциге, а раньше (так же, вероятно, как и Ушаков), — вероятнее всего еще в Москве. И развилась эта юношеская здоровая основа в стройную систему, охватывающую все области практики и идеологии, также в России, — на протяжении 70-х и 80-х гг., главным образом под влиянием исторических событий этого времени и всей совокупности облика русской действительности второй половины XVIII столетия.

Дело в том, что и наличность русской культуры во второй половине XVIII века давала уже возможность для создания радищевского мировоззрения; дело в том, что Радищев не был ни безумцем, ни одиночкой, ни странным исключением, — несмотря на исключительное значение, на величие его, выделяющее его из среды явлений менее ярких; дело в том, что среда эта, воспитавшая Радищева, а затем, вероятно, и поддерживавшая его, *была*.

С 1757 г. по январь 1764 г. Радищев жил в Москве. Пажом он числился лишь с конца 1762 г., да и то, ве-

[1] Я считаю вопрос об авторстве «Отрывка» разрешенным окончательно; см.: Полн. собр. соч. Радищева, изд. Академии наук СССР, т. II (печатается).

роятно, весь 1763 год он жил по-старому, — т. е. у Аргамакова, где он учился и у республиканца-француза и у профессоров Московского университета. Это были годы, когда в университете уже работал Д. С. Аничков, когда в нем учился С. Е. Десницкий (в 1759—1760 гг.) и другие будущие ученые-демократы. Это были годы первых попыток самоопределения внедворянской общественной мысли, тогда очень заметных. Это были годы усиленного политического брожения, всевозможных дебатов, острой критики правительства и надежд на политическое обновление страны. Радищев был еще мальчиком: ему было в 1757 г. восемь лет, в 1763-м — четырнадцать. Но в XVIII веке мальчик одиннадцати-двенадцати лет мог быть уже интеллектуально почти взрослым человеком (вспомним Крылова). Через Аргамаковых юный Радищев не мог не быть знакомым с положением вещей в государстве. В Москве, где все интеллигентные люди в те времена знали друг друга наперечет и так или иначе были связаны с университетом, юноша Радищев был в центре умственной жизни. Он слышал речи, эпиграммы Сумарокова, Фонвизина и др., его воспитывал подъем демократической мысли. Радищев вырос на русской почве, — несмотря на то, что многим он обязан всей передовой западноевропейской культуре.

2

Русская дворянская культура новой петербургской государственности строилась с немалым запозданием. На Западе, в частности во Франции, уже наступал век буржуазии. Дворянский классицизм падал под ударами более или менее демократических движений в искусстве. И русский классицизм Сумарокова и его учеников рождался уже с трещиной. С другой стороны, играло роль и то обстоятельство, что специфически-дворянская и тем более придворная культура была в России XVIII века достоянием сравнительно небольшого слоя населения, окруженного морем народной стихии, — в искусстве — фольклора. Не только деревня XVIII века пела песни Московской Руси, но и купеческая молодежь не искала иных форм проявления

себя в слове, да и дворяне в большинстве не отказывались от старинного фольклорного ритуала ни при обряде свадьбы ни в эстетических утехах. И только знать в центре во время своих пиршеств заменяла хоровые песни волторнами, так же как она пыталась заменить исконное русское *ты* галантерейным западным *вы;* а все-таки еще в течение ряда десятилетий трудно усваивалось это *вы,* и обращение постоянно сбивалось на старину; в 1770 г. граф Иван Орлов писал графу Румянцеву: «Поздравляю тебя, вселюбезного моего друга, со днем прошедших твоих именин и желаю, чтоб будущие лета вам достигнуть по желанию своему»; или: «Прощай, мой милостивый граф, и верь, что я с непременным к вам почтением называюсь вашего сиятельства покорный и верный слуга». [1]

Фольклор оставался в быту всех слоев общества, более или менее признанный, в течение всего почти XVIII столетия. И если на ранних своих стадиях русские дворянские классики по примеру учителей классицизма Франции и Германии пытались отречься от этого «вульгарного» и старозаветного национального искусства, [2] то в эпоху краткой и неустойчивой стабилизации сумароковского классицизма даже дворянская литература культивировала интерес к фольклору. Тредиаковский печатно признавался, что русские народные песни повлияли на процесс создания им основ русского тонического стиха (образованного по немецкому примеру), хотя и считал нужным извиняться перед читателем, что он говорит о «мужицком» и «подлом» крестьянском искусстве. [2] Но уже Сумароков, завершитель канонов классицизма в русской дворянской литературе XVIII века, имитировал песенный фольклор, — вещь немыслимая для Расина или Буало. Русский помещик XVIII века воспринимал народную песню, прибаутку, поговорку, сказку от своей мамушки-нянюшки, от крепостного слуги или дядьки

---

[1] Письма братьев Орловых к гр. П. А. Румянцеву. С предисловием и примечаниями А. Барсукова. Спб. 1897, стр. 31 и 34.

[2] См.: «Способ к сложению российских стихов», 1735; «Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII веке», издал А. Куник, Спб. 1865, стр. 36; и «Мнение о начале поэзии и стихов вообще». Соч. и перев. В. Тредиаковского, Спб. 1752, т. I, стр. 170.

с самого детства, от своих крестьян у себя в поместье, от «скотницы Хавроньи», как Митрофан Простаков, от дядьки Цимбалды, как радищевский Фалелей Простяков.[1] Фольклор был для среднего русского помещика и для дворянского писателя не столько стихией крестьянского творчества, чуждого ему идеологически, сколько стихией исконно-русского феодального искусства; он пытался не замечать демократизма этого искусства ради его традиционности. Даже придворная среда, стараясь во второй половине столетия создать фикцию единения трона с народом, пропагандировала фольклор, подчищенный и приглаженный, но осмысляемый как национальное — навыворот — творчество; Екатерина II, плохо говорившая по-русски, надевала «русское» платье и приказывала придворным дамам носить такой же стилизованный костюм в качестве придворной официальной формы; она заказала Богдановичу собрание русских пословиц, которое и было издано, причем пословицы были, конечно, фальсифицированы в нужном правительству духе. А Елизавета Петровна еще попросту любила послушать народные песни — наряду с итальянской оперой, и ее фаворит Разумовский, бывший пастух, а потом певчий, очень хорошо пел эти песни.

Близость к фольклору вносила характерные черты в облик русского классицизма, чуждые и классицизму Буало и Расина и немецкому классицизму Готшеда. Эта близость к стихии народной речи отразилась и в метком, остром реалистическом слове Фонвизина, и в неорганизованной никакими учеными канонами речи Державина со всеми ее «неправильностями» с точки зрения школьной грамматики литературного языка дворянства, и даже в свободных рифмах его поэзии. И, может быть, самым далеким от народной стихии слова и искусства оказался Карамзин, несмотря на его умиление по поводу свободных швейцарских пастухов и на его поэму «Илья Муромец», более близкую к Ариосто, чем к былинам. Когда перед ним встал вопрос о романтическом воссоздании национальных культур в искусстве, ему было более с руки строить романтические образы в окружении испанской рыцарской традиции

[1] «Памятник дактило-хореическому витязю».

или оссиановских легенд, чем обратиться к русскому фольклору; тем же путем пошел и Жуковский; и здесь они следовали Западу; но для Вальтера Скотта или для германских поэтов германская романтика средневековья была полна своего национального пафоса, для русских она была чуждой, отводящей от своей действительности, от своего народа. Само собой разумеется, что демократические и даже буржуазные течения русской литературы использовали фольклор сознательно — как национальное и демократическое искусство русского народа, как свое собственное искусство. В этом ряду стоит отношение к фольклору Радищева. Вообще же говоря, давление, оказанное фольклором на все ответвления русской литературы XVIII века, демонстрирует огромный удельный вес народной культуры. Колоссальные фонды этой народной культуры оказывались настолько мощны, что эта культура не только удерживала позиции под напором дворянских форм эстетического бытия, но и вела наступление на враждебные ей позиции. Наличие крепкой традиции этого рода, плотно окружавшей фортеции дворянской культуры, не могло не создать благоприятных условий для развития демократического самосознания у таких людей, как Радищев или его предшественники.

Сделать новые формы искусства и идеологии дворянской интеллигенции достоянием хотя бы всего дворянства было очень трудно. Дворянство в массе было слишком неповоротливо и некультурно. Дикость и неграмотность фонвизинских Простаковых — вовсе не преувеличенная карикатура даже для 1770—1780-х гг. Когда дворяне должны были подписывать наказы своим депутатам в Комиссию сочинения Нового уложения 1767 года, то очень и очень многие из них не смогли сделать этого по простой причине: они были так основательно неграмотны, что не могли подписать своего имени; таких оказалось, например, в Оренбургской губернии — 60%, в Архангельской — 28%, в Московской — 17% и т. д. и редко в какой — 5% 4%,

Книга в дворянском быту была редкой и дорогой вещью; даже во второй половине столетия такие люди, как Щербатов, у которого была библиотека в пятнадцать тысяч томов, такие кружки, как кружок Хераскова, который объединял европейски образованных дворянских писателей, людей, знавших чаще всего два, три, четыре иностранных языка, следивших за новинками западных литератур, — такие явления были оазисами во все еще отсталой стране и в невежественном и консервативном классе.

К середине XVIII столетия русская книга имела иной раз больше доступа в купеческую и мещанскую среду, чем в дворянскую. В это время крепнет своеобразная буржуазная и мелкобуржуазная интеллигенция, и не только в столице, но и в провинции. Особое место рядом с ней занимают интеллигентные и нередко весьма радикально настроенные представители низового духовенства. Купец, мещанин, священник становятся потребителями книги, привыкают читать и сатирический листок, и классическую комедию, и серьезную книгу. Новиков писал в 1775 г.: «У нас те только книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые сим простосердечным людям [мещанам], по незнанию их чужестранных языков, нравятся... Напротив того, книги, на вкус наших мещан не попавшие, весьма спокойно лежат в хранилищах, почти вечною для них темницею назначенных».[1] А в 1789 г. Крылов писал в свою очередь о том, что «вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басни», а «Платоновы сочинения о должностях, наставление политикам о состоянии землевладельцев и о звании вельмож» — такие книги читают купцы и мещане.[2] И все же не следует преувеличивать размах, рост интеллигенции «третьего сословия», разночинцев, во всяком случае до второй половины XVIII столетия. Даже в пределах русского купечества, купец-интеллигент и при Погодине и еще при Островском — исключение; множество «посадских людей», ремесленников, однодворцев было неграмотно; немало провинциальных, сельских попов не умели читать и служили

---

[1] Предисловие к третьему изданию «Живописца».

[2] «Почта духов». Письмо XXVI (ч. III).

в церкви, затвердив службу и Евангелие наизусть. О культуре мелких чиновников, «подьячих» можно говорить лишь с большой осторожностью. Основная масса российского третьего сословия, конечно, приобщалась к передовой, новой европейской культуре по крайней мере столь же медленно, как и дворянская «масса». Если же русские книги расходились иногда (не всегда) в большем количестве в среде третьего сословия, чем в дворянской среде, то ведь дело было также в том, что дворянский интеллигент читал книги по-французски, по-немецки, а купец, мещанин чаще всего не знали иностранных языков. Дворянская библиотека XVIII века, как правило, в основном состояла из иностранных книг. Имея возможность непосредственно общаться с более развитой западной культурой, дворянский интеллигент высшего слоя видел в русской литературе уже только чисто-идеологическую среду реализации своего национально-классового самосознания, известный национальный и тактический придаток к своей западной культуре. Наоборот, купец и мещанин, читая только по-русски (и по-церковнославянски), замыкали весь свой кругозор русской книгой; они искали в ней и образовательных сведений, и практического руководства, и развлечения, и нравственного наставления, и во всем этом — идеологического осмысления своего социального самоощущения. Огромное количество переводов, заполнявших книжный рынок, было адресовано именно им, и рядом с ними — «второсортным» помещикам, не дотянувшимся до высшей дворянской культуры.

Уже этот вопрос о знании языков существенно определял разницу в культуре наиболее культурного слоя дворянства и наиболее культурного слоя «разночинцев» в средине века. Первые были культурнее вторых. Молодой дворянин-интеллигент, обученный еще с детства языкам, окончивший курс наук или в университете, или в корпусе, или дома, составлял себе библиотеку, старался «в просвещении стать с веком наравне» — и иногда действительно не уступал любому западному писателю ни в знаниях, ни в свободе обращения с новейшими идеями: таков был Кантемир, друг Монтескье, таков был Херасков в молодости, таковы были Никита Панин, Андрей Шувалов и др. Наоборот,

«разночинец», с трудом пробиваясь к книге, преодолевая косность и недоверие к ней в своей среде, оставался самоучкой, лишь исподволь, на досуге почитывающим книжку. Когда же он получал образование в учебном заведении помещичьего правительства и под ферулой дворянского руководства, его хотели заставить сделаться «подьячим», чиновником, слугой помещичьего режима, иногда — не только в канцелярии, но и в литературе, в науке.

Поэтому исторически характерным и важным фактом оказывается появление в 1760—1770-х гг. настоящих мыслителей-радикалов демократической ориентации.

К концу века положение существенно изменилось. Если культура Чулкова все же провинциальна, примитивна, уступает во многом — и прежде всего в социальной активности, а может быть и в смысле прогрессивности — культуре Фонвизина, то к концу века мы видим иное соотношение сил: Радищев был действительно наиболее передовым человеком своей эпохи — и он был в антипомещичьем лагере. Трудно достаточно оценить тот факт, что голосом бесправной массы заговорил писатель, стоявший на высочайших вершинах знания, философского понимания, литературной мысли своей эпохи. Радищев знал все, что только мог знать любой мыслитель Запада — от новейших открытий в области физики, естественных наук до новейших поэтических достижений всех европейских культур, от политической экономии до теории стиха. Он стоял на самых передовых позициях философского мировоззрения Европы его времени, и он понимал многое, еще только ощупью намечавшееся, например, французскими просветителями, ибо он осложнил их политические теории элементами историзма мировоззрения Гердера. Рядом с культурой Радищева — какой провинциальной ограниченностью веет от всей книжности Карамзина; как наивен он, как он мало догадывается о великих проблемах, решаемых или намечаемых Радищевым, как робка его мысль. Это было возмездие: консервативность убивала подлинную культурность; Карамзин, сидя в кабинете Канта, мог беседовать с ним, но главным образом о Китае. Он мог прочитать много книг, но он отставал, явственно отставал, не понимал того, что читал.

И в чисто художественном отношении: Сумароков с его изощренной ритмической, семантической, композиционной техникой смотрел свысока не только на «вирши» вроде «Плача холопов», тяжкого стона крепостного раба в неуклюжих — с точки зрения дворянского эстета — рифмованных строках, но и на топорную работу построения романа у Чулкова и на корявый язык у Эмина. И по отношению к Чулкову и Эмину он был прав более глубоко, чем он мог это понять сам; потому что Эмин и Чулков были слабы, — и прежде всего своей политической робостью, оппортунизмом, уступчивостью по отношению к хозяину страны — помещику. Но рядом с совершенной, до конца принципиальной формой радищевской книги, рядом с тончайшим пониманием эстетических проблем в работе этого мыслителя-революционера, карамзинская техника, — очень тонкая, впрочем, — оказывается и бледной и даже примитивной. Радищев и в области художественной оказался сильнее. Бороться с ним дворянская литература явно не могла; ей на помощь пришла дворянская власть, и борьба — уже не в искусстве, а непосредственно в политике — была разрешена приговором помещичьего суда над Радищевым.

4

1760-е годы — время оформления первых течений антидворянской идеологии в литературе и публицистике. В эти годы либералы-помещики еще охотно «вольнодумничали» и черпали свои идеи из источника буржуазно-прогрессивного мировоззрения западных просветителей. Просветительство стало официальной модой. Екатерина II, заигрывая с панинской — сумароковской группой независимых дворян, поощряла умеренное вольнодумство и просветительство — для дворян, просветительство, приноровленное к интересам дворянского культурного строительства. В среде культурной знати прогрессивные идеи имели усиленное хождение, мотивируя ее тенденции к политической и идеологической эмансипации. Сама Екатерина написала свой знаменитый «Наказ» Комиссии по составлению проекта Нового уложения 1767 года, в котором

скомпилировала работы Монтескье и юриста-просветителя Беккариа, сгладив буржуазно-прогрессивный характер их идей. Путешествуя с огромной свитой по Волге в 1767 г., Екатерина совместно со своими придворными, среди которых были и литераторы, предприняла коллективный перевод политической повести Мармонтеля «Велизарий», запрещенной на родине ее автора — во Франции. Тогда же группа писателей, ученых и придворных начала издание серии «Переводов из Энциклопедии», знаменитой «Энциклопедии» Дидро, также гонимой во Франции; это издание, выходившее под редакцией Хераскова, было инспирировано правительством; нужно указать, однако, что переводились наименее боевые и радикальные статьи из многотомного сборника Дидро и его друзей. Екатерина разыгрывала «философа на троне», переписывалась с Вольтером, Дидро. Ее любовник, Орлов, предложил Руссо жить у него в имении (в Гатчине), но великий писатель вежливо отклонил стеснявшее его приглашение. Даламбера Екатерина приглашала стать воспитателем ее сына, но тоже безуспешно.

Императрица, щеголяя передовыми взглядами, нимало не соответствовавшими социальной практике ее правительства, не только имела в виду произвести благоприятное впечатление на общественное мнение Европы, но и делала как бы декларации — в скрытой форме — для передового дворянства своей собственной страны. Она не вела за собой своих привилегированных подданных, но и в этом отношении шла на поводу у них. Одновременно она поддерживала поэта В. Петрова против либералов-дворян. Ряд аристократов, культурных дворян, высокопоставленных помещиков увлекался идеями «вольтерианства» и даже идеями более радикальных мыслителей. Херасков выступил против института монашества еще в своей трагедии «Венецианская монахиня» в 1758 г. При Екатерине, в эпоху секуляризации монастырских имений, Херасков написал политический и философский роман «Нума Помпилий» (1768), в котором обрушился уже резко и определенно против монастырей, против церковной обрядности. Андрей Петрович Шувалов, сын елизаветинского временщика, открыто высказывал вольнодумные идеи и даже лично дружил с Вольте-

ром (он подолгу живал за границей). Молодые дворяне хвастали своим атеизмом, смеялись над религией, ораторствовали на вольнодумные темы во время дружеских пирушек за бокалом шампанского. В 1763 г. в «Невинном упражнении», журнале, руководимом приятельницей царицы, Е. Р. Дашковой, печатались отрывки перевода из книги Гельвеция «Об уме». И. В. Лопухин, будущий мистик-масон, в молодости переводил другого материалиста — воинствующего атеиста Гольбаха. П. А. Потемкин, родственник будущего светлейшего князя и сам впоследствии граф, увлекался Руссо и переводил его.

Дворяне, аристократы, представители знати, либеральничая, играли оружием, выкованным во Франции против феодализма, против знати; они не замечали пока что опасности в этом, не видя рядом с собой, в России, возможности применения радикальных идей в направлении пропаганды антифеодального мировоззрения. Само правительство считало необходимым принимать меры для создания в России «третьего чина людей», не замечая, что этот «чин» уже нарождался и давал себя чувствовать. Так, например, в 1767 г. в плане созданного правительством воспитательного дома для подкидышей было указано, что задача этого учреждения — обучая воспитанников ремеслам и искусствам, приготовлять их «в третий чин людей».

Когда же эти самые «третьего чина люди» заявили свое право на собственную мысль, собственное социальное мировоззрение, начался отход дворянских либералов от вольномыслия. Увидав неосторожно использованное ими оружие в чужих, враждебных руках, быстро научившихся владеть им, дворянские писатели испугались и забили отбой. Затем наступила пора пугачевского восстания, «отрезвившая» многих помещичьих либералов и отбросившая их в лагерь реакции.

Между тем, отчасти именно то «послабление», которым были отмечены первые годы екатерининского царствования, послужило внешним толчком для выявления накопившихся культурных сил «низов», т. е. недворянского населения страны. Здесь следует прежде всего оговориться: «третье сословие», располагавшееся между двумя классами-антагонистами — помещиками и крестьянами, было далеко не едино.

Феодальное окружение расщепляло, диференцировало его, не давало ему сплотиться хотя бы временно в тактический блок. При этом нужно помнить также, что не все непомещичьи классовые группировки оказывались антипомещичьими. Возможны были, и действительно существовали, группы — купечество, бюрократия и др., — паразитировавшие при помещичьей классовой гегемонии и при помещичьей политической власти; они находились под непосредственным идеологическим и даже эстетическим влиянием дворянства, обеспечивавшего им материальное благополучие, уделявшего им крохи, а иногда и изрядные куски своей добычи от эксплоатации крестьян. Немало купцов, откупщиков, «подьячих» и других представителей буржуазии и бюрократии тянулось за дворянами, стремилось подражать им, перенять их моды, их искусство, формы их быта и т. д. Bourgeois-gentilhomme — характернейшая фигура не только середины, но и конца XVIII века в России. Однако и те купцы, которые читали не любовные романы, а псалтырь, которые, не учась никаким наукам, по старинке производили сложнейшие коммерческие расчеты на примитивных счетах, которые ходили в долгополых кафтанах, отпускали бороды и настаивали на своем внешнем несходстве с дворянами, волей-неволей втягивались в орбиту помещичьей гегемонии и в идеологическом плане, оставаясь в основном на позициях политического и всякого иного консерватизма. В первую очередь здесь следует различать буржуазию от мелкой буржуазии. В екатерининской (и отчасти елизаветинской) России мелкая буржуазия, не единая, выделявшая «разночинную» интеллигенцию, была близка к мелкому чиновничеству и отчасти склонна к услуживанию правительствующему режиму; но, с другой стороны, или в другой своей части, она была склонна к смыканию с демократической массой (т. е. в конце концов в условиях XVIII века — с крестьянством) и с ее идеологией. Буржуазия же, т. е. в первую очередь «именитое российское купечество», было прежде всего законопослушно и держалось консервативной ориентации. Оно не было радикально ни в своей практике, ни в своей идеологии, несмотря на стремление оторвать себе — и, может быть, отчасти за счет дворянства — кусок экономиче-

ской власти. Оно привилось к феодализму и находило свой профит как в использовании крепостного или полукрепостного труда на своих предприятиях, так и в торговле продуктами помещичьего хозяйства. Конечно, между помещиком и купцом были разногласия, коренившиеся в потенциях противоречий обоих классов; но эти противоречия не прояснялись в течение XVIII столетия достаточно для осознания враждебности; это были споры соперников, а иногда даже сотрудников на одном поле, поскольку купец не дорос экономически до самостоятельной хозяйственной базы, независимой от крепостного права. Поэтому и в проявлениях буржуазной идеологии в литературе XVIII века мы едва ли найдем подлинный радикализм, хотя сама по себе эта идеология имеет достаточно яркие специфические черты, отличающие ее от непосредственно дворянского мировоззрения. Именно в середине XVIII века, и в частности с самого же начала царствования Екатерины II, российский буржуа, уже переходящий на европеизированные формы быта, проявил себя и в европеизированных формах литературы. Он в это время уже отказывался — на верхах класса — от долгополого кафтана, бороды, псалтыря и т. д., он надевал «немецкое платье» и пытался связать свое творчество с творчеством западной буржуазии; но условия развития французского буржуа все же были отличны от тех, которые формировали сознание верноподданного русского «алтынника». Достаточно известны требования этого алтынника в Комиссии 1767 года; он требовал не уничтожения крепостного права, а расширения его: он хотел сам владеть крепостными душами; он требовал не уничтожения дворянских привилегий, а «дарования» привилегий ему, купцу; не свободы всех, а размежевания прав и обязанностей по сословиям, — с нарочитым утеснением крестьянина этой феодальной системой, из которой он хотел выкроить свои, купеческие «вольности». В крепостнической стране российский буржуа хочет иметь рабов; он не дорос до сознания освободительной миссии третьего сословия, как французский буржуа, — и он ни в малой мере не пытается итти вместе со всем народом на штурм феодализма, как это было с буржуазией Франции, стремившейся к революции.

В середине XVIII века русский буржуа — не враг дворянства; он сам при первой возможности лезет в дворяне, вызывая град насмешек над собой со стороны «настоящих», столбовых дворян. Его идеал — прицепить на боку дворянскую шпагу и — тем самым — получить право купить деревню. И, вероятно, не совсем уж без оснований сетовал Щербатов на то, что многие купцы, добиваясь дворянства, бросают купеческое дело и становятся помещиками, ослабляя торговый класс своей тягой бежать из него.

Характерной фигурой, выражавшей идеологический тип русского буржуа середины XVIII столетия в литературе, был Федор Эмин, автор романов авантюрных и философических. Он защитник буржуазии; он сам — человек из низов, литературный делец и авантюрист; он не устает повторять: «Купечество есть душа государства»; он готов даже возмущаться тяжелой участью порабощенного крестьянина. В литературе он, первый в России, заявил свое предпочтение английской шекспировской трагедии — дворянской классической драматургии; он написал уже в 1766 г. роман «Письма Эрнеста и Доравры», психологический роман в письмах, своеобразное подражание (местами близкое) «Новой Элоизе» Руссо. И все же социально-политическая заостренность романа Руссо снята Эминым, и все же он верноподданнически защищает российскую монархию, крепостничество, церковь; он громит всяческое бунтарство, вольнодумство; для него и Сумароков — его враг, и именно как дворянский писатель — чуть не изменник, так как ведь он фрондирует; Эмин не думает ни о каких капитальных преобразованиях, он хочет только внимания к купцу. Конечно, и перенесение, хотя бы урезанное, эстетики Руссо, и проповедь купеческого процветания, и т. п. — все это подрывало в конце концов крепостничество, но в сущности бессознательно. Социальная робость, зависимость, рабство мысли характеризуют идеологию русского купца XVIII столетия.[1]

[1] См. мои статьи: «Идеология русского буржуазного писателя XVIII века» — «Известия Академии наук СССР», отд. общ. наук, 1936, № 3; и «Эмин и Сумароков» — «XVIII век», сборник Института литературы Академии наук СССР, № 2 (печатается).

Иной характер могло приобретать творчество и мировоззрение «разночинцев», людей, тянувшихся к демократическому сознанию, к народу. Феодальная в основном система общества в России XVIII века выделяла прослойки промежуточного характера, оказавшиеся в положении жертв феодального режима и все же не закрепощенных. Сюда следует отнести ряд социальных групп, начиная от таких, которые непосредственно соседили с крепостным крестьянством, и кончая такими, которые отслаивались в низах дворянства. Относительно привилегированными крестьянами были однодворцы; они не были закрепощены и иногда проявляли даже тенденцию заявить о своем исконном дворянстве. Фактически же это были крестьяне, лишь несколько более независимые и иногда зажиточные. И все же это были юридически свободные люди в деревне, люди, поставлявшие своего рода сельскую интеллигенцию. Их было много. В 1761 г. их числилось более полумиллиона душ «мужеска пола» при общем населении страны примерно в двадцать миллионов человек. В Комиссии по составлению проекта Нового уложения в 1768 г. депутат однодворцев Белогородской провинции сообщил, «что по состоявшемуся указу 1743 года. оказалось бежавших в Белогородской и Воронежской губерниях однодворцев десять тысяч четыреста двадцать пять человек. А сие учинили они, не стерпя бывших на них нападков от находящихся при делах начальников, как то: отнятием у них земель, выгнатием из их собственных домов».[1] Современник, иностранец Густав фон Штрандман, обративший внимание на эту прослойку, пишет о том, что много их расселено в Воронежской губернии.[2] «Однодворцы — содержат украинские полки, и корпус сей единственно комплектуется с одних только однодворческих душ», — заявил однодворческий депутат в законодательной комиссии 1767—1768 гг.[3] В этой комиссии однодворцы занимали двойственную позицию. С одной стороны, они имели тенденцию заявлять свои претензии на дворянские права; в частности,

[1] «Сборник Исторического о-ва», т. XXXII, 1881, стр. 43.

[2] «Русская старина», т. XXXIV, 1882 г., ч. II, стр. 291.

[3] *В. Н. Бочкарев,* Вопросы политики в русском парламенте XVIII века, 1923. стр. 39.

однодворцы, владевшие одной-двумя семьями крепостных (были и такие), стремились оградить право на владение ими. Но, с другой стороны, однодворцы в Комиссии все же демократичны, они сочувствуют крестьянам, они готовы ограничить формы крепостного права. Они настроены против исключительности дворянских привилегий, недовольны утеснениями со стороны дворянства. «Где б какое жительство осталось без притеснения и обид от благородного дворянства спокойно?» — спрашивал в Комиссии депутат Веденеев и отвечал сам: «Подлинно, нет ни одного».[1]

К крестьянской интеллигенции примыкало и рядовое сельское духовенство, социально и культурно резко отличное от верхушки духовенства, феодальной, образованной и теснейшим образом связанной с помещичьим правительством. В XVIII столетии «низовое» духовенство было даже юридически сближено с порабощенной массой; оно не было вполне освобождено от подушного оклада и различных натуральных повинностей; оно обязано было в городах ходить на караулы, участвовать в тушении пожаров и, до 1736 г., даже дежурить в домах офицеров для посылок и разных работ. Духовенство не было освобождено и от телесных наказаний — вплоть до 1797 г., причем и тогда освободили от них только самих священников, а жен их лишь в 1808 г., детей — в 1835 г. (низшие церковные служители были освобождены от телесных наказаний только при Александре II). Дворяне не желали считаться с попами;[2] англичанин Кокс находил, что «приходские священники настолько грубы и неотесаны, что не могут быть допускаемы в образованное общество».[3] Другой иностранец, де Брей, пишет: «В настоящее время духовенство бедно... Оно не имеет никакого влияния на дела, никакого участия в гражданском политическом управлении. Русское духовенство составлено только из людей незнатного про-

---

[1] *В. Н. Бочкарев*, цит. соч., стр. 42.

[2] См., например, характерные замечания П. И. Шаликова — «Другое путешествие в Малороссию», М. 1804, стр. 123 и 165.

[3] *А. И. Лотоцкий*, На повороте — «Русская старина», т. CXXVI, 1906 г., ч. IV, стр. 585—613. См. также: «Путешествие в Петербург аббата Жорже́ля в царствование императора Павла I», М. 1913, стр. 135.

исхождения... Русское духовенство в общем очень невежественно».[1] Для сельского попа помещик — это барин. Помещик обращался с попом как хотел; в глазах дворянина сельский священник — тот же крепостной «мужик». Дворяне издеваются над священниками, бьют их. Было множество случаев, когда помещики секли попов, сажали в колодки, в заключение; выругать попа было делом обычным. Если же священник пытался найти управу на насильника-дворянина, он убеждался, что это почти что невозможно. Били священников и однодворцы и даже крестьяне, обращаясь с ними как с ровней.[2] Сельский священник был чаще всего беден; бюджет сельского попа во второй половине XVIII века не превышал обычно сорока рублей в год, а бывал и значительно ниже. Священники сами пахали землю, занимались ремеслами. Они составляли в деревне относительно более обеспеченный и более зажиточный слой среди крестьянства, верхушку крепостного общества. Тот же Кокс замечал, что и внешне сельский священник, одетый в крестьянскую рубаху, отличался от крестьян только длинными волосами.[3] Понятно, что в крестьянских «волнениях» низовое духовенство играло не последнюю роль. Попы и поповские сыновья были участниками, иногда вожаками крестьянских восстаний. В пугачевском восстании участвовало много сельских попов, и, когда началась расправа дворянства с «бунтарями», множество их пострадало. Были уезды, где сельское духовенство почти сплошь было подвергнуто различным карам, вплоть до пытки и каторги.[4]

Духовенство было немалочисленной прослойкой в России в XVIII веке; в 1738 г. числилось 124 923 че-

[1] «Записки баварца о России времен имп. Павла» — «Русская старина», т. XCIX, 1899 г., ч. III, стр. 556.

[2] *Н. Г. Высоцкий,* К вопросу о положении духовенства в царствование Екатерины II — «Русский архив», 1913 г., т. III, стр. 721—737. *А. И. Лотоцкий,* там же.

[3] «Русская старина», т. CXXXII, 1907 г., ч. IV, стр. 671. Ср. также: *А. И. Лотоцкий,* Из быта старого духовенства — «Русская старина», т. CXX, 1904 г., ч. IV, стр. 102—129.

[4] См., например, *И. И. Дубасов,* Чума и пугачевщина в Шацкой провинции — «Исторический вестник», 1883 г., июль, стр. 113—135; см. также «Объявление генерала М. Философова», 1797 г. — «Русская старина», т. XXXVI, 1882 г., ч. IV, стр. 351—354.

ловека «белого» духовенства (кроме монахов); огромное большинство составляло, конечно, «низовое» духовенство. Из этой именно среды уже в XVIII столетии выходили поповичи-писатели, ученые, и среди них некоторые — радикалы и вольнодумцы. Поповичи обучались в семинариях, и обучалось их немало; в 1764 г. в семинариях было шесть тысяч учеников, в 1783 г. — одиннадцать тысяч; при этом многие семинаристы по окончании учебы не становились священниками, а шли служить, учиться дальше, в университет и т. д.

Недалеко ушли от однодворцев и беднейшие слои дворянства. Вельможа граф Я. Е. Сиверс докладывал властям в 1764 г. о состоянии Новгородской губернии, что в ней есть много дворян, «кои сами свои земли пашут и почти никаких крестьян за собой не имеют». Он был в одной деревне, где, к немалому его удивлению, «в 15 избах, кои, повидимому, крестьянские были, нашлось, что в них 17 помещиков жительство имеют, что весь народ, который он тогда при сжатии хлеба в поле видел, весь благородный был».[1] Таких дворян по паспорту, живших как крестьяне, тоже было не так уж мало в XVIII веке. О деревне XVIII века, наполненной князьями-мужиками, иронически повествует Нарежный в своем романе «Российский Жилблаз». Нищие дворяне посылали своих детей и в учебные заведения. В 1767 г., перед поездкой Екатерины II по Волге, директор Московского университета Херасков напоминал начальнику казанских гимназий (подчиненных университету) распоряжение, «чтоб каждый [из учащихся как дворянской, так и разночинной гимназии] пристойно одет был, и не дозволять ходить в класс в нагольных шубах, в серых кафтанах, в лаптях и тому подобных подлых одеяниях, вследствие чего, чтоб и в Казанских гимназиях по содержанию оного повеления было наблюдаемо, изволите кому надлежит подтвердить, дабы в таковых непристойных одеяниях в классах отнюдь никто не был».[2]

Не только «разночинцы», но и дворянские дети могли ходить в гимназию в лаптях; и те и другие недалеко ушли друг от друга.

[1] «Русский архив», 1892 г., ч. III, стр. 195.

[2] Из архива Первой Казанской гимназии — «Русская старина», т. CLII, 1912 г., ч. IV, стр. 220.

Наконец, многочисленные группы составляли городское мещанство и служилая мелкота. Если мещанство было сильно сковано и влиянием купечества и косностью торгашеских традиций, то мелкие чиновники — подьячие, провинциальное офицерство — составляли значительный резерв для развития «низовой» культуры. Тут были и украинские мелкие шляхтичи, полудворяне, и офицеры полков южной линии прежних укреплений, не помещики и все же дворяне по паспорту, и окраинные офицеры, выслужившиеся из «разночинцев», иногда из солдат. Все это была демократическая, в среднем необразованная среда, выделявшая, однако, иногда демократических идеологов.

Для представителей всех этих смешивавшихся разночинных прослоек было два возможных пути нахождения своего места в помещичьей стране: либо итти на службу помещичьему режиму, либо осознать себя в протесте против феодального закрепощения. И мы видим во всех областях социальной практики, и в литературе в частности, выходцев из разночинных низов, идущих этими двумя путями. Вот, с одной стороны, — Василий Рубан, учившийся и в Киевской духовной академии и в Московском университете, начавший свою литературную деятельность в кружке и в журнале Хераскова; он скоро покидает своих либеральных учителей и идет служить хозяевам страны; он состоит при Потемкине, потом при Зубове, он чиновник, он подхалим, он же устраивает и любовные делишки своего патрона. Он становится шинельным поэтом, прославляет того, от кого ждет «милостей», и, наконец, того, кто ему заплатит. За сходную плату он писал подобострастнейшие похвальные стихи кому угодно, с удивительным цинизмом тут же, в стихах, исчислял дары, полученные за похвалы. [1] Рубан стал позорной фигурой в глазах писателей, даже вовсе не радикальных. Рубан — наиболее яркая фигура в этом смысле. Но недалек от него и Осипов, сын подьячего, забавлявший своими стихами любителей примитивного комизма («Вергилиева Енеида, вывороченная на из-

[1] См.: *Л. Я. Гинзбург,* Неизданные стихотворения Рубана — «XVIII век», сборник Института литературы Академии наук СССР, 1935.

нанку», 1791—1796), а сам служивший в тайной канцелярии; он же ремесленно стряпал полезные книжки, вроде пособия по домоводству «Старинная русская ключница и стряпуха», вроде руководства по коневодству, сельскому хозяйству и карточной игре.

Но были и писатели и ученые, вышедшие из разночинных слоев, не только не желавшие служить помещичьей культуре, не только не отказывавшиеся от своего собственного идейного лица, но, наоборот, работавшие над созданием идеологии явственно антифеодального, радикального характера. Это не значит, что мы обязательно найдем у них прямые высказывания против крепостного права или монархии; такие высказывания сами по себе, оторванные от контекста всего мировоззрения писателя, вообще не решали бы вопроса. Нужно помнить о том, что как раз те писатели, которые могли бы стать на антикрепостнические позиции, почти всегда не могли высказать до конца прямо свои убеждения в силу цензурного и вообще правительственного зажима. Мы находим у идеологов демократического лагеря не столько прямые политические высказывания, сколько пропаганду антифеодального мировоззрения; мы находим искания общефилософского, этического, юридического характера, пусть более или менее отвлеченные, но в итоге — подкапывающиеся под основы помещичьего мировоззрения, оправдывающего все виды феодального подавления и рабства. Такие искания освобождали сознание, и в этом заключалась их немалая и вполне практическая политическая роль. Тот, кто осмеливался расторгнуть цепи крепостнической идеологии, проявлял уже тем самым решимость идейного протеста, которая не могла не быть отражением органического социального протеста, — и в этом интеллектуальном бунте проявились глубокие возможности подъема демократической мысли, демократических сил, подрывавших оплот феодализма.

Демократические литераторы 60—70-х гг. XVIII столетия — меньше всего художники-писатели, хотя и художественная литература привлекает их творческое внимание. В первую очередь они ученые, публицисты, мыслители. Им и трудно было пробиться со своими

идеями в более заметную область поэзии или вообще изящной словесности, и сами они больше были заинтересованы в построении основ мировоззрения, чем в искусстве; им было не до поэзии в крепостнической стране, под властью бюрократической монархии.

3

В 1769 г. магистр Московского университета Дмитрий Аничков написал небольшое исследование-диссертацию «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания» (в своей работе он опирался на книгу Д. Юма «Естественная история религий», 1757). Он доказывал, что происхождение религии — земное; плохо прикрытый атеизм автора явствовал из «Рассуждения» от начала до конца. Аничков не скрывал своей решимости сказать то, что запретно. Московский архиепископ Амвросий подал донос в Синод о «соблазнительной», «вредной» атеистической работе Аничкова, и началась тяжелая цензурная история, к счастью не окончившаяся катастрофой для смелого магистра, но все же затруднившая ему университетскую карьеру, — хотя он согласился на некоторое смягчение и новую перепечатку своей работы.

Говорили, что вдохновителем или помощником Аничкова при написании им его «нечестивой» диссертации был другой работник университета, известнейший русский юрист XVIII столетия, Семен Ефимович Десницкий. Еще в 1768 г. он произнес (и напечатал) речь «Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции»; здесь он обрушивается на схоластику и на юристов, обильно использованных абсолютистскими писателями, Гуго Гроция и Пуфендорфа; Десницкий был учеником Адама Смита (он учился в Глазго); он проповедует новую буржуазную науку. Попутно он нападает на монахов, говорит, как и Аничков, что богов создал страх человеческий, затем доказывает, что власть в государстве произошла не от бога, а историческим путем. Далее он требует для России гласного суда с прениями сторон; он обращается к власти: «Дозволь ходатайствующим с обеих сторон

иметь свободный и публичный голос пред судом за судимых, дабы ничто в тайне, но откровенно и посторонним известно судимо было, и исходило бы во свет для научения народного».

В «Юридическом рассуждении о пользе знания отечественного законоискусства и о надобном возобновлении оного в государственных высокопокровительствуемых училищах» (1778) Десницкий позволяет себе выпады против малограмотных дворян, которые «думают, что они родятся судьями», говорит — с опозданием на десять лет — о правах и обязанностях членов законодательной комиссии — в духе парламентских свобод, пропагандирует мысль о замене бюрократического аппарата суда, где действуют чиновники, судом законоведов, в конце концов — судом буржуазно-демократического типа. Часть этой речи Десницкого представляет собою пересказ, а местами и перевод предисловия Блекстона к его знаменитой книге об английском законодательстве. Эту книгу Десницкий переводил («Истолкования английских законов г. Блакстона», первая книга вышла в 1780 г., вторая — в 1781 г., третья — в 1782 г.). Однако Десницкий вовсе не целиком зависит от Блекстона в своем юридическом мировоззрении; он дает свои примечания к переводу, в которых полемизирует с Блекстоном (см., например, т. I, стр. 97 или 100).

Десницкий, первый в России, пытается мыслить исторически, даже историко-социологически. Он стоит на пути преодоления механистичности рационалистического мировоззрения; он отказывается от теории общественного договора. В «Юридическом рассуждении о вещах священных» (1772) он стремится показать, что нормы общественной морали являются результатом социальной природы человека, а не созданы договором; нелепо освящать их верованиями в божество. Боги — по Десницкому — продукт социальной жизни, и религия еще в древности служила государственным целям. Христианская религия возникла, по его мнению, из языческой. Не от богов идет мораль, а потребности общественной морали порождают богов. В «Юридическом рассуждении о начале и происхождении супружества. . и т. д.» (1775) Десницкий развертывает большую историко-социологическую схему. Он оптимистически смотрит на историю человечества и формули-

рует понимание ее как неизменного прогресса общества. Излагая историю института брака, Десницкий различные формы его объясняет формами хозяйственной жизни человека. Десницкий делит историю человечества на три эпохи, или стадии; первая из них — эпоха дикости, когда человек жил ловлей зверей; вторая — эпоха «сельского жития»; «на последок открывается смертным и самое высочайшее состояние, *коммерческое*».[1] Характерно, что при исследовании истории брака Десницкий привлекает и этнографический материал порабощенных народностей тогдашней России. Нет необходимости говорить о других трудах Десницкого. Этот попович-профессор, обучавший не одно поколение студентов, горячо, последовательно, смело пропагандировал свое прогрессивное мировоззрение. Как мыслитель он не просто шел за своими западными учителями, а шел вместе с ними в первых рядах культурной передовой творческой мысли, разрушавшей власть феодальных схем в культуре. Это было совсем не то отношение к демократической мысли Запада, которое заставляло Сумарокова, Хераскова или даже Фонвизина перекраивать учение Монтескье на свой помещичий лад. Это была сама демократическая мысль, появившаяся в России. При этом Десницкий силен тем, что он не просто ученик французских просветителей-демократов; он осложняет их учение элементами историзма, идущими от английских мыслителей. Еще в середине XIX века историк юриспруденции в России писал о Десницком, что он — «первый русский преподаватель права, сознавал уже необходимость всестороннего его изучения — потребность соединения методов философского, исторического и догматического. Факт этот тем более заслужи-

---

[1] Во второй половине XVIII века мы встречаемся и на Западе с теориями стадиальной классификации народов по их занятиям, причем различают разное число типов. А. Смит указывает их четыре: охотничьи народы, пастушеские народы, земледельческие народы, наконец — высшая современная ему культура. См. его соображения о связи «расходов на оборону» и типов ее со стадиальными типами народов: «Исследование о причинах и природе богатства народов», 1935, т. II, стр. 235—238. См. также у Тюрго различение трех состояний людей: охотничьего, пастушеского и земледельческого: *А. Р. Тюрго,* Избранные философские произведения, М. 1937, стр. 6.

вает особенное наше внимание, что и в университетах Западной Европы во времена Десницкого не помышляли еще о таковом слиянии методов».[1]

Вместе с Десницким учился в Глазго профессор медицины в том же Московском университете Семен Зыбелин. И в его речах на медицинские темы все же видна его идеологическая установка. Он интересуется крестьянским бытом, крестьянскими детьми;[2] он остро ставит проблему народонаселения, хорошо изучив соответствующие статистические данные, относящиеся и к Европе и к России. Среди причин медленного роста числа населения России он указывает «особливо чрезвычайные налоги и утеснения, кои заставляют больше воздыхать, нежели помышлять о браке». И едва ли не смелым намеком звучало в похвальной речи Зыбелина Екатерине II (такие речи профессора должны были сочинять) прославление Комиссии Уложения и Наказа, «из которого законы ныне проистекают и как из источника и впредь почерпаемы быть должны»;[3] это было сказано в 1787 г., когда Комиссия Уложения уже не существовала фактически более восемнадцати лет и Наказ был забыт.

Не нужно думать, что ученые-демократы встречались только при Московском университете. В Петербурге развернулась деятельность замечательного публициста и ученого Якова Павловича Козельского. Он происходил из Украины, — «уроженец Полтавского полка», т. е. из служилых украинских офицеров. Он сам сказал о себе в 1768 г.: «я из помещиков в самых местах украинских»;[4] но имение, очевидно, не кормило его: он был беден; это видно и из того, на каких местах он служил, и из его свидетельств в книге «Рассуждения двух индейцев, Калана и Ибрагима» (1788).

Он начал служить в военной службе, но затем, в 1750 г., поступил в «верхний класс» гимназии при

---

[1] *А. Станиславский,* О ходе законоведения в России и результатах современного его направления, Казань, 1853, стр. 34—35.

[2] «Слово о правильном воспитании с младенчества в рассуждении тела, служащем к размножению в обществе народа», 1775.

[3] «Слово похвальное... Екатерине второй.. , 1787.

[4] «Сборник Русского исторического о-ва», т. XXXII, Спб. 1881, стр. 496.

Академии наук в Петербурге.[1] Затем он был учителем в артиллерийском и инженерном корпусе; в 1764 г. он имел чин поручика, в том же году получил чин капитана,[2] а в 1766 г. — надворного советника,[3] т. е. перешел в статскую службу. В 1767—1768 гг. он был депутатом в Комиссии Уложения — от Днепровского пикинерного полка. В «Именном списке господам депутатам» 1769 г. он показан «при армии» (он имел в это время чин майора), т. е. он был направлен на фронт турецкой войны (может быть, его удалили сознательно).[4] Затем Козельский служил у себя на родине, на Украине, в аппарате Малороссийской коллегии, при генерал-губернаторе П. А. Румянцеве. В 1770 г. Козельский получил чин коллежского советника.[5] В 1772 г. Козельский был членом Коллегии.[6] Здесь он служил до 1778 г.[7] В 1788 г. он был статским советником.[8] Около 1788 г. Козельский опять вернулся в Петербург[9] и в 1789 г. поступил на службу в Комиссию о сочинении проекта нового Уложения, «сочинителем» при Дирекционной комиссии.[10] В 1791 г. к этой должности прибавляется еще одна: инспектора над классами в Гимназии чужестранных единоверцев[11] (с

[1] См.: «Философические предложения» Козельского, 1768; посвящение.

[2] См. титулы книг: «Возмущение против Венеции. Трагедия, сочиненная г. Оттваем», пер. Козельского, 1764; «Механические предложения» Я. Козельского, 1764, и «История Датская» Гольберга, перевод его же, 1765.

[3] См. титул второго тома «Истории Датской» Гольберга, 1766.

[4] В протоколе Комиссии записано, что по именному указу Екатерины, полученному 18 декабря 1768 г., о том, что «по причине нынешнего военного времени многим депутатам к своим должностям надлежит отправляться», из Комиссии выбыл между другими и Я. Козельский. — Протокол от 22 декабря 1768 г. («Сборник Исторического о-ва», т. XXXVI, 1882, стр. 151).

[5] См. ниже титулы двух томов «Статьи из Энциклопедии», 1770.

[6] *Новиков,* Опыт исторического словаря о росс. писателях, 1772, стр. 100.

[7] См.: «Месяцеслов» на 1778 г., стр. 333, и на 1779 г., стр. 403.

[8] См. титул книги Козельского: «Рассуждения двух индейцев Калана и Ибрагима», т. I, 1788.

[9] См.: «Рассуждения двух индейцев»; посвящение.

[10] «Месяцеслов» на 1789 г., стр. 101.

[11] «Месяцеслов» на 1791 г., стр. 59.

1793 г. она называлась «Корпусом чужестранных единоверцев»). Комиссия Уложения влачила в это время чисто бюрократическое существование. Повидимому, в 1793 г. Козельский умер. В «Месяцеслове» на 1794 г. оба его места указаны занятыми другими людьми. Козельский был служащим человеком, педагогом, администратором. Но прежде всего это был литератор, ученый, просветитель.

Он писал книги по математике, механике, анатомии, ботанике, философии, переводил исторические сочинения и другие книги; это был человек энциклопедических интересов и знаний. Он был сторонником опытных и практических знаний и врагом схоластики; он хотел, чтобы наука служила жизни, и соответственно реформировал принципы методики преподавания.[1] Он сторонник свободной науки: «это коммерция произведений ума, подобная и подобного свойства с коммерциею произведений, потребных телу, она умирает без вольности».[2] Он считает, что в России «строгость цензуры» и фанатизм духовенства, т. е. в общем тирания власти, губит науку, а процветает она в «Альбионском, Гельветическом и Батавском обществах»,[3] т. е. в Англии, Голландии и Швейцарии, европейских государствах, наиболее близких по тем временам к буржуазной демократии. Козельский — против цензуры. В конце жизни и он, как и Десницкий, стремился преодолеть теорию естественного права. В 1788 г. он писал: «Натуральное право, натуральный закон, дела человеческие и этика есть та же юриспруденция, да только что философы положили натуральное право и натуральный закон в своем умствовании вовсе несправедливо; а надобно искать натурального права и закона не в голове их, а в кафрах и готтентотах».[4] Центральное произведение Козельского — «Философические предложения» (1768 г.). Дух свободной критической мысли, дух отрицания настоящего веет в этой книге. Козельский свергает авторитеты; он требует на все доказательств, опыта, разумного убеждения. Он

---

[1] См. «Арифметические предложения», Спб. 1764; «Речь к читателю».

[2] «Рассуждения двух индейцев», стр. 36—37.

[3] Там же, стр. 36—37.

[4] Там же, стр. 11—12.

увлечен идеями Руссо и в то же время Гельвеция. Он сенсуалист и явно склоняется к материализму. В предисловии к книге Козельский пишет:

«Из всех философов нашел я только четырех человек, а именно: господ Руссо, Монтескье, Гельвеция, и некоторого Анонима, коего книга под титулом «Philosophie morale reduite à ses principes», которые писали основательно о материях нравоучительной философии. Сии великие мужи впервые вывели на приятное позорище всего света покрытую завесою темноты прекрасную и неоцененную истину, и через то слабосилие мое к предприятию сего труда не мало подкрепили, а особливо первый из них бессмертия достойный муж, как высокопарный орел, превзошел всех бывших до него философов; он взирает на весь свет прямо философским оком и проповедует ему правоту и истину с прямою философскою вольностию. А материю теоретической философии заимствовал я от господ Готшеда, Бавмейстера и других некоторых; кратко сказать, я рассуждения мои почерп отчасти из источников натуры, а отчасти у ее фаворитов, а у тех писателей, которые силятся вотще повернуть своим законам натуру, мало заимствовал».

Однако и по отношению к своим учителям, даже к Руссо, Козельский сохраняет полную свободу мнения. Соглашаясь с Руссо, что первобытно-дикое состояние людей — самое счастливое, он считает, однако, что поскольку оно утеряно, народам приходится культивироваться в целях самосохранения. О себе Козельский говорит в предисловии:

«Когда мои предложения, как во многих случаях несогласные с мнениями прежних писателей, покажутся вам, благосклонный читатель, ложными, то я по крайней мере буду иметь в таком случае ту отраду, что они послужат поощрением предбудущим писателям предлагать свои рассуждения яснее, нежели как то доныне делалось, чтоб и другие люди от таких их замысловатых предложений не впадали в погрешности; и как в таком случае мнения мои могут показаться отважными, то прежде порицания их прошу рассудить то, что мы часто самыми важными изобретениями одолженны бываем отважным покушениям. . .»

Поразительны главы книги, посвященные политическим вопросам. Козельский, почти не скрывая этого, агитирует против самовластия; он, без сомнения, сочувствует республике и демократии. Он дает широкую, развернутую программу, утопическую, но смелую и радикальную. И самое главное: он недвусмысленно высказывается против всякого социального неравенства — и сословного и имущественного, против всякого угнетения человека человеком и сословия сословием. Он проектирует общество, в котором установлена всеобщая трудовая повинность (§ 424), в котором все работают, в котором «всякого человека труд уравненный, думал бы я положить такой, чтобы он мог содержать себя, престарелых родителей и малолетних детей»; при этом различия благосостояния ограничиваются. Так как в существующем обществе не все работают, то «в таком случае, ежели не допустить одних людей в небрежении держать, во зло употреблять или и нарочно трудом других выработанные вещи от роскоши портить, то общество может жить в довольствии и без нужды, так что предпочтенным людям будет довольно для богатого, а нижным для безнуждного содержания, и сверх того может оставаться запас для нужды в предбудущее время а больше сего одних людей труд может привесть других в крайнюю леность, общество уподобится тому полку, в котором командиры очень богато одеты, а солдаты ободраны» (§ 425). Он считает нормой труда для человека восьмичасовой рабочий день.

«Но надлежит знать, что хотя я и советую иметь трудолюбие, но не чрезвычайное, которое может укоротить жизнь человека. Мне думается, что для труда человеку довольно *восьми часов в сутки,* другие 8 часов может он употребить на одеяние, кушание и забаву, а третьи 8 часов на сон» (§ 426).

Далее он пишет:

«Начальникам непристойно смотреть за подчиненными их, чтоб они не были праздны, а находились бы в законном труде, и чтоб вместо прямого труда не оказывали только его вида, но и тех людей поступка тяжела, которые от подчиненных своих требуют неусыпных трудов, хотя со всем тем от таких трудов

натурально приходит меньше плода, нежели от умеренных; при такой поступке иные люди имеют ревность к общей пользе, но не по разуму, другие под видом искания общей пользы искусно утесняют своих ближних, презирают в них подобное себе человечество, как бы они сами слабостям его ни причастны были. Таким людям по их нраву наилучше кажется жить на небе» (§ 427).

Козельский хорошо знает аргумент крепостников, которые говорили, что надо раньше просветить народ, а потом давать ему свободу; он пишет: «Многие люди беспрестанно говорят, что облегчение делать не выполированному народу в его трудностях предосудительно; и я думаю, что некоторые из них говорят сие по незнанию, что выполировать народ иначе нельзя, как через облегчение его трудностей, а другие по неумеренному самолюбию, что почитают в неумеренном господствовании над людьми лучшую для себя пользу» (§ 420); Козельский видит классово-эгоистический характер помещичьей агитации и знает: через свободу идут к просвещению, а не наоборот. С другой стороны, Козельский хорошо знает цену дворянского морализирования, проповеди Хераскова и его школы. Он пишет: «Господин Гельвеций пишет, что в рассуждение человеческих пороков надобно жаловаться не на злость человеческую, а на слабость законодавцев, которые всегда полагали особенную пользу в противность общей пользе» (§ 392). «Для чего же по нынешнее время (говорит тот же господин Гельвеций) нравоучительная философия не может поправить нравов в народах, причиною тому то, что пороки народные скрыты в самых законах, и ежели кто хочет истребить пороки в каком народе, не переменяя производящих их законов, тот ищет невозможного, и напрасно силится опровергнуть праведные следствия принятых оснований» (§ 393).

Отсюда — горькое замечание: «Историки, а с ними и другие люди наперерыв ругают и проклинают ласкательство; а мне бы думалось так поступать с причиною ласкательства, а не с самим ласкательством; потому что в ином случае правда без ласкательства станет не дешево» (§ 147). Любопытно, что эту мысль Козель-

ский передал и своему сыну, поэту Федору Козельскому, который в «Размышлении о ласкательстве» писал:

Стрелами остроты без пользы Диоген
На пагубную лесть был в век свой воружен,
Он сколько истребить порок сей ни старался,
Но тщетный труд его с ласкательством остался.
Когда на свете власть и быть должна и есть,
То есть и должно быть похлебствие и лесть.
. . . .
Не можно никогда под властию не льстить!
. . . .
Вчерашний философ Гельвеций рассуждает:
Коль щеголь завсегда красавице ласкает,
То для чего и нам властителям не льстить,
Которым рок судил между льстецами жить?
Прехвально б нам на сей порок вооружаться,
Когда б без власти мы могли в лесах скитаться;
Когда ж зависим мы от знатности людей
Не только счастием, но жизнию своей,
То как ты ей, хоть лжет, не скажешь: *справедливо,* —
Когда не хочешь жить в Камчатке несчастливо?
И как не скажешь ей ты благосклонно: *так,* —
Боясь, чтоб не попасть, где странствовал Ермак?
. . . .
Сегодня сам честный, добротный и мудрец
Со всем своим умом, быть должен подлый льстец.
. . . .
Без лести говорить полезно власти той,
Которая хотя сквозь гнева дым густой
Прострет свой взор на нас вниманием ленивым,
И пойдет вслед потом советам справедливым...
. . . .
Когда же правота, как есть обыкновенно,
Желанной пользы нам отнюдь не принесет,
Но только гнев на нас пылающий возжет,
И искру ярости нам к бедствию раздует,
И бурю страшну нам несчастия взволнует,
Где пагуба и смерть, — то коя польза нам? [1]

Несмотря на осторожность формулировок, весь приведенный текст дышит ненавистью к условиям, порождающим необходимость рабской лести. Сын усвоил уроки отца.

Возвращаясь к отцу, следует указать, что он хорошо понимал основу раболепства и видел ее в «великих различных состояний человеческих»; он писал: «Мне кажется, что весьма неполезны великие различия состояний человеческих в обществах, а лучше им

[1] Соч. Федора Козельского, 1778, ч. I, стр. 175—177.

быть посредственным, так чтоб одни люди не могли презирать и утеснять других, а другие не имели б причины много раболепствовать. Я думаю, что всяк видеть может в первом из сих случаев, в рассуждении зависимости человека от многих других, способ к порокам, а в другом, в рассуждении зависимости его от одного правительства и законов, способ к добродетелям» (§ 415). И в другом месте: «Господин Монтескиу пишет, что в самовластных правлениях трудно или не можно быть добродетельным людям; мне думается, что о сем деле лучше только думать в своей мысли, а не говорить для знания всем» (§ 407); я полагаю, что последнее замечание ясно.

Так же социально, как он оценивает лесть, Козельский подходит и к другим вопросам. Он пишет:

«Некоторые законодавцы положили тяжкие наказания на должников за неуплату долгов; а мне бы думалось, что для предупреждения сего лучше бы им устроить свои общества так, чтоб никто не имел нужды наживать долги и положить наказание строгое на заимодавцев и заимщиков, а не на должников; правда, иной сказать может, как обойтись без долгу в крайней нужде? Но на то можно ответить, что в так устроенном обществе люди не станут доводить себя до крайней нужды; а ежели доведены будут нечаянным несчастием, то в таком случае должно подать им помощь правительство» (§ 238).

Любопытно резко-отрицательное отношение Козельского к войне. Он писал:

«Ненасытные самолюбцы, не зная или не хотя знать, в чем состоит истинное право, выдумали еще некакое военное право, которое никогда не было, не есть и не будет правом; а ежели его в укоризну и поношение истинного права, пребывающего под опекою самого всемогущего божества, назвать правом, то определение ему полагаю я нижеследующее: бесчеловечное желание, сопряженное с могуществом и силою, чтоб причинять своему ближнему всевозможный вред, даже и самую смерть без страха казни, называю я военное право.[1]

---

[1] Ср. с этим у Ж.-Ж. Руссо: «Du Contrat social», Livre I, chapitre III — «Du droit du plus fort».

«Некоторые писатели объявляют, что войну вести право имеют обладатели,[1] а мне думается, что никто на свете не имеет права к войне, кроме таких людей, которые так обижены, что обида их стóит по справедливости войны; и когда при том они к доставлению себе удовольствия не имеют другого средства, кроме войны» (§ 15 и 16. Ср. также § 462).

Козельский чужд увлечения захватническими планами. Он говорит: «Хорошо б разных народов, подверженных одной власти, приводить под одни законы, только не силою, а превосходною пользою и добротою законов, и при уравнении законами уравнять и права и преимущества тех народов» (§ 400). Вообще Козельский мечтает об обществе тружеников свободных, небогатых, добродетельных, равных, совпадая во многом с Мабли (прямое влияние Мабли исключено по хронологическим соображениям). Козельский выступает против роскоши и ее защитников, имея в виду, вероятно, Монтескье:

«Люди, которые привыкли жить на счет чужого поту, обыкновенно говорят: на что выводить роскошь? она-де в обществе нужна, и без нее-де могут пропасть науки и художества и многие люди страдать без пропитания. На сие я отвечаю, что не могу понять, как в благоустроенном обществе могут науки, художества и люди потерпеть какой-либо вред, и думаю, что когда кому в одном состоянии прожить будет трудно, тот может вступить в другое; а ежели б и так могло сделать, как они неосновательно думают, то все лучше обществу быть менее искусным в довольном и спокойном состоянии, нежели с великим искусством в ежедневной лихорадке, и крепко держу, что лучше не щадить наук и художеств для людей, нежели людей для наук и художеств» (§ 431).

В § 438 Козельский одобрительно говорит о Голландии, «которая, не прельщаясь блистательными роскошных обществ модами, пребывает в своей простоте и умеренности, почитает сама себя, и почитается также и от всех других людей за благополучнейший народ из всей Европы; а уже нет несноснее того безбожного и зверского некоторых людей мнения, кото-

---

[1] «Guygens Kriegsrecht».

рые почитают свое удовольствие и благополучие в страдании и несчастьи своих ближних».

Козельский принципиально демократичен. Он пишет:

«Один в нынешнее время славной Автор, великой ревнитель и поборник по сей должности, досадует, что в Англии самой простой мещанин читает ведомости и рассуждает о политических делах и правлениях; но на это можно ему сказать. 1-е, что такой мелкой человек рассуждениями своими ничего в том подействовать не может. 2-е, что когда больной призовет лекаря, то хотя оба они видят болезнь, однако больной гораздо лучше разумеет ее силу и действие, нежели лекарь. Правда, что сей пример к такому делу редко, однако ж, приличествует. Китайская область [1] прославляет великие дела государя своего Ива бессмертною памятью; из чего бессумненно всяк заключить может о мудром его правлении; а сей великой государь обыкновенно почитал за наилучшее для себя угождение, когда бывало кто из подданных его приходит к нему для подаяния совету в поступках его, и чрез сию редкую, и от всего рода человеческого заслуживающую благодарность добродетель оказал он себя почти беспримерным государем, и вместо того, что другие полагают понижение себя в такой поступке, он напротив того возвысил себя больше почти всех смертных; а сей Автор, как бы привилегию доставши себе на политику, огорчается, что простые люди рассуждают о политических делах. Правда, сему дивиться не надобно, любовь сего несовершенного политика к высокоумию преодолела в нем любовь к человечеству, а в китайском бессмертия достойном государе любовь к человечеству умертвила в нем все противные тому желания» (§ 366).

Козельский — не либерал. Он принужден часто маскировать свои мысли, отмалчиваться. И все же ему удается нападать на врага — на помещичью идеологию и власть, — нападать с озлоблением и с полным сознанием своего гражданского мужества. Излагая как будто отвлеченные вещи, Козельский, подобно Гельвецию, лукаво подобранным примером бьет врага. Например, в самом начале книги он делит познание на

---

[1] «Description de l'Empire de la Chine par le P. du Halde».

историческое («когда мы познаем какую истину просто»), философское («когда мы какой истины узнаем причины») и математическое («когда мы измериваем величину такой вещи или количество дела»). «Например, когда мы видим в каком народе мало добродетелей, то это будет познание историческое, когда мы усматриваем, что то происходит от излишнего своевольства одной части того народа и от великого притеснения другой, то это будет познание философическое; а когда мы заключаем, что чем больше будет в том народе с одной стороны самовольства, а с другой утеснения, то тем меньше будет в нем добродетелей, а тем больше пороков, то это будет познание математическое». Или в другом месте: «Законы разнятся от прав: потому что законы хотя по большей части основаны на справедливости, но иные из них случаются основанные на несправедливости; например, закон, который дозволяет пленника продать, купить, сделать рабом и содержать его произвольным образом, есть закон, хотя и не основан ни на каком праве, ни справедливости».

Козельский полон накопившегося социального гнева. Он решительно полемизирует с христианской моралью всепрощения и непротивления, издевается над непротивленцами. Он требует мести злодеям, требует применения к ним зла (стр. 114—125). Он обвиняет философов, стремящихся идеологически обезоружить социальный гнев порабощенных. Он пишет:

«Философы говорят, чтоб при учиненной досаде не приходить в страсть гнева и не отплачивать за обиды; это правило хотя и тревожит справедливого человека, однако оно принято вообще за основательное; потому что основано на том непостижимом предании некоторых философов, будто бы страсти происходят от неявственных понятий; какая это преславная инвенция; на ней основавшись, можно несносно мучить своего ближнего, с тем условием, что он будет дурак, ежели рассердится, а с другой стороны произвели философы в людях такую сильную горячку к приобретению имени умных людей, что они для него всего другого лишиться готовы, и сими двумя прожектами, как сетьми уловляя род человеческой, мучат без страха наказания». Он призывает далее к индивидуальной мести

угнетателям: «Как уже беззакония в весьма многих людях возросли до такой степени великости, что уж добродетельных людей последняя подпора, самая святость непорочных законов от угрызения коварных их зубов защищать не может; потому что они к озлоблению своих ближних избирают такие средства, которые укрылись и укрываются от сведения и суда изданных на свет законов; то я за благо рассудил подать сей совет любителям добродетели, чтоб они, увидев наглеца, обижающего безвинно другого добродетельного человека, употребляли сколько можно такие искусные обидчику досады, которые следствию законов не подвержены; такой поступки обидчик не может доказать по законам за защиту обиженного, следовательно и привязаться; а между тем она довольно может мучить наглеца и доставить изрядное удовольствие обиженному».

И, наконец, Козельский поставил вопрос о восстании угнетенных — и оправдал их; он говорит отвлеченно, в общеморальном плане, но значение его утверждения вполне распространяется на проблему восстания. «Из таких людей, которые великими обидами утесняемы будучи от высших себя, умеют скрывать свою досаду пред ними, делаются некоторые при способном для них случае очень мстительны, как то натурально рассудить можно, что река, плотиною долго удерживаемая, как найдет место к своему проходу, то тем с большим стремлением силится туда пройти, и потому тем больше роет плотину, чем долее той реки течение одерживано было, так равномерно и к долговременному терпению принужденные люди по долгом притворстве, как только найдут удобный случай, то тем больше истощают наружу свою досаду, и такие люди иногда бывают сами и обидчики их, а иногда одни обидчики волнованию сердец их причиною, и в сем другом случае по справедливости почесть их можно почти за невиновных».

Я не могу утверждать с уверенностью, что Радищев читал книгу Козельского, хотя мало вероятно, чтобы он не заинтересовался этим философским и морально-политическим трактатом. Во всяком случае Радищев писал:

«Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов и благим сво-

боды мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ни что уже в развитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет...» и т. д. («Путешествие», глава «Хотилов»). Радищев лишь прояснил, подчеркнул, выявил в ее революционной сущности мысль Козельского. И понятно то чувство, которое вложил Козельский в последний, заключительный абзац своей книги (§ 472):

«Хотя я, рассуждая состояние нынешнего света, правильную причину имею думать, что предложения мои, как совсем противные нынешнему обычаю и вкусу народов, не только не получат от них никакого благоволения, но еще не убегут и посмеяния; и что, как говорит некоторый Автор «Махиавель не умрет, проклинать его будут очень долго, а подражать очень тихо; потому что беззакония учеников его посвящены великими примерами, облагородствованы великими опасностями, присоветованы великими нуждами, вдохнены великими душами, оправданы великими успехами, одним словом, все здесь велико», однако, несмотря на то писал я истину, или по крайней мере то, что по слабости моего ума казалось мне истиною, и лучше желал справедливо или несправедливо быть осмеян, нежели терпеть подлым образом упрекание от совести в какой-либо моей неправости».

6

В 1766 г. Козельский издал свой перевод с немецкого языка книги Мозера «Государь и министр», своего рода учебника для правителей государства. Этому переводу он предпослал предисловие, в котором изложил, в связи с темой книги, некоторые свои соображения. Он начинает с резкого нападения на роскошь двора и роскошь вельмож, на обилие слуг у знати, «от чего, чаятельно, во многих столичных городах хлеб и другие надобности бывают дороги». Далее он рисует свой идеал страны тружеников:

«Также сказать можно, что всякий человек создан натурально так, что надобно ему есть, пить, прогуляться, отдохнуть; но ежели он, при всех сих выгодах, добровольно не захочет трудиться, то законным образом можно его к тому и принудить. Все человеческие нужды в разных народах отправляются разным образом. В иных местах все сии нужды весь народ исправлять может умеренно, а в других, напротив того, одна часть народа едят, пьют, веселятся, а о труде не только не заботятся, но еще его и презирают; а другая часть народа работают, и работают без отдыху; каково бы то было в таком народе веселье, ежели б другая беспрестанно трудящаяся часть его не промысляла ему хлеба. Ежели б за такую праздность, неумеренную роскошь и другие излишества и пороки наказываны были виноватые денежным штрафом, то бы через то доходы в областях могли довольно увеличиться праведным и законным образом; но жаль, что противное тому делается на свете, и во многих областях собираются подати с людей за земледелие, художества и другие полезные дела».

Далее Козельский обрушивается на церковное ханжество и лицемерие, на «военное правление» и т. д. Наконец, Козельский решается высказать свое крайнее мнение. Он считает, что право наследования как привилегий, так и имуществ вредно; он выступает против самой основы классового неравенства общества его времени: «Я много раз удивлялся тем человеческим неправым рассуждениям, что они обыкновенно называют таких обладателей неправосудными, которые за родительские преступления простирают казнь и на детей их, хотя они в том и не имели участия; и такие их жалобы и подлинно справедливы; но когда, напротив того, остается детям богатое наследие после родителей их, которых за важные службы наградили их обладатели, то они от того не отказываются. Ежели подумать чистосердечно о сей поступке, то она не только чудна, но и смешна некоторым образом». Неумеренные «награды» знати идут за счет народа. Все богатства государства уже розданы «предкам». «При таком случае вотще правосудие вопиет награждение заслужившему, казнь заслужившему, а не потомкам его. Когда в какой области монаршее попечение прости-

рается на подданных его так далеко, что дети их обоего пола воспитываются на его иждивении [итак, он хочет бесплатного и, повидимому, общедоступного обучения. — *Гр. Г.*]; когда они имеют впредь по своим заслугам верно и правосудно награждаемы быть; когда законы гласят, чтоб всякий человек пользовался таким жребием, который бы не превосходен, ни недостаточен был против его достоинства, то в такой области к чему наследие, к чему приданое!»

Козельский чувствует сам, что его утопия вызовет возмущение, и прибавляет:

«В том я не сумневаюсь, чтоб такие мои рассуждения не тронули кого из моих читателей, хотя они и на всевозможной справедливости основаны; но ежели они посмотрят на них беспристрастными глазами, то без сумнения увидят и правду и пользу, и в таком случае несравненно большая часть людей, или как прямее сказать, все они были бы гораздо благополучнее обыкновенного. Но сей опыт для иных людей похож на итальянскую музыку: сладости ее не разумеет деревенский мужик, а только те люди, которые учились ей основательно и которые довольно навыкли ее слуху».

И далее: «Всякий век и каждое время имеет в себе достойных и отличных людей; итак, ежели дозволить им такую привилегию, которая бы утверждала данные им награждения в вечность их родов, то наконец и самая пребогатая натура истощиться должна; и в таких-то случаях один, имея сверх достоинства, а другой, не получая по достоинству, оба мало заботятся о пользе своего отечества...» Это значит вот что: дворянство, — по словам защитников его прав, — есть награда всему роду за доблести некоего предка; Козельский вскрывает нелепость этой «защиты» привилегий знати: если бы, — указывает он, — все доблестные люди получали «награды», т. е. привилегии для всех своих потомков, то нехватило бы «наград»; на самом же деле такого и нет, и в результате привилегии имеют недостойные, а достойные не только для своих потомков, но и для себя ничего не получают.

Как уже было сказано выше, в 1767 г., без сомнения по указке Екатерины, начали издаваться сборники «Переводы из Энциклопедии»; ближайшее редакционное участие в издании было возложено на Хераскова;

переводили статьи придворные Екатерины (А. И. Бибиков, А. П. Шувалов, С. М. Кузьмин и др.) и литераторы дворянского лагеря (Херасков, Ржевский, братья Нарышкины и др.), среди которых оказались трое профессоров-медиков, в том числе Зыбелин; они были привлечены, видимо, как специалисты. Отбор статей для этого издания характерен; в основном тут даны невинные темы: о словопроизведении, наррация, одежды римлян, гамак, баня, желчь, пальцы и т. д. и лишь несколько статей иного типа: право естественное, экономия, нравоучение (переводчики — бр. Нарышкины).[1] В целом получалась видимость издания для русского читателя знаменитой книги, гонимой во Франции, видимость «свободомыслия» властей, — а особого «соблазна» для читателя на самом деле не было.

Екатерина считала нужным как бы пропагандировать это издание в своей «Всякой всячине». Здесь говорилось между прочим: «Что до загадок вообще касается, то мы читателя просим прочесть статью в Енциклопедии *Загадка,* когда она [т. е. статья, конечно. — *Гр. Г.*] переведена будет на наш язык».[2] Следовательно, «Всякая всячина» считает в 1769 г., что «Переводы из Энциклопедии» будут продолжаться. На самом деле данное издание далее трех томов не пошло.

Трудно утверждать с уверенностью, но, видимо, это фальсифицированное издание «Переводов из Энциклопедии» побудило Козельского, как бы в ответ, выступить со своими двумя томами: «Статьи о философии и частях ее из Энциклопедии, переведенные надворным советником Яковом Козельским» (1770).[3] Явно в противовес официальному изданию, Козельский дает совсем иной отбор статей из «Энциклопедии». Первый том его работы занят статьями общими, но заключающими принципиальные установки знаменитого издания французских просветителей: Философия, Философ, Философский разум, Логика, Диалектика, Метафизика, Богословие и др. Во втором томе дан свод большого

---

[1] См.: *М. Н. Лонгинов,* Соч., т. I, М. 1915, стр. 173—178. Лонгинов не говорит об отношении к изданию Екатерины.

[2] «Всякая всячина», 1769, стр. 68.

[3] Титул второго тома иной: «Статьи о нравоучительной философии и частях ее. Перевел коллежский советник Яков Козельский».

числа статей на юридические темы и статьи: Нравоучение (morale), Политика и др. Отмечу, что издание Я. Козельского было не единственным. В том же 1770 году появилась еще более смелая книжка: «О государственном правлении и разных родах оного, из Енциклопедии переводил Иван Туманский, Правительствующего Сената переводчик». В этой книжке даны переводы таких статей, как Демократия, Деспотическое правление, Монархия, Олигархия, Самодержавство, Самодержец, Тиранство, Тиран и т. п. Можно сказать, что в книге собрана выжимка, квинт-эссенция боевых, смелых, свободолюбивых мнений «Энциклопедии». В результате получилась книга необычайной силы, звучавшая, в особенности в России, в высшей степени радикально.[1]

Из произведений Козельского не непосредственно публицистического и философского характера укажу еще два-три.

В 1765—1766 гг. вышли два тома книги: «История Датская, сочиненная господином Гольбергом, которую сократил и приписал к ней свои примечания артиллерии капитан Яков Козельский» (во втором томе — «надворный советник Яков Козельский»). Козельский обильно снабдил текст Гольберга примечаниями внизу страницы, и примечания эти иногда весьма обширны. При этом они не имеют характера фактического комментария, а содержат политические и моральные оценки, даваемые Козельским тем людям и событиям, о которых идет речь в тексте.[2] По своему замыслу, по направлению мысли Козельского, его примечания единообразны: они дают смелую оценку вольнолюбца — истории царей и тиранов. Козельский с большой силой нападает на «право войны», на царей, любящих войну и не интересующихся делами народа, на стремление к славе, добываемой ценою жизни множества людей. Эта тема развернута Козельским уже в предисловии к книге, и в ряде примечаний Козель-

---

[1] Впоследствии выписки из этой книги, сделанные Ф. Кречетовым, сыграли свою роль в следствии о нем. См.: *Н. Чулков,* Ф. В. Кречетов — забытый радикальный публицист XVIII века — «Лит. наследство», № 9—10, стр. 468.

[2] Следует сопоставить этот тип примечаний Козельского с знаменитым примечанием Радищева к его переводу Мабли.

ский резко выступает против политики захватов и расширения государства; он нападает на царя-тирана и властолюбца, который «не удовольствовавшись геройством в кровопролитии своих подданных, вздумал еще искать себе той чести, чтобы история его прославляла разорителем и других неповинных народов».[1]

Затем Козельский последовательно старается показать тиранство, свирепость, гнусность царей, — и таких славимых, как, например, Канут Великий. Он говорит, что Канут — не просто великий, а великий тиран, убивавший неповинных людей. Он признает, что бывают добродетельные короли, и кое-кого из них похваливает, но явно преобладающий тон его примечаний — разоблачение монархов, подчеркивание их преступлений. О Кануте: «Вот каково! он для собственной своей пристрастной надобности сам драться не хочет, а других для удовольствия своих прихотей посылает без дальнего размышления на жертву погибели».[2] Козельский обвиняет Гольберга в неправильном освещении фактов, в похвалах гнусным царям и пишет: «Автор в извинение беззаконных его дел употребил явное ласкательство, которого я не написал здесь; потому что такие соблазнительные речи могут доводить малодушных людей до великих беззаконий».[3] Король Канут в Риме щедро одарил собор Петра; Козельский пишет: «бог знает, как показались святому апостолу Петру сии подарки, выжатые из чистой человеческой крови»,[4] — и опять и опять: о зверстве, злобе, вероломстве, жестокости, грабежах, лицемерии королей, герцогов, тиранов всех родов. Достается и вельможам-губернаторам, которые часто бывают негодяями, — замечает Козельский «вообще», и рекомендует не давать губернаторских мест «таким людям, которые больше способны играть комедиантский роль на театре, нежели отправлять губернаторскую должность».[5]

Козельский ненавидит тиранов — угнетателей народов. Он оправдывает кровавую месть как ответ на угнетение. Датчане ограбили Англию и уехали, оставив

---

[1] «История Датская», т. I, стр. 131—132.
[2] Там же, т. II, стр. 235.
[3] Там же, стр. 41.
[4] Там же, стр. 59.
[5] Там же, стр. 210—213.

некоторое число воинов. Англичане поднялись и перебили всех датчан. Козельский пишет:

«Вот какое награждение за грабежи, наглости и убивства... В таких-то случаях и самые добродетельные и человеколюбивые люди принуждены бывают против своей воли делать, а по крайней мере утверждать такие кровопролитные отношения, так что наглецы в таком случае, при всей своей крайней погибели, не имеют и той последней отрады, чтоб хотя сожалели об них другие люди».[1]

Козельский с ожесточением нападает на римскую церковь, за которой в его изложении явно стоит церковь вообще;[2] он доволен, когда отбирают богатства у церкви; он враг церковного ханжества.[3] Архиепископ разрешил грехи епископов, шедших в бой вместе с воинами; «сносно ли это от архиепископа, — пишет Козельский, — который должен служить примером и образцом добродетели, вступать в такие неправедные и кровавые дела?»[4] История дает Козельскому обильный материал для выражения его ненависти к тирании всякого рода.

Большое значение для выяснения мировоззрения Козельского имеет его перевод трагедии Томаса Отвея «Спасенная Венеция», изданный в 1764 г. («Возмущение против Венеции, Трагедия, сочиненная господином Оттваем, а с немецкого языка на русский переведена артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса поручиком Яковом Козельским»).[5] В трагедии изображено восстание свободолюбивых граждан против сената, угнетающего Венецию. Повстанцы обрисованы в героических тонах. Представитель сената, Приули, наоборот, изображен злодеем.

[1] «История Датская», т. II, стр. 22.

[2] Там же, стр. 204—207.

[3] Там же, стр. 199.

[4] Там же, стр. 149.

[5] Судя по послесловию Козельского, он полагал, что трагедия написана автором на немецком языке. Немецкий перевод пьесы Отвея вышел в 1755 г. Нужно отметить, что текст перевода Козельского сильно отличается от английского текста трагедии. Так, у Отвея есть ряд сцен, отсутствующих у Козельского, есть действующие лица, которых нет в русском переводе, и т. д. Скорей всего эти отличия внесены не Козельским, а уже в немецком переводе. Однако общий идейный характер английской трагедии не изменен в переводе.

Вся трагедия прославляет восстание за освобождение от гнета тиранов. Повстанцы произносят сильные монологи на эту тему, например: «Мог ли бы я сносить, чтоб сие сильное государство под игом сенаторским воздыхало? чтоб наши судьи толковали законы по своей воле? чтоб негодный тунеядец пользовался плодами, которые собирали мои руки? чтоб слава, оружием моим приобретенная, увядать могла? чтоб злодей, осужденный законом, имел себе защитников?.. Ах, Жафир! можно ли нам хвалиться честию, когда мы в претерпении обиды никакой другой не имеем отрады, кроме воздыхания?»[1] «В чью грудь вонзить мне шпагу? — В грудь собственного твоего отечества, которое ожидает от нас новой жизни, в сердце тех неблагодарных людей, которые твоей крови жаждут и которые как чести, так и живота недостойны, в сердца сенаторов, которых цепи мы на себе носим. Они противники нашего благосостояния и начальники нашего несчастья. Сии гордые богачи при нашей бедности спокойно пользуются своим изобилием... Надобно прежде, нежели они проснутся в своем неопасении, распороть им брюха кинжалом и превратить дреманье их в вечной сон».[2] Повстанцы — плебеи, буржуа; их вождь говорит: «вооруженный мещанин победить или умереть должен».[3] В своем послесловии к переводу Козельский подчеркивал: «Что же касается до содержания книги, то оно мне весьма понравилось. Автор сей трагедии положил во многих ее местах весьма хорошие мысли, которые примечания охотного читателя стоят». Без сомнения, бунтарская установка трагедии близка ее переводчику.

Все книги Козельского, кроме одной, относятся к краткому промежутку времени между 1764 и 1770 гг. После большого перерыва он вновь выпустил новую работу уже в 1788 г. Это — книга со следующим заглавием: «Рассуждения двух индейцев Калана и Ибрагима о человеческом познании. Сочинены статским советником Яковом Козельским. Том I» (дальнейших томов не появилось). Козельский задумал дать в своей книге популярное изложение основ всех наук. (Он

[1] «Возмущение против Венеции», стр. 14—15.
[2] Там же, стр. 29—30.
[3] Там же, стр. 33.

настаивает на необходимости и возможности популярного изложения научных теорий и осуждает сам свои книги «Арифметические предложения» и «Механические предложения», написанные им в молодости и, по его теперешней мысли, излишне отягощенные научным «парадом» — см. стр. 35—36.)

Первый (и единственный) том труда Козельского содержит методологическое введение и затем изложение основ физики, анатомии, ботаники, химии и механики. Энциклопедизм, охват и серьезность знаний Козельского поразительны.

Во введении к книге он рассказывает кое-что из своей идейной биографии (Ибрагим в книге — это сам Козельский):

«В восхищении моем прославляемою от всех пользою наук, читал я и разбирал теоремы и задачи прилежно; и когда наскучила мне одна наука, то я обращался к другим; преподанное мне в Агрском [т. е. Петербургском] училище наставление в математике отворяло к ним дверь и облегчало трудность пути.

«Зная теоремы и задачи, но не зная ни основания их, ни конца, забывал я их, повторял чтением часто, и истощил на то почти половину моей жизни бесполезно. Чтение сочинений славного философа Руссо и созревающее размышление заставили меня примечать пользу от науки, и тут я к удивлению моему находил несколько сходных с его мыслями, что науки в руках моих приносят мне пользу, а в руках моего ближнего причиняют мне вред.

«Такие опыты возбуждали горячесть мою на согласное с Руссом проклятие наук, и на оглашение их орудиями всякого зла и вреда; любезные дети! не дивитесь, а потерпите минуту, вы увидите, что я имел к тому причину...»

Он разуверился в науках.

«Наконец, я в оторроплении духа размышлял, что ежели порочить науки злом, то доведется почитать все вещи на свете худыми, потому что всякая вещь, смотря по образу употребления ее, может быть полезна и не полезна, с умилием [sic!] начал, наконец, познавать, что науки не виноваты; они полезны, они нужны, и потому достойно и праведно похвальны; а все зло и весь вред происходит от худого их упо-

требления, да еще, может быть, при знании наук, и от незнания конца их и намерения...»

Заканчивая книгу, Козельский прославляет натуру (природу), ибо ей именно служит он, — и тут же вставляет смелый выпад против царской цензуры:

«А что касается и до Аполлона, присвоившего себе правительство натуры, то и я его не опасаюсь, потому что и он должен же наблюдать благоприятность, чтоб не показать гнева за правду; это будет неприлично его важности и власти, которая утверждается на одном его правосудии, а гнев его потребен только для укрощения лжи, да и то не гнев, а одно оправдание, которое должно состоять в особливом издании, а не в другом каком неприличном и недостойном важности его и власти средстве; а в случае нечаемого от его и за правду гнева, благонадежен я на покровительство великого Юпитера, который к незаслуженному притеснению конечно не допустит».[1]

7

Само собой разумеется, что очень многие из высказанных Яковом Козельским или Семеном Десницким передовых радикальных мыслей вовсе не ими придуманы, что много идей получили они от западных писателей, и от французских просветителей, и от английских философов, и т. д. Однако это обстоятельство не меняет того положения, что были русские писатели, ученые, публицисты, которые *так* думали уже в середине XVIII столетия, и что мышление их было органическое, глубокое, действительно передовое. И Десницкий и Козельский не переписывали своих западных учителей, а свободно и творчески учились у них и продолжали их дело в специфических условиях русского крепостнического государства.

Важно то, что начиная с 1760-х гг. радикальная демократическая мысль уже заявляла свои права в русской культуре, что было не так уже мало людей, которые могли разбудить мысль множества других, что началось движение, которое даст в конце концов Радищева.

---

[1] «Рассуждения двух индейцев», стр. 267—268.

Ведь Аничков, Зыбелин, Десницкий, Козельский — это были не просто кабинетные люди; ведь они *учили* людей, и очень многих людей. На протяжении десятков лет они вели свою широкую педагогическую деятельность. Десницкий, виднейший ученый и педагог такого центра, как Московский университет, крупнейшего ученого центра в стране, конечно же оказывал огромное влияние на молодежь. По всем данным судя, он был популярным, любимым профессором. Конечно, это не значит, что все его ученики становились столь же передовыми мыслителями, как он сам, но все же идеи его распространялись, все же были, вероятно, среди его учеников и такие, которые усваивали суть его идей и могли продолжать его дело. Яков Козельский преподавал также многим и многим, воспитывал много сотен молодых людей. Нет сомнения, что этот энциклопедист и прежде всего проповедник по натуре вел активную пропаганду своих идей. Ведь речь идет не о незаметных тружениках «не от мира сего», а о крупных деятелях общественной жизни. Они читали лекции, говорили речи, печатали книги, служили в правительственных учреждениях, непосредственно общались с людьми самых разных слоев — от сановников до учащихся — «разночинцев». Их педагогическая и литературно-публицистическая работа имела характер активной просветительской деятельности. Они были активны не только как литераторы в той мере, в какой это было для них доступно. Да ведь и самая «словесная» их деятельность организовала общественность в тех пределах и в том направлении, как это было им нужно. Когда же наступил момент, в который, казалось, можно что-то *сделать*, они попытались сделать. Это была пора Комиссии 1767—1768 гг., грандиозной инсценировки, сначала обольстившей почти все умы. И вот в 1768 г. С. Е. Десницкий составил проект государственного преобразования, проект конституции в либерально-демократическом плане, с парламентом из представителей разных сословий, судом присяжных и т. п.[1] Козельский, непосредственно перед Комиссией выступивший

[1] *В. И. Семевский,* Вопрос о преобразовании госуд. строя России в XVIII и первой четверти XIX века — «Былое», 1906, № 1.

с предисловием к «Государю и министру» (1766) и в самое время работы Комиссии — с «Философическими предложениями» (1768), как уже было сказано, сам был членом Комиссии в качестве депутата Днепровского пикинерного полка, и он вовсе не принадлежал в Комиссии к «болоту». Он проявил за время работы в ней и энергию, и гражданское мужество, и политический такт.

Он выступил в Комиссии со своим «примечанием» по поводу законов «о преимуществах дворянства» 21 сентября 1767 г. Дело шло о характере российского государства, о той преобладающей роли, которую играли в нем помещики, о претензиях родового дворянства сохранить и углубить свои преимущественные привилегии. Козельский в своем выступлении не мог, конечно, открыть все свои карты. Но он вступил в борьбу с основами дворянского мировоззрения и дворянских претензий. Поводом для этого выступления было то, что «многие гг. депутаты, подавая свои мнения о дворянстве, разными мероположениями стараются возвысить старое дворянство до такой степени, чтобы заслуживающие офицерские чины не из дворян уже никакими подвигами и достоинствами не могли быть сравнены с ними». Козельский настаивает на том, чтобы было предоставлено «добродетели и заслугам первое право к получению чести и достоинства». Он заявляет, что возможность получить дворянство была стимулом для не-дворянина и что, наоборот, закрытие этой возможности сделает не-дворян «как бы не сынами отечества». Дворянство же, «умножив высокомерие своего достоинства», будет пренебрегать служащими как по гражданской, так и по военной части. Он говорит: «В некоторых мнениях дворянское воспитание предпочитается службе; какая же будет польза обществу, если приобретенная от него честь за прежние победы будет наградою только одного старого дворянства, и если в чести останутся одни дворянские фамилии единственно потому только, что они старее? Можно будет тогда подумать, что служба, которую несло все общество, была для прославления одних дворян, а не для пользы отечества и сохранения в целости государства». Козельский выступает против дворянских депутатов, которые, согласно дворянской точке

зрения на общественную мораль, считали, что не-дворяне, служащие безупречно, делают это только из страха к начальству (так как, мол, им чуждо чувство чести). Он отвергает «обвинение» не-дворян офицеров в бедности, заявляя, что бедные бывают даже лучше богатых.[1]

Несмотря на осторожность Козельского, антифеодальный смысл его «примечания» был ясен депутатам. К его мнению присоединилось двадцать три депутата (это был своеобразный метод голосования); среди них не было ни одного дворянского депутата, а все только депутаты от однодворцев, солдат, мещан и даже крестьян. Вокруг Козельского в Комиссии сгруппировались «разночинцы».[2] Естественно, что Козельскому вызвался отвечать сам Щербатов и что речь свою, как сказано в протоколе, «говорил он и окончил с крайним движением духа». Он патетически прославлял родословные древа российских дворян. Козельский говорил, что дворяне — это потомки людей, получивших некогда дворянство. Щербатов возмущен тем, что Козельский «укоряет подлым началом древние российские фамилии»; по его словам, русские дворяне — наследники князей, владетельных особ и т. п. Он прославлял заслуги русской аристократии. Против логики Козельского Щербатов пустил в ход лишь аристократическую спесь и пафос.[3] К мнению Щербатова присоединились многие депутаты, исключительно дворянские.

Когда в Комиссии выступил Григорий Коробьин с знаменитым предложением ограничить крепостное право, Козельский откликнулся на это выступление. 23 мая 1768 г. он подал мнение по данному вопросу. Он выступает против противников Коробьина, отстаивает его предложение, считает, что крестьяне не должны работать на помещика более двух дней в неделю, предлагает привлечь самих крестьян к решению

---

[1] «Сборник Исторического о-ва», т. IV, 1869, стр. 187—190.

[2] Когда впоследствии по частному вопросу выступил депутат Урсинус, отстаивавший передовые, освободительные взгляды, к его мнению присоединилось шестьдесят пять депутатов, из них — шесть дворян, а остальные — от купцов, мещан, однодворцев, крестьян; среди присоединившихся был и Козельский. См.: «Сборник Исторического о-ва», т. XXXII, 1881, стр. 277—278.

[3] Там же, стр. 192—193.

вопроса об их повинностях, считает необходимым закрепить за крестьянами и недвижимую и движимую собственность. Он напоминает, что крестьяне в их тогдашнем положении «в отчаянии будучи, недоброхотствуют им [т. е. помещикам] и, как известно, многих убивают». Он сильно возражает помещичьим депутатам: «Также многие депутаты в мнениях пишут, что помещики крестьян своих в случае нужды ссужают хлебом, скотом и прочим, а мне кажется, что помещик, сколько бы ни богат был, то он в рассуждении поместья своего и от него же богат. Итак, если он не лишает своих крестьян собственного их хлеба, скота и всего пропитания, так где же он только возьмет всего того, чем бы ему во время нужды, т. е. в самом крайнем недостатке, каждого из крестьян своих снабдить? Невозможное дело! От сего благодеяния и владеющий принц скоро откажется. Справедливее можно доказать то, что крестьяне множеством одного помещика во всяком случае могли бы удовольствовать, ежели бы только они не разорены так, что по миру ходят. Я помещика умеренным и сносным признаю и за одно то, когда он из крестьянского движимого имения ничего взять не пожелает».[1] За это мнение на Козельского обрушился дворянский депутат Забела, заявивший, что Козельский превысил права депутатов, требуя отмены прав помещиков, «отринув всякую благопристойность»; при этом он счел возможным подчеркнуть, что Козельскому нет дела до того, о чем он говорил, «не имея сам здесь, в Великоруссии... недвижимого имения».[2] 4 июля 1768 г. Козельский выступил в Комиссии по вопросу о власти родителей над детьми, — вопросу, интересовавшему французских материалистов и потом Радищева. Он требовал изменения законодательства, легко относившегося к детоубийству и не допускавшего жалоб детей на своих родителей; он относился к этому вопросу в духе учения просветителей, отрицавших прирожденное неравенство родителей и детей и власть первых над вторыми.[3]

---

[1] «Сборник Исторического о-ва», т. XXXII, 1881, стр. 87—89 и 494—502.

[2] Там же, стр. 100 и 519.

[3] Там же, стр. 160—161 и 571—572.

Я не останавливаюсь на других выступлениях Козельского в Комиссии. Конечно, и кроме Козельского были в Комиссии депутаты, отстаивавшие передовые взгляды, например Я. Урсинус, депутаты от однодворцев и др. Вопрос о проявлениях демократической мысли в Комиссии ждет еще своего исследователя.

Ко времени работы Комиссии относится и выступление А. Я. Поленова со своим ответом на известный вопрос Вольно-экономического общества о собственности крестьян. Поленов, ученый юрист, получивший специальное образование в Страсбурге (потом он короткое время был в Геттингене, — в 1766—1767 гг.), только что вернулся из-за границы. Уже в Страсбурге определились его независимые симпатии и взгляды, как и его независимый характер. Он высоко ценил Руссо, с знакомцем которого Заутерсгеймом он сошелся дружески.[1] Занимаясь в Страсбурге разбором русских правовых порядков, он писал Протасову 3 декабря 1765 г.:

«Прежние узаконения, или по крайней мере большая оных часть, смотря по нынешним обстоятельствам России, совсем негодны... Сие самое причиною, что у нас нет ни судов, ни судей, которые бы сие имя по справедливости заслуживали».[2]

А 13 сентября того же года он писал И. И. Тауберту:

«Следуя вашему совету, разбираю я указы и уложения и, кроме беспорядка, замешательства, недостатка и несправедливости, ничего почти не нахожу. Я приметил столь знатные в наших правах погрешности, что иные могут иногда нанести великий вред и государю и народу...»[3]

В своем сочинении на вопрос Вольно-экономического общества, Поленов высказывается довольно смело. Он показывает убийственные следствия безнадежного положения крестьян: «Мы не можем требовать, чтоб человек, будучи так сильно понижен, старался о себе надлежащим образом; ибо он наперед знает, что от своих трудов никакой пользы, кроме

[1] «Русский архив», 1865, столб. 703—704.
[2] Там же, столб. 706.
[3] Там же, столб. 467.

опасности, истязания и насильствия, не получит». Он угрожает власти напоминанием того, что «конечное угнетение» народа приводит к восстаниям его, и указывает исторические примеры таких восстаний; «чего для некоторые государи для поправления бедственного состояния таких крестьян, уступали им с пользою собственность в имении или облегчали способ к получению свободы».

Поленов считает, что рабство в России установлено путем обращения в рабов пленных, что оно результат войны; он явно отрицает законность права насилия и войны и тем самым считает крепостное рабство незаконным. В главе «Бедственное состояние наших крестьян» Поленов говорит сильные вещи:

«Сие строгое и бесчеловечное право войны сохранилось в полной своей целости даже до наших времен, и мы видим изрядные оного опыты над нашим крестьянством, которого бедственное состояние на такой степень взошло, что они, лишившись всех почти, так сказать, приличных человеку качеств, не могут уже видеть величину своего несчастия и кажутся быть отягчены вечным сном.

«Крестьяне по самой справедливости заслуживают, чтобы иметь о них всевозможное попечение, и для приведения их в хорошие обстоятельства не должно щадить ни труда, ни времени. Поистине сказать, сколь много должны мы быть обязаны таким людям, которые, будучи всегда готовы на защищение отечества, проливают за него свою кровь, которые, избавляя протчих от тяжелых трудов и беспокойствий, питают их изобильно, которые, не имея сами почти ничего, снабдевают других так щедро, которые, во все время своей жизни не видя сами для себя никакой отрады, единственно упражняются в приумножении посторонней пользы: одним словом, наша жизнь, наша безопасность, все наши выгоды состоят в их власти и неразрушимым союзом совокуплены с их состоянием. Но мы, ежели искренне признаться, позабыв все сии великие благодеяния, вместо почтения платим презрением, вместо благодарения воздаем обиды, вместо попечения ничего кроме разорения не видно...

«...Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, которые, не имея ни малой от законов защиты,

подвержены всевозможным не только в рассуждении имения, но и самой жизни, обидам, и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства; от чего неотменно должны они опуститься и притти в сие преисполненное бедствий как для их самих, так и для всего общества состояние, в котором мы их теперь действительно видим».

В положительной программной части своей работы Поленов двойствен и осторожен. Может быть, в этом сказался нажим властей, заставивших его переделать текст сочинения. Когда сочинение это было представлено в Вольно-экономическое общество, то некоторые члены комитета по конкурсу считали его достойным отличия, — «но другие, — сказано в официальной бумаге комитета, — рассмотря сверх материи и самый слог, находят в оном многие над меру сильные и по здешнему состоянию неприличные выражения, и потому за нужное признают, что если кому в собрании знаем автор, то через него велеть ему немедленно оное переправить и тогда его пиесу также включить во второй класс и удостоить определенных тому классу преимуществ, *кроме печатания*». Так и было сделано. В окончательном тексте Поленов все же требует закрепления как недвижимой, так и движимой собственности крестьян, повсеместного обучения крестьян, лишения дворян-помещиков права распоряжения личностью крестьянина, введения юридических отношений между помещиком и крестьянином в нормы путем решения конфликтов между ними в суде, и т. д. Он не предлагает ликвидировать совершенно экономические повинности крестьян помещикам, но предлагает ограничить их только одним днем в неделю.

Однако в конце Поленов, может быть невольно, принужденный к этому, понижает ценность своих предложений, оговаривая, что все эти мероприятия следует проводить не насильственно, а постепенно, предварительно «воспитав» крестьян. Тут он вступает в противоречие (может быть не от него зависевшее) с самим собою, так как в главе «Бедственное состояние наших крестьян» он писал: «Ничто человека в большее уныние привести не может, как лишение соединенных с человечеством прав. Чрез сие мало по малу приходим мы в нерадение и леность, которые, понижая нас,

нечувствительно отнимают все силы и препятствуют нашему разуму возвыситься до надлежащего степени совершенства. Дошед до того, всегдашнее недоверие и некоторая боязнь не дозволяет проникнуть сквозь густые невежества облака. Но пусть человек пользуется правами человечества, пусть уничтожены будут недопускающие его до их исполнения препятствия, то возвратив свои силы, вскоре переродится». Следовательно, Поленов хорошо понимает, что «воспитать» и просветить крестьян в их рабском положении едва ли удастся и что именно освобождение даст им культуру, а не наоборот.[1]

Я не имею в виду доказывать, что люди вроде Десницкого, Аничкова, Козельского составляли мощную силу, способную воздействовать, скажем, на политику правительства. Но я полагаю, что в крепостнической стране XVIII века были отдельные группы, как бы оазисы, были люди, мыслившие демократически и смело, мало того — высказывавшие свои мысли и способные повлиять на своих учеников, как и на те или иные явления художественной литературы. Разночинцы XVIII столетия еще до Радищева, задолго до «Путешествия из Петербурга в Москву», начали работу по созиданию радикально-демократического мировоззрения, и эта работа, исподволь развивавшаяся, в конце концов и привела к великой вспышке революционной мысли в 1790 г. — к книге Радищева.

В нашем распоряжении пока что имеется не много фактов, удостоверяющих распространенность идей передового, демократического, радикального характера. Однако есть основания утверждать, что группа профессоров Московского университета и такие люди, как Я. П. Козельский, не были редкостным исключением и что их проповедь не пропадала даром. Так, влияние идей Я. П. Козельского заметно в творчестве его сына Ф. Я. Козельского, второстепенного поэта 1760—1770-х гг.

Федор Козельский как поэт был учеником сумароковской школы, он был связан с Н. И. Паниным, к

---

[1] *А. Я. Поленов,* О крепостном состоянии крестьян в России — «Русский архив», 1865, столб. 287—316.

которому относился как к патрону-благодетелю.[1] Казалось бы, это человек новиковского круга. Тем не менее, Новиков, похваливший в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» в 1772 г. множество совершенно незначительных поэтов, отозвался о нем в общем отрицательно: «Писал много стихов, из которых напечатаны: Собрание элегий и трагедия *Пантея*; но как первые, так и последние не весьма удачны. Напротив того, его две оды имеют в себе много хорошего, а поэма *Незлобивая жизнь* от многих и похвалу получила». В своем «Трутне» Новиков нападал на Ф. Козельского. Нужно полагать, что отношение Новикова к Ф. Козельскому определялось принципиальными, в конце концов — политическими соображениями. Сам Ф. Козельский платил Новикову настоящей ненавистью, причем упрекал его в низкопоклонстве. В «Размышлении о любви отечества» он писал:

Есть польза и добро от правильного спору;
Кто хвалит все у всех без дального разбору,
Тот похвалой своей меня не веселит,
Не хвалит нас такой, но без вины бранит.
Излишество во всем равно считают вредным;
Послужит навсегда нам то примером бедным,
Как наш писец в Словарь на пиршество созвал,
И по чинам, как льстец, всех авторов сажал,
Забывши, что теперь не по чинам садятся,
И что творцам в местах некстати разбираться;
Иное по чинам вино творцам поднесть,
Иное за дела хвалу давать и честь.[2]

Не один раз в научной литературе цитировалось место из «Размышления о зависти» Козельского,[3] в котором он бранит Новикова как автора «Словаря» и некоего его сотрудника, в котором В. П. Семенников видит М. И. Попова.[4] Тут говорится о «двух особах», которые

Исполнены вражды и к стихотворцам злобы,
Не к титулярным мню, но к славным и прямым.

---

[1] См. его «Письмо о благодеянии его сиятельству графу Никите Ивановичу Панину, 1776 года», напечатанное сначала в журнале «Собрание разных сочинений и новостей» за июнь 1776 г., а затем в «Соч. Федора Козельского», т. I, 1778.

[2] Соч., т. I, стр. 151.

[3] Там же, стр. 166.

[4] *В. П. Семенников,* Русские сатирические журналы 1769—1774 гг., Спб. 1914, стр. 43.

И далее — о «Словаре»:

Чем в больших кто чинах, то в ней стоит умнее;
Убог ли кто из нас, написан тот глупее.

Вспомним, что Ф. Козельский писал о себе:

Писатель сих имян проворен и досуж,
Кто знатен, он тому прибавил: *острый муж,*
За то, что сей ему тузами угрожает.
В сем важном Словаре честь быстрый ум рождает,
Где острыми творцы названны таковы,
Что круглой и его тупее головы.
Что знатных, хоть тупых, ты славишь острецами,
Прощаем мы тебе, напуганну тузами...

В «Опыте исторического словаря» Новикова говорится, — если иметь в виду живых писателей, — что А. А. Нартов — «человек острый, ученый и просвещенный», что сочинения А. В. Олсуфьева «весьма много за остроту похваляются», что сочинения А. А. Ржевского «изъявляют остроту его разума», что произведения Д. И. Фонвизина «свидетельствуют остроту его разума», что сочинения А. В. Храповицкого «за остроту знающими людьми весьма похваляются», [1] что М. М. Херасков «человек острый, ученый и просвещенный». Все названные писатели были людьми чиновными, и все они принадлежали к кругу Новикова, кругу дворянских либералов. Ф. Козельский, видимо, придерживался иной, более демократической ориентации.

Наконец, в «Размышлении о ласкательстве» [2] Ф. Козельский имеет опять в виду Новикова, говоря о «писце», который «по чинам хвалил творцов, как льстец».

В самом деле, Ф. Козельскому было не по пути с помещичьей интеллигенцией, хотя бы и либеральной. Он стал в своих стихотворных «Рассуждениях» на защиту крепостного мужика. Он говорит о нем:

...сносит селянин несчастье постоянно,
В котором почитай живет он непрестанно. [3]

Он говорит о грубости нравов крестьян. Известно, что Сумароков и писатели его школы акцентировали

---

[1] *Новиков,* Опыт исторического словаря, стр. 45, 158, 189, 231, 234.

[2] Соч., т. I, стр. 175.

[3] «Размышления о непостоянстве человеческом» — Соч., т. I, стр. 159.

грубость крестьян, их дикость, и считали, что именно эти черты доказывают невозможность воли для них. Наоборот, Козельский, — без сомнения полемически, — настаивает на том, что самая грубость мужицкая есть следствие социального уклада, следствие жестоких условий социального бытия. Следует подчеркнуть здесь, что эта социологическая точка зрения, в те времена глубоко прогрессивная, сближает Ф. Козельского с Десницким, Я. Козельским и др. и ставит его в ряд идеологических деятелей, подготовивших почву для Радищева (о взгляде Ф. Козельского на лесть была речь выше). Ф. Козельский пишет в «Размышлении о милосердии»:

Когда наш селянин в собраниях лукавых
Не слышит ничего, не знает говорить,
Кроме обычных слов, *бить, грабить* и *убить*, —
Убивство столь уже ему неважно зрится,
Что если нам в проезд спросить его случится:
— Не слышно ль про разбой? — Ответствует: *шалят;*
Сим словом знать даст, что грабят и мертвят;
То видно, что разбой игрой считает в жмурки,
Иль тем, когда дитя шалит метаньем чурки.
Как некогда на казнь вельможа осужден
И был на лобное уж место приведен,
И как ему пристав колеблющусь напрасно
И смерти зрящему пришествие ужасно
С холодностью сказал: ложись, брат, князь Иван,[1]
То видно чувство нам, с каким и сей тиран
Взирал тогда на смерть и пагубу людскую,
И как он сострадал, зря участь смертных злую.
Иль подданных своих владелец разорив,
Налогом и бичьми до смерти отягчив,
Когда истяжет дань чрез лютые удары
На надобный прокорм передней цуга пары,
И спросит их смеясь: *что баня какова?*
Не кажут и сии нам жалости слова».[2]

Итак, именно эксплоатация, дикая жестокость помещиков приучает крестьян к жестокости. Характерны в приведенном отрывке и сочувствие порабощенному крестьянству, и стремление оправдать его, осудив помещиков, и конкретность, зоркость наблюдения и передачи крестьянского быта и речи.

---

[1] Козельский имеет, вероятно, в виду казнь кн. И. А. Долгорукого в 1739 г.

[2] Соч., т. I, стр. 180—181.

В «Размышлении о дружбе» Ф. Козельский говорит о том, что дружба — эгоистическое чувство, что Цицерон выбирал себе друзей, которые могли доставить ему выгоду:

Нам здесь сама собой откроется причина,
Что Цицерон в друзья не выбрал селянина,
Хоть много бы нашел, прилежно поискав,
Таких, у коих был ему подобный нрав.[1]

Вопрос о народном пьянстве Ф. Козельский ставит в «Размышлении о вине» и опять разрешает его не в плоскости порицания индивидуального порока, а в плоскости анализа социальных причин этого порока. Он утверждает, что свободный человек живет добродетельно.

Чем в большем рабстве кто, тем склоннее к вину;
Чем более из нас теснится кто в неволе,
От грусти завсегда тем пьет вина он боле,
От грусти, говорю, что слышал я не раз,
Когда напившись пьян невольник чрез приказ,
Он оправдать себя перед начальством тщился,
Что он от грусти пьян бесчувственно напился:
Он тем надеется печаль свою смягчить
И горести свои несносные забыть;
Но тщетно падший он достигнуть мнит свободы,
Спокойства и забав, нам данных от природы.[2]

Здесь уже намечен знаменитый радищевский бурлак, русский человек, который «если захочет разогнать скуку или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак» («Путешествие», глава «София»).

Отношение Ф. Козельского к пьянству крестьян поясняется высказыванием на эту тему Я. Козельского в Комиссии Нового уложения 23 мая 1768 года:

«Что же и леностью, пьянством и мотовством обвиняют [помещики] их, крестьян, положим и так. Но я представляю трудолюбивую пчелу в пример: за что она трудится и кому прочит? Что она трудится часто не для себя, она того не предвидит, но приобретенное, как видно, почитает за собственное добро, что защищает его и для того кусает, жалит, жизнь теряет, как только человек или другое животное подойдет к

[1] Соч., т. I, стр. 188.
[2] Там же, стр. 203.

гнезду ее. Крестьянин же чувственный человек, он разумеет и вперед знает, что все, что бы ни было у него, то говорят, что не его, а помещиково. Так представьте себе, почтенное собрание, какому человеку тут надобно быть, чтобы еще и хвалу заслужить? И как ему быть добронравну и добродетельну, когда ему не остается никакого средства быть таким? Он в сем насилии принужден и себе недоброхотствовать, а от того разве и пьянствовать, будучи в унынии, а не от лености, а самый бо трудолюбивый человек сделается нерадивым во всегдашнем насилии и не имея ничего в собственности. Да и могут ли в сем климате быть ленивые народы, я не понимаю. Лучше кажется, по человеколюбию, стараться возбуждать народ к работе вольной и не томной, то он большой урок выработывать будет и не устанет, нежели одною неволею и удручением рабства».[1]

Ф. Козельского интересуют не только социальные, но политические вопросы.

Кто не узнал еще правителей народа?
Что дружба и родство — едина их выгода?
Что брань у них и мир для собственных потреб,
Докажет, сверх других, сие Борис и Глеб.[2]

С большой силой и с гневом изображает Ф. Козельский жестокость российских чиновников, свирепость пыток в российских застенках в стихотворении «Письмо к Алтынову».

Так, например:

Узревши ближнего, висяща на дыбах,
Держащась на своих изломанных руках,
Истерзанна бичем и кровью обагренна,
Стеняща до небес, болезньми отягченна,
Возможно ль смертному об нем не сострадать?
Кто может до конца сего тиранства ждать?

«В «Размышлении о простоте» Ф. Козельский с восторгом говорит о некоем блаженном государстве, «где тягостных никто не чувствует оков», в «котором все равны и подлых нет рабов».[3]

---

[1] «Сборник Исторического о-ва», т. XXXII, 1881, стр. 499—500.
[2] Соч., т. I, стр. 185.
[3] Там же, стр. 165. Видимо, он имеет здесь в виду Швейцарию либо Америку.

Немало места уделяет Ф. Козельский проблемам этики, разрешая их в духе передовых идей французских просветителей. Он хорошо усвоил Руссо, так же как, с другой стороны, Гельвеция («Гельвеция читай, Монтескиу, Волтера» — советует он).[1] От Гельвеция идет развитая Ф. Козельским мысль об эгоистической основе поведения человека, анализируемого с точки зрения утилитаризма («Размышления о дружбе»). В связи с учением Гельвеция стоит рассуждение Ф. Козельского о любви детей к родителям. Как известно, Фонвизин заставил своего Иванушку идиотским образом излагать мысль о свободе детей по отношению к родителям, имея в виду дискредитировать эту мысль. Ф. Козельский, может быть помня о Фонвизине, настаивает на этой же мысли:

Иной к отцу любви долг слепо доказует,
За то, что сын его на свете существует;
Вины не знаю я, за что отца любить?
За то ли, что меня принудил бедно жить?
Не знаю, почитать возможно ль за щедроту
Сие, что жизнь мне дал, довольствуя охоту?
Мне кажется к любви причины мало сей,
Коль жизни многие несноснее смертей.[2]

Радищев в «Путешествии» в главе «Крестцы» вкладывал в уста идеального отца такие слова, обращенные к сыновьям: «Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу, имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны... Не должны вы мне ни за воскормленис, ни за наставление, а меньше всего за рождение. — За рождение? — Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли вы да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели, или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Побуждение к супружеству покажет и вину рождения... Я получил вашу мать в супруги. Но какое было по-

[1] Соч., т. 1, стр. 149.
[2] «Размышление о любви отечества», т. I, стр. 145.

буждение нашея любви? Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили». О выступлении Я. Козельского по вопросу о родителях и детях в Комиссии Нового уложения я уже говорил выше.

В «Размышлении о моде» Ф. Козельский выступает против дворянской моды мужьям жить врозь с женами (ср. борьбу французской буржуазной драмы с «préjugé à la mode»), отстаивает крепкие устои семьи, отстаивает даже ревность, как естественное чувство мужа, полностью сходясь и в этом с Я. П. Козельским, который также защищает ревность как проявление естественного эгоизма. «Я никого не приметил из людей, надеющихся еще жить на свете, чтоб кто самую любимую для себя вещь уступал охотно другому» («Философические предложения», § 213).

Известны резкие нападки Радищева на милитаризм и военную политику екатерининского царствования. Ф. Козельский настроен пацифистски. В «Письме его сиятельству гр. П. А. Румянцеву-Задунайскому» (1774) он пишет:

Не знаешь ты меня, что может быть обижу,
Я тот, который всех тиранов ненавижу,
Отъемлющих в бою у ближнего живот,
Невозвратимый в век ни от каких щедрот...
Проклят тот человек, кто первый на раздор
Понудил, в свет родясь, толпу народа в сбор...

Сильная инвектива против войны помещена Ф. Козельским во второй песне его философической поэмы «Незлобивая жизнь». Он заканчивает ее так:

Не может человек за часть земли презренну
В замену никогда дать жизнь свою бесценну.[2]

Эта же поэма содержит ряд очень смелых, резких нападений на общее политическое положение России XVIII века, не названной, но отчетливо угадываемой:

На раменах селян свой Роскошь зиждет дом,
И пóтом тысящей и многих лет трудом
Из поселянских сил все злато истощенно;
Желание ее еще не насыщенно.
Бескровен ратай стал, равно земля суха;
Отверженна от всех полезная соха.

---

[1] Соч., т. I, стр. 215.
[2] Соч., т. II, стр. 189.

Лежит бесценный плуг, грызется едкой ржею,
Наемным оком зрит, держим рукой чужею,
И ратаю никто слез горьких не отрет,
Что злато из сохи железной нам кует.
Заржавые серпы, тупые и забвенны,
Уже теперь в мечи куются изощренны...

Эти стихи о крестьянине предсказывают строфы оды «Вольность» о ратае. Один из вельмож говорит в поэме Ф. Козельского:

...должно ль от работ излишнюю свободу
Давать нам в праздники подвластному народу?
И скудость нам терпеть в пространном житии?
И в пище умалять расход и в питии?
. . . .
Кто счастлив в свете сем родился господином,
Довольствован во всем быть должен селянином;
Равно на службу, мню, бог создал для меня
Подручного раба, как сельского коня;
Считаться должен так равно для господина
Трудящийся пахáрь, как пахотна скотина.
И в праздник труд коню, теченье в праздник рек, —
Не тем ли должен нам и сельский человек?..[1]

Вспомним пашущего в воскресенье крестьянина в главе «Любани» в «Путешествии» Радищева.

В доме у этого вельможи:

Уборы на столах и Сельский труд на злате.
(Несчастный Селянин! о коль почтен твой труд!
Но сам ты чести той не доживешь отнюд!)[2]

Третью песнь поэмы Ф. Козельский заканчивает возгласом:

Где больше вольности, там больше чистоты.[3]

Существенны здесь, конечно, не столько отдельные формулировки, положения, идеи, которые могли бы иной раз встретиться, пусть в смягченной форме, и у писателей дворянского либерального лагеря, — сколько самая совокупность всех этих положений и формулировок, эта атмосфера социального гнева и демократического пафоса, существенно отличающаяся от общего характера идейно-политических позиций Сумарокова и его преемников. Эта атмосфера напряженных философских интересов, имена и идеи Гельвеция

[1] Соч., т. II, стр. 191—192.
[2] Там же, стр. 195.
[3] Там же, стр. 236.

и Руссо, эта свобода в сочетании с политическим радикализмом — все это и дает право говорить о том, что Ф. Козельский был как-то включен в то движение демократической мысли, наличие которого и до Радищева я стремлюсь показать в русской культуре. Характерен безнадежный пессимизм Ф. Козельского в вопросе о возможности изменения общественной структуры. «Жизнь ваша сущий ад» — говорит богиня герою поэмы «Незлобивая жизнь», но тут же объясняет ему, что он бессилен в борьбе с властителями земли, что

Теченье можно рек на инный путь направить,
Нестройности нельзя вселенныя поправить;

что, стремясь «за пользою», можно лишь ухудшить положение вещей.

Жестокий жребий ваш! И несчастливый рок! —

Таков вывод Ф. Козельского.[1]

8

Влияние идей западного (французского) просвещения сказывалось в России не только в лагере дворянского либерализма. Брожение умов не могло не прорывать иллюзорный покров официального помещичьего благолепия российской культуры.

В 1775 г. сразу после подавления пугачевского восстания некто Николай Колычев подал Екатерине II записку об учреждении «некоторого порядка» в государстве. Екатерина, жившая в это время в подмосковном селе Царицыне («Черная грязь»), писала 9 августа этого года М. Н. Волконскому, московскому главнокомандующему: «Князь Михаил Никитич! Чтобы узнать намерение и дело, о коих подал письмо неизвестный мне Колычев, я оное к вам посылаю в оригинале. Пригласите вы к себе князя А. А. Вяземского и обще с ним персонально испытайте поведение и свойства сего человека и какой он план имеет дать вообще делам лучший порядок, нежели в котором оные суть ныне, что он разумеет под именем *губерния оскорбленная* и требуйте также, чтоб он нарек тех

---

[1] Соч., т. II, стр. 212—213.

людей, которых не именуя порицает быть *мздоимниками* и не творящими правды. Я хочу правды и кто опять надобен для составления его предприятия; по удостоверении о всем том, вы меня уведомите, рассудок ли или едино сумасбродство его, Колычева, к сему представлению воспаляли. .»

Уже 5 сентября 1775 г. из самой Москвы она писала: «Князь Михаил Никитич! Вы мне докладывали, что Колычев просит о пострижении его в монахи. Исполнить сие его желание я дозволяю, однако ж быть ему монахом не в Киеве, но в Межигорском монастыре и сего монастыря архимандриту отпишите вы наше повеление, чтобы он наблюдал прилежно за сим *постриженцем,* не дозволял ему иметь чернилы и перо, и дабы он жил навсегда безвыходно в том монастыре». [1]

Нетрудно представить себе, как «разговаривали» Вяземский и Волконский с наивным правдолюбцем, попытавшимся избыть неправду российского государства, если он сразу же «захотел» в монастырь. Колычев был заключен за слово правды. Так началась традиция радикальных мыслителей XVIII века, «вознагражденных» за свою смелость тюрьмой. Таким же, — но гениальным, — был и Радищев. Таким же был и разночинец Ф. В. Кречетов, посаженный в крепость в 1793 г., но начавший свою деятельность не позднее 1780-х гг. Неясны связи Кречетова с новиковским кругом; во всяком случае, он служил библиотекарем у человека близкого к новиковской группе — П. Н. Трубецкого, единоутробного брата М. М. Хераскова и родного брата розенкрейцеров Н. Н. и Ю. Н. Трубецких, и книгами из его библиотеки он усердно пользовался. П. Н. Трубецкой отнесся отрицательно к деятельности Кречетова, и они расстались. Иначе это и быть не могло. Князь Трубецкой, связанный с розенкрейцерством, не мог сочувствовать Кречетову. Может быть, важнее другое: на Кречетова повлияло творчество С. Е. Десницкого, в частности его предисловие к переводу Блекстона. [2] Кречетов был не столько ли-

---

[1] «Русская старина», т. XCIV, 1898 г., ч. II, стр. 96.

[2] *Н. Чулков,* Ф. В. Кречетов — забытый радикальный публицист XVIII века — «Лит. наследство», № 9—10, стр. 456; *М. Корольков,* Поручик Федор Кречетов — «Былое», 1906, № 4, стр. 49.

тератор, сколько практический деятель. Он вступил на путь активной работы революционного характера. В 1785 г. он создал общество с широкими просветительными и — негласно — без сомнения антиправительственными задачами. Общество просуществовало несколько лет. Членов общества было около сорока человек.[1] Этот факт многозначителен. Итак, дело идет не о случайности, не об исключительном явлении, не о безумце-одиночке, а о целой многолюдной группе.

Как известно, Кречетов был обвинен в тяжких «преступлениях»: «Он, негодуя на необузданность власти, восстав на злоупотребления, возвращает права народу. Довольно уже слышно народного ропота на неправосудие, и не возжечь бы попустительством еще большего пламени», — писал доносчик Малевинский. Он о самой Екатерине «непристойные слова произносил: она-де впавшая в роскошь и в распутную жизнь, и незнающая в правлении престолом, и управляют им наемники, потому недостойная престола и удобно будет и лишить ее оного, как убийцу».[2] Он «произносил непристойные и укорительные слова на высочайшую честь императорского величества, також и на высочайших наследников... и весь сенат ругал, яко воры и разбойники, и сама же потакает им и делает заодно. Итак все то чинил он, Федор Кречетов, великую противность к святым церквам, яко идолослужение производил и называл всех правоверных идолопоклонниками... и пророчествует к величайшему бунту такому, которого еще не бывало». Он задался целью «правоверных избавить от ига царского, в котором поныне по слепоте своей страдают»; он уговаривал солдат, «чтобы всем офицерам и штатским перевязали бы руки»; он требовал свободы всем крестьянам, армию же хотел уничтожить, потому что «войны более уже не будет».[3]

Следствие выяснило также, что Кречетов собирался открыть школу для мужчин и женщин, «лучших же учащихся, по окончании курса, намеревался послать в губернии и таким путем устроить в России

[1] *Чулков*, ук. соч., стр. 457.
[2] Там же, стр. 465—466.
[3] Там же, стр. 465—466.

вольность».[1] Кречетов намеревался уничтожить все княжеские и дворянские титулы.[2] Кречетов предрекал восстание народа в России, которое может «разрушить все власти в мгновение ока». Он говорил о разврате правительства; «сочинители же ослепляют пышными одами, что настал-де золотой век, а мерзкое духовенство в храмах лицемерит и льстит, из пышных слов составляя поучения, а потом, гладя усы и бороды, отходят в свои кельи и там упиваются в роскоши, и изобилии своего богатства, взятого от пота и крови ближнего». О законоположениях Екатерины II он говорил, «что все, мол, это сделано от Емельки Пугачева, чтоб могущественнее тиранию укрепить».[3] Арестованный Кречетов, конечно, отрицал, что он агитировал среди солдат и стремился к революции. Его, без сомнения, подверг пытке знаменитый С. И. Шешковский, но без успеха. Впрочем, свидетели подтверждали, что он хотел путем увеличения числа членов своего общества «обработать» умы с целью действовать к общей пользе. Все это происходило уже после процесса Радищева. О напечатании книги Радищева Кречетов отозвался отрицательно, но говорил, что Екатерина поступила с ним строго и неправильно, — так показал свидетель В. Окулов,[4] но он же показал, что цель Кречетова была — «свергнув власть самодержавия, сделать либо республику, либо иное что-нибудь, чтоб всем быть равными», что кречетовский проект создания сети школ во всей стране имел задачей поднять политическое самосознание народа, что Кречетов стремился к такому положению, когда общество будет требовать от государя исполнения своей воли, «а за неисполнение оных тотчас бы самодержавия власть слетела».[5] Нет никакого сомнения, что в основном показания свидетелей соответствовали действительности; да и сам Кречетов принужден был признаться, что он хотел ограничения самодержавия.

[1] *Корольков,* ук. соч., стр. 50.
[2] Там же, стр. 51.
[3] Там же, стр. 53—54.
[4] Там же, стр. 52.
[5] *Чулков,* ук. соч., стр. 467.

Итак, судьба Радищева не единична. Колычев, Кречетов, а может быть еще другие, которых мы не знаем пока (см. ниже о Рожнове), испытали эту судьбу. Радищев выделяется из ряда не своей судьбой, а глубиной и последовательностью своего революционного мировоззрения, величием и гением, не имевшими примера в его век. Философский, теоретический бунт Козельского и Десницкого, поднятый еще в 1760-х гг., наивное порывание Колычева в 1770-х гг., попытка революционной пропаганды Кречетова в 1780-х гг. — все это звенья единой цепи, несмотря на различия личности, мнений и тактики людей, осуществлявших эту традицию. Между тем семена падали и давали всходы, — то здесь, то там. В 1775 г. в журнале «Собрание новостей», издававшемся И. Ф. Богдановичем,[1] в ноябрьской книжке (стр. 57—61), в информационном отделе «Черты благодеяний человеческому роду» самым незаметным образом была помещена статья, призывающая в сущности к осуждению крепостнических отношений и предлагающая взамен их отношения арендные. При этом аргументация против крепостничества — не только моральная, но и экономическая и политическая — близка к той, которую развил (с иными, революционными выводами) Радищев в «Путешествии» и в оде «Вольность». Эта статья, имеющая характер библиографического отчета о книге, осторожно вставлена между известием о том, что «его величество французский король купил у некоторой вдовы никому неизвестное доселе предписание лекарства от плоских глистов, которыми множество людей страдали без помощи», и велел «лекарство оное» объявить «во всем свете... для пользы человеческого рода», — и самым рецептом этого лекарства от глистов. Говорится в статье следующее: «Письмо некоего знатного голстинского помещика, в котором описывается уничтожение в отчине его боярщины, и следствии сей перемены по двадцатилетнем опыте, напечатано от гамбургского общества, старающегося о художествах и полезных изобретениях, в Гамбурге,

[1] См.: *Л. Н. Майков,* Очерки по истории русской литературы XVII и XVIII столетий, Спб. 1889, стр. 409.

у К. Е. Бона, 1775 года, и составляет два листа в 8°, и сие малое сочинение заключает в себе преважные вещи, ибо чего столь многие патриоты и человеколюбцы желали, и в достижении чего столь много затруднения и великое возражение находили, то видим мы здесь от некоего помещика, исподволь произведенное в действо, изведанное чрез 20-летний опыт, и опробованное по действительно приобретенным успехам. Сочинитель, рассуждая в оном письме, являет себя таким, которому за подлинно верить должно. Он доказывает нам каждую статью не по общему всех мнению, но по точному своему испытанию. Описывает, во-первых, жалостное состояние как самой вотчины, так и крестьян на боярщине; худое и нерадетельное обрабатывание полей, ущерб помещичий, леность, бедное житие и бремя совсем ослабевших подданных, чувствуемое ими от детей, которые должны им быть подмогою и подкрепою, напротиву того, препятствующее размножению поселян. Он причину сей бедности очевидно находит в том установлении, что сии люди принуждены были работать не собственно на себя, но единственно на своих господ. Из сего выходит правило: отводить им землю, которую они должны нанимать и для самих себя пахать. Оное правило выводит он с великою прозорливостью и рассуждением. Он делал опыт сперва с одною наемною землею, размерял поля, снабдевал крестьянина построением ему дома, дачею скота и семян на посев. А как крестьянин по прошествии пяти лет не только во всем соответствовал ожиданию, пахал свою землю, за наем платил исправно, но и вообще поправил свое состояние: то продолжал он то же самое и с прочими наемными землями, которых числом было 20, и одобрял земледельцев одного пред другим годовым награждением тому, кто лучше старался о своем хозяйстве. Все расходы на сие записывал он подробно, и он уверяет, что по счетам, которые чрез сии 20 лет ведены, приход ни в одном годе не уменьшился, но напротив того, в некоторых умножился. А особливо уважает он ту выгоду, которая вышла при конце, когда вся земля отдана была в наем; то есть, что у господина тогда все до домостроительства касающиеся строения,

всякие приборы, слуги и скот остались в бережности, и не подвержены худому смотрению и прочим неудобностям, происходящим от барщины; а сие может он себе полагать приходом. При крестьянской на себя работе приобрел он и другие некоторые выгоды, а именно: что они много покупали лесу, больше нанимали земли и со временем взяли всю землю за настоящую цену в наследственный откуп. От сей в рассуждении крестьян перемены произошла польза, которая влечет к подражанию каждого чувствительного гражданина: ибо поля, луга невероятно улучшились, и все земледелие с великою ревностию стало быть исправляемо; нерадение и унылость истребились, поправление нравов произвело желаемое старание о детях, и отцы возымели о них попечение: они посадили себе несколько сот дерев и завели новые жилища, в надеянии сдать когда-нибудь хозяйство свое детям. Словом, народ в той вотчине чрез помянутое время втрое умножился. Взирая на благосостояние и счастливое житие сих крестьян (как о том многие из тамошних поселян свидетельствуют), всякой радуется, и теперь оную вотчину ценят вдвое. При конце сего письма сочинитель рассуждает о причинах, для чего вышеписанному учреждению, которое основано на здравом рассудке, опыте и человеколюбии, не многие последовали. Предстоящий малый ущерб нас устрашает толь сильно, что будущая отдаленная польза или весьма слабо нас трогает, или кажется невероятною и несбытною. Многие живут по сему простонародному наречию: не сули мне журавля в небе, а дай синицу в руки: вот тебе синица, будь счастлив».

В 1782 г. в Петербурге издавался журнал «Утра»; издавал его П. А. Плавильщиков. Журнал этот не имел отчетливого направления; но между другим материалом в нем помещалось немало вещей достаточно передовой настроенности. Так, в нем была напечатана повесть «Быль» (лист V, май), в которой рассказывается о двух приятелях — дворянине и разночинце; дворянин — пустяковый человек; он протратил все свое имение, которое и купил вышедший в люди разночинец, публично издевающийся над дво-

рянчиком. В конце он дарит дворянину часть имения. Автор в восторге от своего разночинца.

Первый же «лист» журнала открывается стихами без названия; здесь говорится о людях, одержимых пороками, между прочим о честолюбце:

Стократ бы перед ним блаженней пахарь был,
Когда б его покой помещик не мутил.

Земледельцы — здоровые, добродетельные люди; они могли бы быть счастливы,

Но гордый сих семей трудящихся владелец
Приносит в жертву их тщеславью своему;
Надменному его мечтается уму,
Что жизнь сотворена людей ему подвластных
К успеху воль его сластолюбивых страстных.
На троне роскоши сидит он возвышен,
В деревню целую богато облечен,
И бархат златошвен имеет под ногами
Раскрашен, испещрен крестьянскими слезами,
Опершися на их сурову нищету
Лобзает случая обманчиву мечту:
Колико человек сей горестно восстонет,
Когда корабль его в злой бедности потонет.
Увянут розы вдруг, померкнет свет в глазах,
Надменна грудь его преобратится в прах.

Смелые ноты звучали и в петербургском альманахе «От всего помаленьку, или собрание философических, нравоучительных, критических, исторических, забавных и любовных материй, переведенных с французского языка» (№ 1 — 1782; № 2 — 1786); см., например, статью об «Энциклопедии», в которой даны выпады против реакционного зажима свободной мысли; «Разговор между философом и природою», имеющий характер проповеди философского свободомыслия; перевод из Руссо; «Отрывок из книги: глава XIV» — о тщете роскошных сооружений Людовика XV. «Просвещенный абсолютизм» Людовика XIV подвергается убийственной критике. Блестящие сооружения абсолютизма превратились в прах; их создатель был «своенравен во своих хотениях, он обременял своих подданных. Сия пучина поглотила деньги всего государства», — и все это рассыпалось; «вот что осталось от сего огромного колосса, воздвигнутого руками целого миллиона несчастных, столькими трудами и прискорбием».

Появление в 1790 году революционной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», противостоявшей всей дворянской культуре в целом, не было таким образом ни вполне неожиданно, ни тем более случайно. Элементы революционного мировоззрения накапливались в России второй половины XVIII столетия по мере углубления противоречий феодально-крепостнического строя. Крестьянские восстания и в первую очередь грандиозное восстание Пугачева угрожали самому существованию дворянского государства. С другой стороны, Россия, все более включаясь в систему европейских государств, не могла не испытывать воздействия глубоких потрясений феодализма под ударами капиталистических и демократических сил. В течение всего столетия Франция бурлила как котел, готовый взорваться. Голоса идеологов-вождей буржуазии звучали на весь мир призывами к созданию нового общества; радикальнейшие из этих идеологов говорили от лица всего народа, противопоставляя народ, нацию кучке феодалов и тирании. В 1774—1775 гг. началась американская революция; на месте английских колоний возникла республика Соединенных штатов Северной Америки. В 1789 г. накопившиеся силы революции произвели взрыв во Франции. Зашатались троны во всей Европе; феодализм рушился, разваливался на глазах. Россия была вовсе не за семью океанами от всех этих событий. Отсталость сделала ее оплотом феодализма, но и в ней бродили силы протеста. Если русская буржуазия, вообще говоря, была приручена дворянским правительством, то крестьянство несло в себе страшную стихию народного гнева, возможности катастрофических переворотов в стране. Интеллигентские прослойки могли примкнуть к движению этой стихии. Мало того, обстановка 1789 г., первые успехи революции во Франции привели во всей Европе и в России к обострению сознания классовых противоречий. Даже русские буржуа, привыкшие услужать дворянству и его правительству, — пусть на короткое время, но все же стали приглядываться к тому, что делали их собратья в Париже, не без зависти и со-

чувствия. Накопившиеся идеологические факты даже дворянского либерализма в условиях 1789 г. зазвучали иначе, громче, радикальнее, смелее. Екатерина II не совсем безосновательно чувствовала, что почва у нее уходит из-под ног. А ко всему этому — голод 1787 г., затягивавшаяся дорогая война, финансовые затруднения, политические конфликты, — в начале 1790-х гг. положение правительства было критическим, и оно теряло популярность даже в дворянских кругах. В 1793 г. революция перекинулась в Польшу, а тем временем войска революционной Франции били контрреволюционные армии. Лишь с заключением мира с Турцией и разгромом Польши правительство Екатерины смогло несколько успокоиться, но подземные толчки крестьянских движений все еще угрожали целости крепостнического государства.

В 1792 г. (в письме от 2/13 сентября) гр. С. Р. Воронцов писал своему брату А. Р. Воронцову из Англии (из Ричмонда):

«Франция не успокоится до тех пор, пока ее гнусные принципы не укоренятся здесь; и, несмотря на превосходную конституцию здешней страны, зараза возьмет верх. Это, как я вам уже сказал, война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и теми, которые обладают собственностью, и так как эти последние немногочисленнее, то в конце концов они должны будут пасть. Зараза станет всеобщей. Наша отдаленность охранит нас на некоторое время; мы будем последними, но и мы станем жертвой этой всемирной чумы. Мы ее не увидим, ни вы, ни я; но мой сын увидит ее. Поэтому я решился обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда его вассалы ему скажут, что они его больше не хотят знать и что они хотят разделить между собой его земли, он смог бы зарабатывать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членов будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета. Эти ремесла будут ему более нужны, чем греческий и латинский языки и математитические науки» (перевод с французского).

Еще в 1790 г. учитель великого князя Александра священник Самборский писал: «Вольноглаголание о власти самодержавной почти всеобщее, и чувство,

устремляющееся к необузданной вольности, воспалившееся примером Франции, предвещает нашему любезнейшему отечеству наиужаснейшее кровопролитие».

Дворянская молодежь, в наиболее передовой своей части, не избежала влияния революции и вообще европейской революционной ситуации. Два князя Голицына в Париже с ружьями в руках принимают участие во взятии Бастилии. Республиканец Ромм, учитель юного графа П. А. Строганова, тоже в Париже ведет своего питомца на заседания Национального собрания, и Строганов оказывается членом революционного клуба. Когда в Петербурге узнали о взятии Бастилии, энтузиазм охватил многих: купцов, ремесленников, даже дворян, на улице русские и иностранцы поздравляли друг друга. Зимой 1791/92 г. офицеры аплодировали в театре тому месту в «Свадьбе Фигаро», где есть намек на глупость солдат, позволяющих убивать себя неизвестно за что, и т. д.

«Некоторые русские плакали от радости, узнав, что французский король принял в 1791 г. конституцию, и затем многие сделали визит представителю Франции для выражения горячей симпатии к его возродившейся родине. В. П. Кочубей, будущий министр при Александре I, впоследствии признавался, что в начале революции был ее ревностным сторонником. М. А. Салтыков превозносил во время революции жирондистов... Наконец, по свидетельству В. Н. Каразина, влияние русской революции на молодые умы обнаружилось не только в отдаленных от столицы губерниях Европейской России, но даже и в глубине Сибири...» [1]

Дворянский либерал из школы Сумарокова, Княжнин, написал в 1789 г. своего «Вадима Новгородского», в котором пафос тираноборчества, по условиям времени, перехлестывал через рамки сословной фронды.

В более демократически настроенных кругах брожение принимало гораздо более решительные меры. Вырастают кружки литературно-политического ха-

---

[1] *В. И. Семевский,* Вопрос о преобразовании госуд. строя России в XVIII и первой четверти XIX в. — «Былое», 1906, № 1.

рактера, в которых радикальные идеи имеют усиленное хождение. В 1788—1789 гг. вокруг журнала «Утренние часы», издававшегося известным пропагандистом Вольтера И. Г. Рахманиновым, образуется кружок, с которым связан и И. А. Крылов, печатавшийся в «Утренних часах».[1] С этим кружком связано и «Общество друзей словесных наук», в котором работал Радищев и которое издавало в 1789 г. журнал «Беседующий гражданин».

В 1795 г. была конфискована книга «Новейшее повествовательное землеописание», в которой говорилось о Франции, да и о России, в духе, противном «законному и самодержавному правлению». Эту книгу в свое время приготовило к печати то же «Общество друзей словесных наук», к которому принадлежал Радищев.

В конце 1796 и начале 1797 г. некий отставной прапорщик Иван Рожнов, происхождением попович, был осужден за произнесение «дерзновенных и законопротивных слов»; он говорил, «что государи все тираны, злодеи и мучители, и что ни один совершенно добродетельный человек не согласится быть государем; ...что быв на вахт-параде, смотрел на то, как на кукольную комедию; что люди по природе все равны и не имеют права наказывать других за проступки, коим сами подвержены; ...что иконы суть идолы и что поклоняющиеся оным с отменным усердием все бесчестные люди, по его замечанию». Иван Рожнов был присужден Петербургской уголовной палатой и сенатом к лишению чинов и ссылке в тяжкую работу.[2]

В литературе, как и в общественной жизни конца XVIII века, влияние Радищева, его личности, его идей, его проповеди, его трагической судьбы было очень велико. Известно, что даже в среде либеральных аристократов процесс Радищева вызвал недовольство, что такие люди, как А. Р. Воронцов, Г И. Ржевская и др., считали возможным выражать свое сочувствие ссыльному Радищеву и помогать ему. В среде передо-

---

[1] См.: *В. П. Семенников,* Литературно-общественный круг Радищева.

[2] *Клочков,* Очерки правит. деятельности врем. Павла I, 1916, стр. 492—493.

вой молодежи, где Радищев был учителем, его осуждение не могло не вызвать гораздо более резкого отношения. Можно быть уверенным, что у Радищева в 1790 г. было немало учеников, что он был окружен людьми, близкими ему по мировоззрению. И только превосходное самообладание Радищева во время следствия, его решимость не называть никаких «сообщников» спасли многих от репрессий напуганного правительства.

Для интеллигента, свергнувшего с себя путы помещичьего мировоззрения, ставшего на путь революционной мысли, могло быть лишь два пути: или отчаяние — при неверии в возможность победы в России, — или путь борьбы. Радищеву пришлось испить горькую чашу и поражения в борьбе и отчаяния. Недаром мысль о самоубийстве преследовала его издавна. В «Житии Ушакова» он говорит о праве человека на самоубийство. «Путешествие из Петербурга в Москву» первоначально оканчивалось сценой самоубийства. Но и в окончательном тексте остался завет отца сыновьям: «Но се мое вам завещание. Если ненавистное счастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земле не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, — тогда вспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся — умри» (глава «Крестцы»).

Это был путь безысходности. В 1792 г. семнадцатилетний М. В. Сушков отпустил на волю своих дворовых, написал повесть «Российский Вертер», другие радикальные произведения, затем написал завещание, также очень резкое, — и покончил с собой. Н. Н. Бантыш-Каменский, истовый реакционер, писал в это время: «Что это во Франции? Может ли просвещение довести человека в такую темноту и заблуждение! Злодейство в совершенстве. Пример сей да послужит всем, отвергающим веру и начальство. Говоря о чужих, скажу слово и о своем уроде Сушкове, который Иудину облобызал участь. Прочтите его письмо [предсмертное письмо к родным]: сколько тут ругательств творцу! сколько надменности и тщеславия о себе! Такова большая часть наших молодцов, пыл-

ких умами и не ведущих ни закону, ни веры своей».[1] Это — из письма к А. Б. Куракину от 8 сентября; а вот из письма от 29 сентября: «Писал ли я к вам, что еще один молодец, сын сенатора Вырубова, приставив себе в рот пистолет, лишил себя жизни? Сие происходило в начале сего месяца, кажется: плоды знакомства с Аглицким народом...»[2] А через месяц, 27 октября, он писал: «Какой несчастный отец сенатор Вырубов: вчера другой сын, артиллерии офицер, застрелился. В два месяца два сына толь постыдно кончили жизнь свою. Опасно, чтоб сия Аглинская болезнь не вошла в моду у нас. Здесь в клобе появились на всех дамах красные якобинские шапки. В субботу призваны были к градоначальнику все marchandesses des modes [модные торговки], и наистрожайше, именем Самой [т. е. императрицы], запрещена оных продажа, и вчера в клобе ни на ком не видно оной было».[3] А 10 ноября он сообщал о том, что крепостные И. П. Шипова, которые «тиранства его не могли больше терпеть», убили его ночью топором.[4]

В 1793 г. в своем ярославском имении застрелился помещик Опочинин, тоже «вольтерьянец». В своем завещании он написал: «Самое отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня самовольно решить мою судьбу».

Радищев хотел бороться вместе с народом, с крепостными Шипова, во имя революции. Он был побежден, — и снова, после ссылки, хотел бороться — и опять был побежден. Он не выдержал, — и убил себя, как Сушков, как братья Вырубовы. В художественной литературе конца XVIII века Радищев также не был единственным, кто стоял на демократических позициях. Конечно, и здесь он был несравнимо выше и революционнее всех своих современников, но важно для нас наличие произведений, хотя бы приближающихся к радищевской настроенности, противостоящих дворянскому фронту литературы. В 1798 г. в журнале карамзинистов «Приятное и полезное пре-

---

[1] «Русский архив», 1876, ч. III, стр. 274.
[2] Там же, стр. 276.
[3] Там же, стр. 277—278.
[4] Там же, стр. 279.

провождение времени»[1] было напечатано стихотворение Алексея Побединского (судя по фамилии, он был попович) «Инквизиция».

Вот это стихотворение:

Над грудами костей иссохших
Сияет мрачно лицемерство;
И злобою одной дыша
Являет кроткий агнца вид. —
Держа в деснице знак священный
И в шуице булатный меч;
Под видом мщения за бога
Мечем, громами воруженно
Злосчастны жертвы истребляет,
    Являя на лице
    Спокойный вид
    И кроткую улыбку. —
Терзаньем веселится
Жегомых на кострах
Страдальцев неповинных;
И о стяжаньи сирых
Метает в тайне жребий;
Со алчностию гарпий
Во мраке разграбляет;
Своей личиною прикрывшись,
    Неопытную юность,
    Невинну непорочность
    Во мраке развращает!!.
О ты, чудовище ужасно,
Изринутое зевом ада!
Брегись и жди удара!
Смотри, уж тучи черны,
Развесясь над тобой, —
Грозят перунами разить;
И мощная десница бога
    Уже отяготела.
Наступит грозный час,
    Ударит гром,
Огня потоки пролиются,
Личина с извергов сорвется,
И кости лицемеров
При аде сокрушатся. —
И сей точащий червь,
Не дремлющая совесть
Начнет подобно врану
    Терзать их мрачны души, —
Терзать чрез целу вечность. —
О вечность непостижна.
Едино лишь названье
Как сильно гром в ушах
Ужасный раздается,

---

[1] Ч. XVIII, 1798, стр. 191—192.

И в сей юдоли плача
Приводит в страх и трепет
Всех извергов злодеев
И мрачных лицемеров.

Зависимость этого стихотворения от радищевской традиции не требует особых доказательств. Обобщенный образ инквизиции, за которым угадываются черты тирании вообще, столь же космически поданный образ революции, — все это дышит радищевским пафосом. Самый стиль и стих «Инквизиции» связаны с теоретическими мыслями и поэтической практикой Радищева. Безрифменный стих, поиски индивидуальной выразительности ритма, преодолевающего навыки метрики дворянской поэзии, ораторский пафос слога и напряженно-эмоциональное скопление подчеркнуто «сильных» слов, самая манера космической образности (восходящая к Клопштоку и его школе) — все это сближает стихотворение Побединского с Радищевым.

«Инквизиция» — одно из стихотворений цикла, объединенного единством стиха, стиля, тона.[1] В стихах, посвященных природным катастрофам, землетрясению и грозе, Побединский нападает с тем же гневом, как и в «Инквизиции», на злодеев и славит героических правдолюбцев. В контексте с «Инквизицией» и в окружении несколько отвлеченного стиля Побединского вообще, — его герои явственно приобретают характер борцов за человечество, за свободу, а злодеи — характер угнетателей. Так и в страшные времена Павла I в печать проникала едва ли не революционная лирика.

Может быть, самым значительным произведением в данном плане является драма «Солдатская школа» неизвестного автора. Она была напечатана через много лет после своего создания. Титульный лист книжки гласит: «Солдатская Школа, драма в трех действиях. Писана 1794-го года. Печатана с дозволения министерства полиции Января 24-го 1816 года. Москва. В Университетской Типографии. 1817». Драма эта — типичное проявление воздействия Мерсье на русскую драматургию. Это — сильная сентименталь-

[1] Ср. стихотворения «Землетрясение», там же, стр. 223—224; «Гроза», там же, стр. 310—312; «Утро», там же, ч. XIX, 1798, стр. 95.

ная драма, изображающая острый конфликт страстей в подчеркнуто-социальной плоскости. Лучшие завоевания французской демократической драматургии, не искаженные дворянской моралистической аперцепцией школы Хераскова, использованы неизвестным автором «Солдатской школы»; использован им и целый ряд обычных для Мерсье и «слезной драмы» вообще сюжетных и драматургических мотивов. Характерен для «Солдатской школы» и своеобразный реализм французской радикальной драматургии второй половины XVIII столетия. Автор «Солдатской школы» изображает русских крестьян, их быт, передает их язык, и там, где он не дает в своих крестьянах образы страдающих героев высокой добродетели, поднимающихся над обыденной жизнью в пафосе своей героики, он обильно рассыпает конкретные, бытовые черты крестьянского обихода, вкладывает в уста действующих лиц народные выражения, поговорки, словечки.

Содержание «Солдатской школы» вкратце таково: крестьянин Бедон, прежде не знавший нужды, дошел до последней крайности нищеты, так как приказчик Заноза беззастенчиво грабит подвластную ему деревню, отдал сына Бедона в солдаты не в очередь вместо сына Богатенкова и ограбил старика. Заноза добивается любви дочери Бедона Анюты, но она «отшивает» этого человека, которого называют в драме «мирским анбаром».

«Б е д о н. — За чем ты здесь? Кто просил?

З а н о з а. — Как! Как! Разве я не прикащик? Разве я не имею власти?

Б е д о н. — Власть имеешь ты только надо мною; а не над моею дочерью. — Я ей отец...

З а н о з а. — Никаких бы долгов не висело у тебя на шее, коли бы ты был умен: я бы те с головы до ног осыпал барским хлебом; а вином хоть опейся. Дом бы твой был, как полная чаша.

Б е д о н. — Спасибо, переполнил ты ее; каждый день льется *(указывая на свои глаза)* из етех скважин. *(Севши)*. Ну, гость дорогой. За чем же пожаловал? Чем тебя потчивать? Что тебе еще здесь надобно? — Убирайся вон! Слышишь ли? Тебе этой девки не видать, как ушей своих. *(По некотором молчании)*.

Не стыдно ли ето? А еще прикащик. Чтобы воровски притти ко мне в дом, ушли бедного старика, бог знает куда. А сам — хорошее ли ето дело? Ну, ежели дойдет до барина?

Заноза. — Так что ж? Хоть до барина... Великая диковина, что ты по моему приказу околесил всю деревню. На то я над тобою прикащик.

Бедон. — Прикащик! — Над етеми бедными и безответными руками и ногами, которые обросли от того мозолями, ты прикащик; а не над головою моею: — в ней у меня свой царь — тут ты ничего приказать не можешь.

Заноза. — И на ету крапиву есть мороз. Что ты об своей голове много думаешь? Она и плачет, да делает, что напишут на твоей спине. — Слушай же, Бедон, право, в последний раз, чтоб после не каяться, не утирать слез кулаками: — спохватишься, да уж поздно. Коли ты не пронялся честью, ин я примусь иначе. Я люблю твою дочь; она меня за что-то не любит; я просил тебя дружески, приказывал, как надлежит прикащику, чтобы ты привел ее в разум и был добр к самому себе; ты ни на что не шел; теперь пенять не на кого: честь была приложена; сам себе ворог. — Ты первый неплательщик господских податей, и все то тем, то другим отзывался и будто уходил от моих рук; да теперь уж тебе делать нечего — и ты мне, как старый волк, в клепцы попался. — Я полный над тобою господин; ты весь у меня в руках. Вот в етом письме пишет молодой наш барин...

. . . .

...*(вынимает бумагу и читает)*. «Собрать тебе всех старых и нынешних недоимщиков, которые к батюшкину ангелу не прислали денег, пересечь на сходке нещадно, разослать по нашим конским и винным заводам; домы их продать; коров приписать к нашим; а девок оставить до нашего приезда».

Бедон *(после долгого изумления)*. — Бедная лачужка! Мой дед, бабушка, отец и мать умерли в тебе спокойно, а я и умереть в тебе не могу. — Ты будешь продана; а я буду скитаться по чужим углам. У мертвого есть гроб и могила, вечное жилище; а живому человеку не дают иметь и временного. *(Он долгое время смотрит вверх, не говоря ни слова; потом опу-*

скается на стол в крайней горести. Дочь и племянница, оставя работу, подходят к нему).

Милана. — Боишься ли ты бога, староста?

Заноза. — Ага! Боишься ли? А как давиче смеяться! — Теперь иным голосом запела.

Анюта *(тихо).* — Батюшка!

Бедон *(выходя из задумчивости).* — Ты еще здесь, мой друг. *(Глядя на нее).* Бедный цветок, я ростил тебя, лелеял, поливал слезами своими — кому достанешься ты? Далеко будешь ты цвесть от того поля, где отец твой потерпит голод и холод; он умрет от грусти и никто не прольет об нем слез; рев голодных волков будет раздаваться на его могиле.

Заноза. — Натко! Нежен больно, хоть бы не мужику. — Ну! Долго ли мне дожидаться у тебя милости? — Решись: или полон двор, или корень вон?

Бедон. — Корень вон! — Изотри его себе вместо сахару, посыпай им все, что ты станешь есть и пить. Подавись, чтобы те от него так сладко было, как мне! — Староста! Не думай, чтоб тебе это прошло; право нет; видит бог, нет. Отольются волку овечьи слезы.

Заноза *(дрожа от досады).* — А когда так, то завтра же поутру в дальнее Веселое на винокурню, или в скотники — или в пастухи — или — или —

Бедон. — Или к чорту. Убирайся вон! — Ты меня вывел из себя. — Вон, вон! — Етой девки не видать ни тебе, ни барину; я лучше положу на нее и на себя свои руки, коли его руки нет над нами. *(Сплеснув руками, в крайней горести устремился на небо).*

Заноза. — Ни мне! Ни барину! Ни барину! — Так, чтобы ты над собой и над нею чего не сделал, сей же час велю ее взять под караул; а тебя и по рукам и по ногам заковать в железы. — Вишь какой!

Бедон. — Етого тебе не удастся; вся деревня за нас вступится.

Заноза. — Что? Бунтовать! Бунтовать! Подыматься на меня! Изрядно. Прибавляй себе бед; мне же лучше».

В деревню приходят солдаты, в их числе сын Бедона, Иосиф. Он узнает о том, что отцу его грозит гибель из-за недоимки. Он в отчаянии:

«Иосиф. — А сколько на вас недоимок?

Бедон. — Не больше пятидесяти рублей.

Иосиф. — И за ето-то мучить человека, отнимать у него все последнее, лишить дому, разлучить с детьми? *(Вскоча)*. Нет! Нет! Этого быть не может. *(Сорвав медаль, отдает отцу, и вдруг изумясь)*. А еще что дам я ему? Разве жизнь? — Хорошо. *(Отошед от отца, скрытым голосом)*. Сам бог вразумил меня. Зло! Ты тогда только зло, когда бываешь без добра... Я готов был умереть за веру, отечество, за... они имели право на мою жизнь; неужели отец мой не имеет его?»

(Характерно это нежелание назвать в данном контексте царя.)

В полку Иосифа сильно развито дезертирство, и полковник объявил, что каждому, поймавшему дезертира, он выдаст, кроме казенной награды в десять рублей, еще пятьдесят рублей. Иосиф решается симулировать побег, чтобы его поймал брат Бедона и получил деньги на выкуп Бедона из беды. Так и происходит. Иосиф должен быть расстрелян. Но фиктивность его побега открывается, и он спасен.

Фигуры Бедона и Иосифа обрисованы в тонах героических; это — римский старец и римский античный герой долга. Эти образы напоминают радищевских крестьян, например из главы «Зайцево», так же как дочь Бедона Анюта напоминает радищевскую Анюту из главы «Едрово». Героизация униженных нищих крестьян дается в подчеркнуто принципиальных тонах. Только они — настоящие люди. Если у французов и даже у Мерсье носителями героики и пафоса будущего является буржуа или в виде исключения крепкий фермер (драма «Судья»), то в «Солдатской школе» — это крепостной мужик. Бедон вырастает в собирательный образ раба, свободного духом, непокорного и готового восстать. Он тверд, мужествен, полон достоинства и гнева по отношению к угнетателям. Когда дворянчик-сержант приходит к нему на постой и требует, чтобы натопили избу, Бедон говорит:

«Да чем топить-то, ваше благородие, разве руки обрубить, да сжечь?

Р а з н е ж и н. — Дровами! Скотской вопрос. Спросил бы ты у моей бабушки; она бы тебя научила спрашивать. . .»

Дальше Бедон говорит: «Во всей деревне, кроме прикащика, ни у кого топленой избы не сыщешь».

С приказчиком Бедон говорит смело, — не так, как трактирщик Пробкин.

Бедон говорит солдату Радушичу: «Вам не любо слышать крестьянское кукованье, — что делать? У нас в деревне оно затвержено твердо; есть время, когда и кукушки кричать перестают; а мы так без покиду и день и ночь кукуем. Не тот, так другой; кажется, нам и говорить-то больше не о чем, кроме своего горя».[1] Когда Иосиф осужден на казнь за побег, Бедон с дочерью и ее подругой — невестой Иосифа — умоляет полковника о помиловании, и его речь превращается в сильную инвективу.

«П о л к о в н и к. — И не просите. Законы тверды. Верьте мне; если б и мой сын был на его месте. . .

Б е д о н. — Тогда. . А! Тогда бы сердце ваше заговорило совсем иначе; ваши глаза потускнели бы от слез и не разобрали бы этих законов; вы просили бы самого государя, который их пишет; за вас бы вступились и другие ваши братья большие. Вам бы простили вашего сына, а нам. . . *(С глубоким вздохом).* Нельзя простить его, нельзя. . . ничего. . . Встаньте, дети! Что напрасно трудить его милость. Нам до одного далеко, до другого высоко».[2]

Опять — царь не назван (как и бог), но смысл речи Бедона ясен.

Приказчик Заноза получил недоимку с Бедона, но он все еще злобится на непокорного мужика:

«З а н о з а. — . . . Ты узнаешь, что я всегда над тобой прикащик. . . Ты всегда будешь без вины виноват перед барином.

Б е д о н *(указывая вверх).* — У него нет без вины виноватого. Был бы я прав перед ним; а тебя я теперь не боюсь, ниже самого барина.

---

[1] «Солдатская школа», стр. 64.

[2] Там же, стр. 83—84.

Заноза. — ...Барина! Барина! Изрядно! Вот теперь я рад! От этого ты не отделаешься; дорого будет тебе это стоить». [1]

Эта сцена знаменательна; итак, жертва Иосифа тщетна; ничто не может избавить непокорного раба от гнета, даже выполнение его экономической повинности; он обречен на гибель и именно потому, что он несет в себе сознание своего человеческого достоинства.

Иосиф в драме изображен также в идеальных тонах. Это — крестьянолюбец. Он скорбит о мужике, который «ходит, повеся голову». [2] Староста приходит «потчивать» солдат. — «Крестьянскими слезами! — кричит Иосиф. — Вон!» [3] И вот его сентенция в центральном его монологе, сентенция глубокого смысла: «Есть зло, которое оправдывается само собою, и насилия, которым одна только отчаянность противустать может». [4] Эта фраза звучит по-радищевски.

Вся драма наполнена высказываниями о бедствиях крестьян, о гнете, давящем их. Ужас крепостничества — основная тема ее. Все крестьяне и солдаты изображены в тонах глубокого сочувствия, причем автор не жалеет их, а показывает, что они именно и есть подлинные носители моральных, патриотических, человеческих доблестей. Крепкие узы классовой солидарности спаяли всех этих страдающих людей. Все они заодно, — солдат Радушич, брат Бедона Стодум, даже легкомысленный балагур денщик Пыжов, — все они глубоко человечны, все готовы стать друг за друга, все сильно чувствуют чужое крестьянское горе и все презирают своих мучителей, вообще дворянчиков. Вместе с ними презирает дворянчиков сам автор драмы. Подобно Радищеву он противопоставляет свободной добродетели народа ничтожество его поработителей. Он вводит эпизодическую фигуру маменькина сынка сержанта Разнежина и ставит его рядом с Радушичем, солдатом-мужиком, — и Разнежин выглядит мелким и негодным человеком, а Радушич — благородным, бескорыстным. Разнежин знает, что только

---

[1] «Солдатская школа», стр. 70—71.
[2] Там же, стр. 39.
[3] Там же, стр. 41.
[4] Там же, стр. 46.

деньгами можно купить помощь человека, таков закон его круга; Радушич отказывается от денег, он всегда помогал дворянчику просто из человеческой жалости к его беспомощности. Видя трогательную встречу Бедона с сыном, Радушич глубоко переживает ее, а Разнежин издевается над ними: «Натко! Им очень весело. Человек замерз, а они и не думают; обнимаются, как будто и понимают что-нибудь!» [1]

Весьма интересна сцена офицерской пирушки в трактире; она введена по контрасту, по шекспировскому принципу, усвоенному передовой французской драматургией второй половины XVIII века. В крестьянской семье трагедия, а офицеры пьют и играют в карты в трактире. И вот — новый конфликт: поссорились два офицера, они враги; дело в том, что один из них, Стреляй, еще недавно шпагу носит, т. е. выслужился из солдат, другой — граф Полкан, аристократ. Симпатии автора на стороне Стреляя. Именно у него в роте не было совсем дезертирства; его секундант (так как враги дерутся на шпагах) *Честкин;* секундант графа Полкана — *князь Ветрошей.*

Я не могу передать атмосферы ужаса и гнета, страстной крестьянолюбивой настроенности, пафоса обличения, разлитой во всей драме «Солдатская школа», автор которой проявил незаурядный талант. Это произведение — победа радикально-демократической мысли и искусства радищевского времени. При этом «Солдатская школа» — произведение вполне оригинальное, органически связанное с русскими условиями, русской жизнью, русской культурой. Этому нисколько не противоречит то, что в «Солдатской школе» использован опыт французской сентиментальной драматургии.

В конце XVIII века во всей Европе, и в России в частности, пользовалась большим успехом драма Мерсье «Дезертир» («Le déserteur», 1782). Об успехе этой драмы говорит П. А. Плавильщиков в статье «Театр», напечатанной в журнале «Зритель» за 1792 г.: [2] «Хвалят французскую драму Беглеца; но в России бегал ли когда-нибудь солдат из армии? —

[1] «Солдатская школа», стр. 30.

[2] Перепечатано в «Соч. Петра Плавильщикова», ч. IV, Спб. 1816, стр. 31.

Не знаю, — а чтобы офицер убежал? О том, как стоит Россия, до ныне еще не слыхано: следовательно, драма Беглец со всею своею красотою ничего нам не скажет, как только, что во Франции бывают беглецы». [1]

Кстати заметить, что на фоне официального и вздорного утверждения об отсутствии в екатерининской армии дезертирства особое звучание приобретает настойчивое указание «Солдатской школы» на бегство солдат: «Из нашего полку очень много бежало солдат», «беглецы передаются неприятелю» [2] (речь идет, видимо, о польских повстанцах); «побеги в моем полку так часты, что не проходит недели, в которую бы не ушло двух или трех солдат». [3]

Я уже говорил, что «Солдатская школа» написана под влиянием драм Мерсье; и все же есть разница между русской драмой и французским «Дезертиром». У Мерсье действие происходит в почтенной буржуазной семье. Дочь почтенной вдовы любит молодой человек, неизвестно откуда взявшийся, ведущий дела торгового дома вдовы. В город приходят войска (идет война). Выясняется, что молодой человек дезертировал из армии, в которую он поступил добровольно. Он дезертировал потому, что его ударил полковник, он ответил ему и был схвачен. Он бежал; он осужден на смерть. И вот теперь его схватили солдаты. Офицер, который его посылает на смерть, оказывается его отцом. И все же его расстреляли; такова первоначальная развязка драмы, затем замененная другой, счастливой. Внутренний пафос пьесы Мерсье — борьба против бездушной военной дисциплины королевской армии, не более того; социальный пафос ее — прославление добропорядочной буржуазной семьи, «торгового дома».

Нет сомнения в том, что автор «Солдатской школы» знал «Дезертира» Мерсье. Он мог воспользоваться в этой пьесе мотивом ожидания расстрела героя, гнетущего приближения неизбежного ужаса. Повидимому,

---

[1] «Беглец» был издан в русском переводе в 1784 г. «Драматический словарь» (1787) говорит, что это «сочинение интересное материею и штилем». Перевела «Беглеца» М. Сушкова.

[2] «Солдатская школа», стр. 56 и 53.

[3] Там же, стр. 82.

рудиментом воздействия драмы Мерсье является в русской пьесе фигура Стреляя, офицера, вышедшего из солдат. Таким же офицером из плебеев является у Мерсье отец героя, кавалер Сен-Франк. Но все то, что выделяет «Солдатскую школу» из других «мещанских драм», французских и русских, — ее радищевский тон, ее глубокий политический смысл — не могло быть почерпнуто ее автором у Мерсье. На анонимного автора «Солдатской школы» не оказала никакого влияния еще одна пьеса на тему о дезертире, тоже названная «Le déserteur» (1769); это — драма с ариями, вернее — комическая опера знаменитого в XVIII веке Седена (Sédaine). Сюжет ее таков: у молодой крестьянки жених — солдат; по приказу помещицы-герцогини солдата, пришедшего в деревню в отпуск, обманывают, говоря ему, что его невеста вышла замуж за другого. Он в отчаянии хочет покинуть Францию, т. е. дезертировать. Его схватили, и он осужден на смерть; тогда его невеста бежит к королю, находящемуся недалеко, падает к его ногам и получает помилование для солдата; все в восторге и кричат: «Vive le roi». Пьеска написана весело, она полна комических буффонных сцен. [1]

В «Солдатской школе» мы найдем отзвуки мотивов, известных в драматургии XVIII века. Помимо всей вообще манеры «мещанской трагедии», напоминающей и Мерсье, и Иффланда, и других, даже Коцебу, — мы встретим здесь ходовой мотив любви старосты или приказчика к крестьянской девушке, чуть не причиняющей несчастья как ей, так и ее возлюбленному, герою; это мотив ряда комических опер, например, популярной комической оперы в стихах Фавара «Annette et Lubin» (1762); в русской драматургии тот же мотив см.: «Приказчик. Драматическая пустельга с голосами» Николева (1778; издана в 1781 г.); «Несчастье от кареты», комическая опера Княжнина (1779); «Судьба деревенская», комедия М. Прокудина (1782); немного варьирован тот же мотив в комической опере «Милозор и Прелеста» (1787); помещик вместо приказчика фигурирует в той же ситуации в «Драме с голосами»

[1] Пьеса Седена была дважды переведена на русский язык: В. Левшиным — «Беглец» (Калуга 1793) и В. Вороблевским (М. 1781).

Николева «Розана и Любим» (1778, издана в 1781 г.). Кое-что в «Солдатской школе» (мучительное ожидание расстрела героя и спасение в последнюю минуту) может быть сближено с драмой Коцебу «Граф Вальтрон» (перевод ее П. А. Плавильщикова был издан в 1803 г.), но общий характер этой драмы нисколько не сходен с «Солдатской школой».

10

Одним из ближайших следствий радищевской деятельности следует считать расцвет бунтарского творчества молодого Крылова в 1789 г. и ближайшие за тем годы.[1] Крылов соприкоснулся с кругом Радищева около 1788—1789 гг. по журналу «Утренние часы». Нет сомнения в том, что Крылов испытал и личное благотворное влияние Радищева.

Крылов не обладал ни колоссальной образованностью, ни продуманной глубиной философских взглядов Радищева. Но он умел с детства ненавидеть дворянскую государственность и дворянскую культуру. Дворянин по паспорту, а на самом деле «маленький человек», по происхождению скромный «подьячий», он испытал и нужду и унижение с первых же годов своей сознательной жизни. Он мог ощущать себя «плебеем», хотя не дорос до сознания кровной связи с широкими массами порабощенного народа. Индивидуализм, бесперспективность личного бунтарства ставили предел революционизированию его взглядов. Он ясно видел, кто его враг, но не видел достаточно мощной дружеской среды, которая научила бы его, за что и за кого бороться. Отсюда и неустойчивость крыловского протеста и туманность его положительных идеалов. И все же сила этого протеста, озлобленность нападок Крылова делали его одним из наиболее смелых и радикальных демократических писателей конца XVIII столетия.

Крылов начал свою литературную деятельность в качестве драматурга, и сразу же его идейные тенден-

[1] См.: *А. В. Десницкий*, И. А. Крылов — «Известия Педаг. института им. Герцена».

ции определились достаточно отчетливо. Уже в первом его произведении, опере «Кофейница», написанном, когда Крылову было около четырнадцати лет, резко проявлены черты ненависти к крепостничеству и крепостникам. Политически смелые ноты звучали и в юношеской трагедии Крылова «Филомела»; затем он написал серию комедий и комических опер, в которых разоблачал разложение нравов дворянского «общества», выступал против рептильных стихотворцев, пишущих похвальные стихи знатным людям. В комедии «Проказники» Крылов дал памфлет на Княжнина и его жену; Княжнин, лидер дворянского либерализма в литературе, — для него фигура враждебная. До конца дней Крылов сохранил недоброжелательное отношение к дворянскому либерализму; его демократическое мироощущение не могло примириться с оппортунизмом, половинчатостью, дворянской спесью, космополитизмом помещичьей культуры даже в ее фрондирующем варианте.

Но по-настоящему «нашел себя» Крылов в журналистике, в журнальной сатире, образцы которой он дал и в «Почте духов» (1789) и в «Зрителе» (1792). Это был наивысший пункт, которого достиг Крылов-радикал в XVIII веке. Он встретился с Радищевым; затем началась французская революция. Он пережил подлинный творческий и идейный подъем. Он был еще совсем молод: тогда, когда он издавал «Почту духов», ему было двадцать лет. Он был очень резок, очень смел.

«Почта духов» была органом радикальной идеологии. Крылов обрушивается в своем журнале на всю систему власти и культуры крепостническо-бюрократического государства. Произвол и разврат представителей власти, придворных и чиновников разоблачаются «Почтой духов». Знать, вельможи — мишень озлобленных нападок Крылова, много раз возвращающегося к сатире, направленной против них. Здесь он беспощаден. Он выступает и против аристократических претензий дворянских лидеров и против власти сильных и богатых вообще. Он изобличает судей и чиновников, ханжей и лицемеров, не боится нападать и на самую царскую власть, на все правительство в целом; при этом его критика и злободневна и глубока. Разложе-

ние нравов «высшего общества» составляет также одну из основных тем журнала. Крылов ставит в «Почте Духов» и экономические вопросы, причем он борется против засилья иностранных товаров, и в связи с этим стоит его борьба с галломанией (и с англоманией); он патриот. Однако Крылов нападает и на русских купцов, прекрасно чувствующих себя при самодержавии. Его путь — не путь купца-консерватора в вопросах политики. И в этом он близок к Радищеву. Крылов все «третье сословие» противопоставляет разлагающейся знати даже в вопросах культуры. Демократизм убеждений «Почты духов» проявляется достаточно отчетливо. Журнал нападает и на крепостное право. Философская позиция «Почты духов» также характерна. Журнал выступает против рационализма французских просветителей. Но это — критика не справа, а слева, с позиций, близких к тем, которые защищал Руссо.

Позднее, в то время, когда Крылов уже сделался баснописцем по преимуществу, или незадолго до этого, он обратился к французским просветителям-материалистам и, без сомнения, испытал их влияние, осложнившее его руссоизм. Оно сказалось в двух больших стихотворениях Крылова, весьма важных для характеристики его мировоззрения, — «Послании о пользе страстей» и «Письме о пользе желаний». [1]

---

[1] «Послание о пользе страстей» было напечатано в «Драм. вестнике», 1808, ч. V (прибавление к «Драм. вестнику», стр. 138), за подписью «К», обозначавшей в «Драм. вестнике» Крылова (см. его басни, помещенные в этом журнале), и включено Плетневым в собрание сочинений Крылова, 1847, т. II. Совокупность этих обстоятельств в сущности достаточна для установления авторства Крылова (хотя Плетнев мог и ошибиться, как он ошибался, приписав Крылову стихотворения Карабанова из «Спб. Меркурия» — см. «Русская старина», 1879, № 12, стр. 486—487, ст. Д. Языкова — «Ложные сочинения И. А. Крылова»).

Но еще подкрепляет положение об авторстве Крылова существование «Письма о пользе желаний», несомненно крыловского (оно напечатано Плетневым по рукописи), связанного в то же время с «Посланием о пользе страстей» и по идейному и по формальному замыслу. Возможно, что Послание написано несколько ранее 1808 г. Такое предположение можно сделать на основании сближения «Послания» с «Письмом о пользе желаний».

В этих произведениях Крылов ставит вопрос, в его время вовсе не имевший характера отвлеченного, академического рассуждения, вопрос злободневный и социально актуальный. Разум и его отношение к страстям, «la raison» и «les passions», были основными понятиями в моральных, а отсюда и социальных рассуждениях русской дворянской литературы XVIII века. Разум как организующая сила, как положительный фактор, противополагался страстям, как неорганизованным, стихийным, слепым силам низшего порядка. При этом разум понимался не как эмпирическая психологическая данность, свойство человеческой психо-физической конституции, а как абсолютная схема истины, доступная человеку лишь в мере преодоления его индивидуальной ограниченности, преодоления его личных человеческих влечений, его эгоизма, его «страстей». На этой рационалистической основе строили дворянские идеологи целую систему взглядов и оценок. Разум превозносился всемерно, в стихах и прозе, страсти подлежали умерщвлению и предавались осуждению. Разуму приписывалась роль творца и правителя всего человеческого общества. При этом человечество само по себе делилось на тех людей, которые руководятся в жизни страстями, — и на тех, которые приобщились разуму. Первые руководятся элементарным стремлением к личному счастью; вторые руководятся моральной нормой, не имеющей ничего общего

Стихотворение это относится, может быть, к концу XVIII— началу XIX века. В нем затронута тема любви к Анюте, появляющаяся в стихах Крылова 1790-х гг. С другой стороны, Крылов упоминает в нем о М. Ф. Каменском в комплиментарном смысле, что он едва ли сделал бы после провала Каменского в начале кампании 1806 года, когда он самовольно оставил командование армией. Каменский умер в 1809 г. Крылов скорей всего имеет в виду прежнюю деятельность Каменского во время второй и главным образом первой турецкой войны. Впрочем, если предположить, что Крылов писал письмо еще при жизни Румянцева (стих 48: «С Румянцевым, с Каменским там греметь»), то придется отодвинуть его написание еще назад, так как Румянцев умер в конце 1796 г.

С другой стороны, может быть следует истолковать в этом же смысле стихи об английской карете: «Там английской кареты щегольской Чуть слышен стук летя по мостовой», если предположить, что Крылов едва ли решился бы написать это во время континентальной системы, т. е. после Тильзитского мира 1807 года (хотя он ведь *напечатал* это в 1808 г.).

с их личным благополучием и часто противоречащей ему, но обоснованной разумом, т. е. в данном применении — абсолютным законом должного. Эта норма называется «честью».

Строить общество должен разум; а люди, водимые страстями, т. е. индивидуальной эмпирией эгоизма, чужды разума и чести, как надличных норм истинного и должного. Поэтому должны существовать особые люди, своего рода сверхлюди, взявшие на себя подвиг чести и разума и тем самым получившие прерогативу управлять людьми. И обратно: только следование разуму и чести, только преодоление «страстей» дает право человеку управлять людьми и, более того, обязывает к этому. Нетрудно догадаться, что люди чести и разума — это дворяне, в частности, в теории Сумарокова и его преемников, культурные аристократы. Если же дворянин не выполняет норм морали и культуры, он подлежит жесточайшему осуждению. Вся эта концепция являет поразительный образец того, как жесточайший эгоизм эксплоататоров-крепостников, с помощью штыка и плети подавляющих сопротивление своих классовых врагов, облекался в идеологию жертвы и отречения от своих личных интересов.

Идеи дворянской чести и разума лежат в основе очень большого числа произведений русской литературы эпохи дворянского классицизма, от трагедий Сумарокова до анакреонтических од Хераскова. Мировоззрение помещичьего рационализма дало трещину в конце XVIII века. Карамзин сделал ряд уступок, отказался от ряда позиций рационализма, создавая свою компромиссную систему дворянского сентиментализма. Нужно отметить, что на Западе проблема разума и страстей также дебатировалась усиленно, но там она истолковывалась и использовалась иначе, чем в России. Так, например, Мабли защищал власть разума над страстями, видя в первом оправдание идей равенства, а в страстях — эмпирическое бытие неправды, неравенства и анархии. Мощное влияние Руссо отразилось в России и в примиренческом эстетическом релятивизме Карамзина, и в революционной пропаганде Радищева, и в мировоззрении молодого Крылова. Именно

в этом смысле выступила против культа разума «Почта духов».[1] «Ежели бы люди примерно рассматривали... сколь бывает в них посредствен превозносимый ими столь великими похвалами разум и сколь способен он принимать в себя различные впечатления предрассудков, самолюбия, гордости, тщеславия и, наконец, всех страстей вообще, то гораздо менее полагались бы они на сей, по мнению их, природный светильник, который почитают они надежнейшим себе путеводителем. ..» Автор отрицает абсолютный характер разума и считает неверной философию, «которая ничем другим не поддерживается, как властию сего обманчивого и мечтательного разума, который чаще приносит нам вред, нежели пользу». Против культа разума и унижения страстей выступает Крылов и в своих «Посланиях». Здесь он стремится опровергнуть всю систему помещичьего рационализма. Еще ученики Сумарокова построили на основе этого рационализма свою мораль, близкую к стоической; они учили презирать все блага жизни, быть равнодушным к чинам, богатствам и удовольствиям. Крылов обрушивается на дворянский стоицизм. Он защищает «страсти», т. е. в конце концов тех, кому по дворянской системе были даны в удел эти «страсти». Он нисколько не уважает бесплодных схем феодального рационализма. Он прославляет человека живого, плотскую эмпирическую личность с ее личными стремлениями и личной волей. Послания Крылова — это гимн промыслу, торговле, человеческой работе, человеческому здоровому эгоизму.

Крылов преодолевает в своих посланиях и руссоистическую мечту о блаженном существовании дикого человека. Он издевается над этим блаженством с точки зрения трезвого реалистического взгляда на вещи; он возмущен, что «все-таки золóтят этот век», т. е. называют его золотым, тогда как «наш» век «златой», «а тот был век железный». Крылов научился ценить комфорт, удобства жизни, даже моду. Он ценит земные радости, ценит богатства, добытые беспокойным стремлением «корысти». Сумароков писал: «Пресе-

---

[1] «Почта духов», ч. IV, Письмо XI — от Эмпедокла к волшебнику Маликульмульку.

литеся мыслью во времена златого века, в которые человеки беспорочностию довольствовались и прибыточество не разрушало согласия, ни родства, ни дружбы, ни любви. Прибыточество есть основание бесчеловечия и всего беспокойствия нашего, а спокойствие есть лучшее сокровище во всей жизни нашей».[1] Мир феодального самоотречения заменен в «Посланиях» Крылова миром человеческих желаний, «страстей». Крылов срывает с истории покровы фальшивых объяснений: эгоизм, страсти движут людьми («Всему виной корысть, любовь иль страх»); в этом он согласен с буржуазными мыслителями XVIII века на Западе, стоявшими на материалистических позициях. Для него не существует остроты вопроса об отвлеченном морализировании, о «пороках» и «добродетелях»; он ставит вопрос о пользе, целесообразности страстей, а не об их оценке согласно условным схемам разума. Он не стремится к тому, чтобы все люди были Сократами, т. е. идеалами рационалистической морали. «На что бы нам огромные палаты, Коль были бы, мой друг, мы все Сократы?»[2]

Идеи, легшие в основу обоих посланий Крылова, заимствованы Крыловым у столь радикальных буржуазных писателей-материалистов, как Гельвеций и Гольбах. Можно сказать, что Крылов переложил в стихи те места работ этих мыслителей, в которых они говорят о страстях. Это относится к обоим, связанным друг с другом стихотворениям Крылова. Легко сравнить и общую мысль «Послания», и «Письма»

---

[1] Статья «О безбожии и бесчеловечии» — Полн. собр. соч., т. X, 1781; изд. 2-е — 1787.

[2] Ср. у Сумарокова: «Сделаем новое общество и вообразим то, что оно состоит из Сократов...» («Некоторые статьи о добродетели» — Полн. собр. соч., т. VI). П. А. Плетнев (Сочинения и переписка, т. II, 1885, стр. 69 — ст. «Жизнь и сочинения Крылова») ставит идеи «Послания» Крылова в зависимость от статьи Карамзина «Разговор о счастии»; это неточно: позиция Крылова враждебна примиренческой позиции Карамзина, рекомендующего умеренность в использовании страстей под эгидой разума. Идеалы Карамзина, отчетливо выраженные в этой статье, - идеалы тихого, мирного благополучия среднего помещика, ни к чему не стремящегося, — отвергаются Крыловым. Он скорей выступает против Карамзина, чем заимствует у него.

Крылова, и некоторые детали в них, примеры и т. д. с высказываниями французских материалистов.[1]

Развивая свою систему социального мировоззрения, «Почта духов» нимало не отрывалась от злобы дня, от современности. Ее сатира — вовсе не сатира вообще, не «общечеловеческая сатира»; она бьет по совершенно конкретным фактам социальной жизни России конца царствования Екатерины II. Она направлена на разрешение определенных и остро-политических вопросов этой эпохи. Не боится «Почта духов» и прямых указаний на лица и факты. Так гном Зор (несомненно сам Крылов) пишет: «Я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятность и красота в нынешнее время также в весьма не малом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят чудеса. .» и т. д. Трудно не видеть здесь дерзкого намека на любовников императрицы, людей «в случае», т. е. в фаворе (характерен этот каламбур на слово «случай»). В другом письме того же гнома (т. е. опять несомненно са-

[1] См., например, в книге Гельвеция «Об уме» (перевод под ред. Э. Л. Радлова, 1917), стр. 195—196 и стр. 209, или у Гольбаха: «Système social ou principes naturels de la morale et de la politique. T. I. Londres, 1773. Chapitre XIV. Du bonheur. Des passions et de leur influence sur le bonheur de l'homme».

Напомню, что русский перевод глав из книги Гельвеция «Об уме», посвященных проблеме страстей, печатался в журнале «Невинное упражнение» в 1763 г. (журнал издавался под руководством Е. Р. Дашковой, при активном участии И. Ф. Богдановича). Что же касается «Социальной системы» Гольбаха, то она была частично переведена (вольно и с добавлениями) некоим Н. Д. (Данилевским?) и издана в 1805 г. под названием «Ручная книжка человека и гражданина, или рассуждение о должностях общежития» (см.: *И. К. Луппол,* Историко-философские этюды, 1935. ст. «Социальная система Гольбаха и ее русский переводчик XVIII века»). Здесь дано учение Гольбаха о страстях, причем переводчик не только пропускал части текста Гольбаха и перемонтировал другие, но и прибавлял кое-что от себя, причем и его вставки находят соответствие с текстом Крылова, — см. стр. 15—16, 20—22.

Конечно не только Гельвеций и Гольбах излагали теорию оправдания страстей. В умеренном, половинчатом виде эти идеи даны уже Попом в его «Опыте о человеке» (письмо II; ср. в переводе Н. Поповского, М. 1757); за ним шел Вольтер в «Discours sur l'homme» (ч. V); Руссо в «Эмиле» дал апологию страстей. Но наиболее отчетливое и последовательное выражение эти идеи получили именно у философов-материалистов, и им-то следует Крылов.

мого Крылова) некий художник Трудолюбов говорит: «. .я, вместо того, чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из оного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя ни мало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже делать, когда о том я скоро думав, сделался теперь совершенным пьяницею. Известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу. .» Это — не общая жалоба на тяжкое положение мастеров искусства в крепостнической стране. Это — рассказ об участи известного гравера и рисовальщика Г И. Скородумова (см. каламбур — «скоро думав»), жившего в Англии с 1773 до 1782 г. (умер в 1792 г.).

В письме XXV части второй дана резкая характеристика знатного вельможи, едва ли не имеющая в виду Безбородко, и т. д.

Немало места уделено в «Почте духов» и литературной полемике, в первую очередь с Княжниным.

Необычайная смелость журнала, резкость и озлобленность его нападок, его радикализм не могли не обратить на себя внимание правительства. Крылову приходилось заботиться о спасении журнала путем литературных «прикрытий» — уступок власти. Уже в письме III есть, правда, несколько двусмысленный, комплимент российскому правосудию. В конце издания Крылов, видимо, имел основания особенно беспокоиться. Он дает то постную морально-религиозную статью, то ура-патриотический в правительственном духе фельетон о турецкой войне, то прославляет Екатерину и установленное ею блаженство россиян в прозе и даже в стихах.

В «Почте духов» Крылов проявил себя незаурядным мастером литературы, мастером-сатириком. Как писатель он менее, чем Радищев, зависит от примера Руссо и прозаиков его круга. Но и он связан с западным сентиментализмом. В «Почте духов» мы видим яркие и широкие зарисовки быта, стремление построить характер, местами (например, в введении к

журналу) даже элементы реалистического психологического романа о бедном, незаметном человеке. Конечно, фантастика у Крылова дана не «всерьез», а лишь как композиционный и сатирический мотив, такой, как она была даже в повестях Вольтера. Вообще же Вольтер оказал значительное влияние на сатирическую прозу Крылова. Ядовитый вольтеровский сарказм, беглые краткие характеристики людей, быстро сменяющиеся сатирические темы-образы, уничтожающая ирония, блестящее остроумие изложения, самый стиль, легкий, точный, эпиграмматически отточенный, — всему этому искусству политического и социального памфлета Крылов научился прежде всего у Вольтера. Конечно, Крылов хорошо учел опыт и русской сатиры и комедии, — и Новикова и Фонвизина, — но его радикализм приводит его к насмешке над тем, что они считали не подлежащим осмеянию.

Для Крылова вся социальная действительность официальной России его времени с верху до низу презренна. Он — отрицатель по преимуществу. Отсутствие у него достаточно оформленной положительной программы выдвигало элементы отрицания, обличения на первый план.

Впрочем все же элементы социальных симпатий проглядывают у Крылова среди множества образов, связанных с его социальными антипатиями. Его сочувствие вызывает художник, не продающий своего искусства знатным негодяям, вообще скромные труженики, такие, каким он был в это время сам. Если Радищев призывает бури народной ненависти, бури великой социальной борьбы, то Крылов не видит возможностей настоящей борьбы, потому что он не видит достаточно отчетливо силы гнева, мощи протеста в крестьянстве. Он хочет бежать из проклятого общества тиранов, угнетателей, бежать куда-нибудь, где можно не видеть угнетения, но он сам знает, что бежать, в сущности, некуда.

В стихотворениях Крылова, рядом с сатирическими мужественными и злыми мотивами протеста, обличения дворянского «общества» сильно звучат мотивы руссоизма, — сильнее, чем в его прозе. Крылов проклинает город, вместилище власти, дворянского разврата, богатеев, и зовет в природу, в деревню. Но и

он знает, что тишины нет в деревне, что крестьянин — не аркадский пастушок, а замученный раб. Руссоизм и культ природы окрашиваются для него в тона пессимизма, безнадежности. Лишь в полном одиночестве спасение, и этого одиночества ищет Крылов.

И в повести «Каиб» мы видим те же мотивы; и здесь — счастье и добродетель расцветают в удалении от мира, в глухом лесу, в уединении. И здесь подчеркивается, что удаление от мира, о котором тщетно мечтает Крылов, — вовсе не то же, что изображает дворянская идиллия. Наоборот, именно в «Каибе» Крылов с исключительной силой разоблачает дворянскую идиллию в сцене встречи Каиба с пастухом. Вместо счастливого аркадского пастуха он показывает реального и, конечно, русского крестьянина, голодного, нищего и вовсе не благодушного. В этой же повести Крылов разоблачил и одическую ложь дворянской поэзии. Но если он видит, что герой оды — на самом деле негодяй, а герой идиллии — на самом деле раб, — он не может все-таки увидеть в этом рабе ни героя республиканских доблестей, ни пугачевского повстанца, как это видел Радищев.

«Каиб» — одно из наиболее замечательных произведений русской литературы XVIII века. Основная тема его — самодержавие, и притом русское самодержавие времен Крылова. Восточная декорация рассказа не могла обмануть даже правительство, тем более, что в XVIII веке перенесение действия на условный сказочный Восток было довольно распространенной цензурной уловкой передовых писателей и в Европе. Крылов показывает в своей повести механизм самодержавного правительства, показывает вельмож, показывает и убийственно высмеивает безобразный произвол деспотии, ее внутреннюю гнилость. И опять он прежде всего бичует, издевается, опять он не может предложить ничего взамен той системы, которую он обличает. Конечно, Крылов знал, что именно можно предложить взамен помещичьей деспотии, но он, очевидно, считал такую замену нереальной, неосуществимой и не видел поэтому ни необходимости ни смысла ратовать за нее. Но сама по себе его сатира, столь ярко публицистически, политически окрашенная, сатира,

переходящая в памфлет на весь государственный строй России, была объективным фактом борьбы против этого строя.

В «Каибе» на первый план выдвинут вопрос о монархии; в «Похвальной речи в память моему дедушке» — на первом плане вопрос о крепостном праве. Самая форма этого памфлета характерна: это — пародия на весьма официальный и весьма дворянский и даже иногда церковно-освященный жанр поминальных хвалебных речей. Речи в память героев и идеологов дворянской власти или общественности составлялись по особому риторическому канону. Крылов раскрывает ложь этого канона острым орудием пародии и вскрывает суть подвигов всего класса помещиков в целом в собирательной фигуре «дедушки». Крылову вообще была свойственна пародическая манера борьбы с враждебной ему идеологией; он пародировал идиллию в «Каибе», дворянскую трагедию в «Подщипе»; поминальную или похвальную речь он пародировал не один раз. «Похвальная речь в память моему дедушке» — высшая точка антикрепостнического подъема мысли Крылова. Здесь он высказал все, что думал о помещиках, об их культуре, об их привилегиях.

Этот сатирический очерк, как и «Каиб», был опубликован в журнале «Зритель». Журнал печатался в типографии «Крылова с товарищи». В это время вокруг Крылова — целая группа литераторов, и в руках у него орудие печатной пропаганды — типография. Ближе всех к Крылову стоял в это время Александр Иванович Клушин, такой же полуразночинец, как и Крылов («родом из дворян; но отец его служил канцеляристом»; «подьяческий сын» — пишет Болотов), [1] такой же самоучка и бедняк; оба они были тверяки и, может быть, были знакомы с детства. Болотов писал о Клушине: «Умен, хороший писатель, но... но сердце имел скверное: величайший безбожник, атеист и ругатель христианского закона; нельзя быть с ним: даже сквернословит и ругает, а особливо всех духовных и святых». [2] В то же время Клушин не был чужд

---

[1] *А. Т. Болотов,* Памятник протекших времян, М. 1875, стр. 69 и 117.

[2] Там же, стр. 117.

искательства у знатных людей. Повидимому, он был вообще несколько менее радикален в своих политических взглядах, чем Крылов; были между ними различия и в философских позициях; Клушин, видимо, был ближе к материалистам, Крылов — к Руссо. Во всяком случае, несмотря на разногласия, Крылов и Клушин были и людьми и писателями одного лагеря. В 1791 г. Клушин принял участие в театральной истории по поводу актрисы Е. С. Урановой, — истории, которая приобрела характер политического скандала. За Урановой настойчиво ухаживал сильный вельможа, развратник и миллионер Безбородко; она отвергла его предложение; она хотела выйти замуж за актера Сандунова. Все средства избавиться от Безбородки были тщетны. Театральные начальники, Соймонов и Храповицкий, решили услать Сандунова в Москву. Дело принимало почти трагический оборот. Оно кончилось благополучно благодаря смелости Урановой и Сандунова. На одном из спектаклей Сандунов произнес специально сочиненный стихотворный монолог о своем деле. Затем, играя на Эрмитажном театре, Уранова подала Екатерине жалобу. В результате начальники театра, в том числе Соймонов, были отстранены от него, а Уранова вышла замуж за Сандунова.

Стихи, которые произнес со сцены Сандунов, были написаны Клушиным. Можно быть уверенным в том, что Крылов, друг Клушина, человек и ранее близкий к театру, теперь отстраненный от драматической деятельности главным образом благодаря Соймонову, принял участие в заговоре, направленном не столько против Безбородки, сколько именно против театральных властей.

В конце 1791 г. Крылов, Клушин, И. А. Дмитревский и П. А. Плавильщиков основали собственную типографию.

П. А. Плавильщиков, актер, драматург, писатель, был одним из замечательных деятелей литературы конца XVIII века. Купец по происхождению, он был последователен в своем стремлении создать национальный театр буржуазного характера. Его комедия «Сиделец» предсказывает Островского. Политического радикализма Плавильщиков в «Зрителе» не проявил; но ведь именно он издавал «Утра» (см. выше). К тому

же в конце XVIII столетия сознательная буржуазность писателя сама по себе определяла его место в борьбе с дворянской гегемонией в литературе.

Все четыре совладельца типографии были писателями, и все четыре имели прикосновение к театру. Ни один из них не был помещиком, и ни один из них не был богат. Крылов и Клушин были, конечно, гораздо беднее двух других. Все четверо сотоварищей были людьми практическими, людьми, знавшими жизнь «снизу», людьми нового склада. Все они разными путями и с разных позиций боролись против одного врага — дворянского мировоззрения, дворянского быта, дворянской литературы, в конечном счете — дворянского преобладания в стране. Их типография была и денежным предприятием и материальной базой для идеологической борьбы. Новиков научил русских интеллигентов, как пользоваться типографскими предприятиями и для того и для другого.

Редакторами «Зрителя» были, повидимому, Крылов и Клушин, может быть третьим был Плавильщиков. Они трое заполняли значительную часть журнала своей прозой и стихами. «Зритель» был журнал с резко выраженным направлением. Это был орган «третьего сословия», орган антидворянский. Плавильщиков с позиций консервативно-буржуазных, Крылов и Клушин с позиций демократического радикализма бились за дело третьего сословия. В первой, программной статье журнала (после предисловия: «К самому себе») — «Нечто о врожденном свойстве душ российских» (она продолжалась и в начале апрельского номера) — Плавильщиков обстоятельно развертывает патриотические взгляды с националистическим оттенком, используя при этом екатерининский «Антидот», официальную и реакционную книгу. Но характерно при этом то, что вместо прославления дворянской, крепостнической России, Плавильщиков выдвигает новых носителей национальных добродетелей и талантов — «купец, который одобрил словесно рядским людям своего сидельца, платит за него без всякого суда все, что он ни заберет, хотя бы он и промотал своего хозяина».. и т. д.;[1] в другом месте: «Таковы у нас

[1] «Зритель», № 1, стр. 165.

все, кои учатся всему самоучкою и часто удивляют и самых премудрых: у нас крестьянин сделал такую тинктуру, какой вся Ипократова и Галенова ученость не выдумывали... Костоправ в Алексеевском селе есть камень претыкания всей хирургии... Кулибин и тверской механик Собакин суть два чуда в механике...» и т. д.[1]

В статье о мире с Турцией[2] Плавильщиков, с одной стороны — восторженный слуга правительства и консерватор, с другой — остро ставит вопрос об интересах русской торговли, русского вывоза, настаивает на изъятии внешней торговли из рук иностранных купцов, предлагает составлять торговые компании для выгоды коммерции.

В статье «Театр» Плавильщиков, нападая на увлечение всем западным, восклицает: «Одни ли словесность и художества страдают от сего предубеждения? Торговля, сей источник к обогащению государства, сим предубеждением российское купечество подрывает».

Статья «Театр» представляет собою обширную работу, обстоятельно излагающую художественные взгляды Плавильщикова. Он горячо защищает идеи национального театра и не чужд реалистических тенденций.

Фельетоны и очерки Клушина написаны в ином тоне. Это — сильные сатиры и инвективы против власти и властвующих в стране порядков. Человек «6-го класса по табели о подлецах» фигурирует у него уже в первом номере журнала.[3] Темы социального неравенства, разврата дворянского света, крепостнического разгула поставлены им остро в сознательно антидворянском смысле (см. статьи под названием «Портреты»). «Кого я вижу? Г. Растачилова. Не могу удержать восхищения, которое возродилось во мне к нему с того времени, как сей просвещенный муж триста пахотных мужиков сделал преполезными гражданами для отечества; то есть: преобразил их в певцов, актеров, дансеров и музыкантов... Последний анекдот сего великого человека должен составить эпоху в на-

[1] «Зритель», № 1, стр. 173.
[2] Там же, стр. 83—107.
[3] Там же, стр. 38.

шей истории: за две своры гончих собак отдал он с величайшим хладнокровием пять семей крестьян. Тот безрассуден, кто осмелится упрекнуть его, что он мало человечество уважает, и что не столь же полезен для общества, как и славные его гончие». Или портреты дворян-щеголей: «Имение, нажитое трудами праотцев, отдается селениями во Французские и Аглинские магазины; крестьяне сих гибельных сынов отечества стонут от поборов; человек влечется во узах и становится в меру для исполнения безумных желаний его властителя; для соделания модного фрака, жилета; для щегольской кареты, ливреи; для стола, на котором уставлены сладострастные блюда и от которых восходящие пары поглощает тучный обжора...» «О, если бы посмотрел он на состояние своих крестьян проницательными глазами: увидел бы, чего мнимая его великость сто́ит им. Не поту, который орошает беспрестанные труды их, но слез и самой крови...» [1] — это уже почти радищевский пафос, а местами и совсем как будто бы радищевский язык, вплоть до славянщины, как будто бы неожиданной у Клушина. И тут же Клушин полемизирует с Монтескье: «О Монтескю! ты, который утверждаешь, что в монархическом правлении роскошь должна существовать яко зло необходимое... кляну твое умоначертание!» и т. д. (Здесь Клушин стоит на точке зрения Мабли; см. его работу «De la Législation ou Principes des Loix».) «Я бы никогда не простил себе, если бы когда-нибудь стал искать покровительства. Я беден, но тверд; кусок хлеба, который я заслужил, слаще всякой пищи, которую мог бы я приобресть исканием» — так начинает Клушин статью «Передняя знатного барина».

«Обратим взоры на того сластолюбивого, обжорливого расточителя, который для того, чтобы угодить вкусу своему и похвастать лучшим столом, не щадит ни трудов бедных крестьян своих, ни доходов, высосанных с потом и кровию сих нещастных... Се он. тучное тело его, упитанное яствами жирными, соками спиртуальными и вредными для здоровья, претворилось уже в некоторую окаменелость; пары, входящие внутрь его, исходят из него подобно из земли, напоен-

---

[1] «Зритель», № 1, стр. 218—220.

ной сырою влажностию; недвижим, едва позволяет он природе раздвинуть челюсти, стиснутые сладкими вареньями; едва может он от тяжести желудка вздохнуть... Растянувшись на мягком диване, мысленно поглощает он блюды, которые стояли на столе его; мановением повелевает их снова изготовить, и яко телец упитанный, не засыпает; но позволяет себя объять мертвенному забвению...»[1]

И как бы воспоминанием в Радищеве[2] звучат слова Клушина, заканчивающие очерк «Вечер», в котором перечислены пустые и порочные вечерние занятия тирана, волокиты, развратной дамы, ханжи и др.: «Единый мудрец, истинный друг человечества, предается спокойно сладчайшему сну; в тишине благословляет он государя мудрого, кроткого и презирает кровожаждущего мучителя. Он дерзает напомянуть судие его пристрастие и бесчеловечие, вельможе — его слабости и заблуждения. Не ужасает его ни ненависть сильных, ни гонения знатных; в хижине, окруженный гонителями, вопиет он в пользу истины; лишенный света, в самом мраке находит он свет немерцаемый, в самом заточении свое величие; добродетель и истина покоят его на лоне своем. Подобно Сократу, без трепета пиет он чашу смертоносного яда и, будучи в объятиях смерти, становится превыше своих гонителей и почтеннее истребителя человечества, наименованного великим».[3]

---

[1] «Зритель», 1792, апрель, стр. 222—223. См. там же сильную инвективу, в которой Клушин между прочим говорит: «Кто докажет мне, что хлебопашец, рабочий, поживший в столице, вкусивший отраву роскоши, далее будет хороший земледелец, трудолюбивый работник?» Стоит сравнить с этим у Радищева в «Путешествии» в главе «Едрово» ту же мысль в аналогичной форме.

[2] Это заметил и любезно сообщил мне И. З. Серман.

[3] «Зритель», № 1, стр. 58—59. Эта блестящая тирада напоминает стиль пропаганды освободительной героики у публицистов предреволюционной Франции. Так, в книге «Essai sur les préjugés» (*Дюмарсе,* Опыт о предрассудках, 1750), написанной, повидимому, Гольбахом, может быть в сотрудничестве с Нэжоном, есть такой пассаж: «Итак, философ свободен. Если он живет под игом тирании, дух его по крайней мере освобожден от препятствий, которые беспокоят других; он не дрожит, как они, перед ужасными химерами; душа его сохранила всю свою силу; насилие не имеет власти над его мыслью; он укрепляет себя против несчастья; и благодаря своей собствен-

Сам Крылов напечатал в «Зрителе» целый ряд стихотворений и очерков в прозе, поддерживающих его творческую линию, выявившуюся в «Каибе» и «Похвальной речи в память моему дедушке». И у него мы найдем злую сатиру и пафос обличения, облекавшийся в формы, близкие к радищевским. В замечательной повести «Ночи» Крылов писал: «Гордой городской житель! если тебе случится быть ночью на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя, сравни, если ты можешь, между собою пышные здания твоих сограждан и покажи мне, когда смеешь, различие между убогим шалашем и огромными чертогами гордости. Где пышные те здания, за несколько перед сим часов удивлявшие мимохожих и наружностию коих гордилось целое государство? Наступила ночь и сравняла их с шалашами убогих...» и т. д.[1] Ср. у Радищева: «А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах, или на дружеском пиру, или на едине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенной на ваше насыщение, остановитеся и помыслите» и т. д. («Путешествие», глава «Вышний Волочек»).

ной энергии, которая питается сама собой, благодаря своему воображению, более или менее способному воспламениться, мудрец становится энтузиастом, а часто и мучеником истины. Душа его будет покойна и в самом лоне несчастья, его не подавят насмешки толпы; он презирает угрозы тирании: она ничего не может сделать тому, кто не боится смерти.

«Именно так нередко бывало, что некоторые мудрецы, дух которых становился более смелым от опасности, возбуждался препятствием, воспламенялся славой, — открыто нападали на ложь, суеверие и тиранию, даже рискуя пасть под их ударами.

«Если их и считали безумцами их предубежденные сограждане, если их слепые современники отказали им в той дани славы, которую заслуживало их мужество, — пламенное их вооображение поддерживало их против несправедливости их века; оно показывало им потомство, благодарное им за их добродеяния; оно заставляло заранее звучать для них благословения и рукоплескания, которые выведенные из заблуждения люди некогда воздадут их памяти и их благородным деяниям. Да, без сомнения, о Сократ, в твоей тюрьме душа твоя была более свободна, более возвышена, более довольна, чем душа презренного Анита и суеверных судей, которые тебя приговорили к смерти».

[1] «Зритель», № 1, стр. 76—77.

В другом месте той же повести Крылов писал: «Крестьянин потеет и трудится целые годы чтобы выплатить колесо богатой кареты или пуговицу с кафтана своего господина Промотова, которых он никогда не увидит».[1]

Вокруг редакции «Зрителя» сгруппировались писатели, в той или иной степени близкие ей; назову, например, А. Бухарского, И. Варакина.

Общественная атмосфера в 1792 г., когда издавался «Зритель», была в высшей степени накалена. Победы французской революции приводили в ужас монархов всей Европы. Реакция била тревогу. Внутри страны было также неспокойно.

Правительство спешно вооружалось; оно готовилось спасти положение внешней экспансией и внутренним террором. Радищев был в Сибири. Масонская организация была разгромлена, и Новиков в 1792 г. был заключен в Шлиссельбург. Явно антифеодальное направление журнала, издаваемого двумя молодыми людьми почти без роду, без племени, дерзость юношеского радикализма журнала не могли не быть заметны правительству. Через много лет после 1792 г. Крылов рассказывал М. Е. Лобанову: «Одну из моих повестей, которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина; рукопись не воротилась назад, да так и пропала». В самом деле, летом 1792 г. Екатерина приказала полиции расследовать дело о типографии «Крылова с товарищи», произвести в ней обыск и в частности найти сочинение Крылова «Мои горячки» и др. 12 мая 1792 г. петербургский губернатор П. П. Коновницын написал следующее официальное письмо фавориту царицы П. А. Зубову:

«Исполняя высочайшее ее императорского величества повеление, не осмелясь отлучиться из столицы, спешу вашему превосходительству к всеподданнейшему донесению доложить:

«Типография заведена сего года в генваре месяце с дозволения Управы благочиния, с Крыловым и Клушиным — товарищи-актеры Дмитревский и Плавильщиков. В ней осмотр учинен частным приставом со

[1] «Зритель», № 1, стр. 232.

всею прилежностью, но вредных сочинений не нашлось. И означенные Дмитревский и Плавильщиков по чистой совести и долгу присяги свидетельствуют, что ничего без установленной цензуры печатано не было.

«Отставной провинциальный секретарь Крылов оригинальное свое сочинение под названием «Мои горячки» по первому вопросу с частным приставом, лейб-гвардии у капитана-поручика Скобельцына, которому давал для прочтения, отобрав, сам мне представил, объясняя, что писал оное назад года с два без всякого умысла, по одной склонности к сочинениям, еще не кончил, никогда нигде не печатал и, прямого к тому намерения не имея, прочитывал некоторым из своих знакомых, именно: Дмитревскому, Плавильщикову, Сандунову, а после давал г-ну Скобельцыну и, наконец, показал мне те главы, где описано изображенное в приложенном о сем письме, почему, переписав оные набело, при сем и самое то сочинение в особом конверте вашему превосходительству представляю, равно и взятую с находящегося в службе при Комиссии о строении дороги в государстве подпоручика Клушина подписку. При осмотре же в типографии и комнате его[1] поэмы *Горлицы* и других вредных сочинений не оказалось, а лично мне объявил, что о *Горлицах* писано им было в аллегорических его снах, но без всякого намерения, и что их читал Плавильщиков, но не одобрил, почему он и изодрал, что и Плавильщиков подтвердил при господине обер-полицмейстере. Из-за чего представляю за тою типографиею то ж Крыловым с Клушиным наблюдение и, не упуская из виду поведения, которое доныне никем не осуждается, дальнейшее исследование до высочайшего благоусмотрения остановил, дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения, как о том мне предписать изволили».

Клушин изложил на бумаге содержание своего произведения, состоявшего из трех частей: «Царство воображения», «Горлицы» и «Судьи, превращенные в сорок». При этом он заявил, что в сочинении его не было ничего предосудительного, тут же, явно для по-

---

[1] И Крылов и Клушин жили при типографии в доме И. И. Бецкого на Марсовом поле.

лиции, дав ему неверное истолкование (в «Горлицах» он якобы изобразил «суеверие народное»), и тут же говоря, что их содержание было таково, «сколько упомню».

Дмитревский, Плавильщиков и Сандунов подтвердили показание Клушина и «засвидетельствовали, что содержание [рукописи] сходно во всей точности с оригинальным сочинением, которое они читали, и что ничего вредного отнюдь не было».

Содержание поэмы «Горлицы» в изложении автора Клушина, затребованном полицией, таково:

«На берегу протекающей речки заметил я множество горлиц: они сидели в кружок, поджав крылья и запихнув носы в свои перья. Одна говорила к другой, сидящей подле ее: не тронь моего гнезда, а я твоего не трону. — Так, так, — сказала третья, а за ней многие, — пусть каждый владеет своим. — Конечно, — промолвили они: — но если захотят отнять наши гнезда, так что мы тогда будем делать? — Тогда, — сказала одна горлица, — вооружимся мы против всех птиц соединенными силами. Но выслушайте наше постановление: никакая из птиц не имеет права отнять у другой ни зерна пшеницы, ни крупы, ни всего, что потребно в пищу.

«Ежели бы одна или две согласились из нас обидеть маленьких детей, потому что они бессильны, — тогда все за притесненных вступаются; и ежели будут преступники найдены, наказываются и изгоняются.

«В чем право каждого из нас? Питать себя своими трудами, а не похищать насилием.

«Мы все птицы, стало мы братья, — родство требует дружества, согласия, — и вот в чем наше блаженство.

«Многие слушали проповедника с удовольствием, многие зевали; а он, пользуясь их хладнокровием, увеличивал гнездо свое.

«Я ожидал, что их приговор будет сохраняться, как нечто священное; но они уже один к другому приближались. Я взглянул на другую сторону реки и увидел сидящих воронов, которые на горлиц пристально смотрели.

«— Что это значит? — спросил я благотворного духа... — Это вороны, — отвечал он, — ожидают, ско-

ро ли кончится постановление горлиц; и потому, что они не могут сохранить своих условий, то воспользуются их гнездами.

«— Как! — вскричал я: — так тут непременно последует кровопролитное сражение... Ах, сокройте, сокройте сию пагубную от меня картину... сердце мое чувствительно: без содрогания душевного не могу я воззреть на сие...»[1]

Аллегория поэмы видна даже из этого нарочито осторожного изложения. Горлицы — французы, творящие новую жизнь в революции. Вороны — правительства, готовящие интервенцию против революционной Франции, т. е. в первую очередь Австрия и Россия Екатерины II. Я полагаю, что сочувствие к революционной Франции было достаточно ярко выражено в поэме, если пришлось ее уничтожить заблаговременно.

Конечно, трудно сказать, что означала на языке Коновницына формула: «дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения». Во всяком случае, за Крыловым и Клушиным велась слежка.

3 января 1793 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Мне сказывали, будто издателей *Зрителя* брали под караул: правда ли это? И за что?» Повидимому, это поздний отклик на все ту же майскую историю с обыском и допросом, по слухам, докатившийся в Москву только в конце года. С начала 1793 г. Крылов и Клушин начали издавать новый журнал «Санкт-петербургский Меркурий», и трудно предположить, чтобы это было немедленно после ареста. С другой стороны, следующее за цитированным письмо Карамзина к Дмитриеву от 28 января 1793 г., повидимому, свидетельствует о том, что он получил на свой вопрос: «правда ли это?» отрицательный ответ, иначе он едва ли бы стал спокойно писать: «Итак Эмин, *Крылов, Клушин, Туманский* не благоволят ко мне!»

---

[1] *Н. В. Рождественский,* И. А. Крылов и его товарищи по типографии и журналу в 1792 г. — Сборник Моск. Главного архива министерства иностранных дел, 1899, вып. 6, стр. 347—352. Ср.: *А. Я. Кучеров,* Французская революция и русская литература XVIII века — «XVIII век», сборник Института литературы Академии наук СССР, 1935, стр. 299—300.

«Санктпетербургский Меркурий» был в значительной мере продолжением «Зрителя». Он выходил ровно год, помесячно. Редакторами были Крылов и Клушин. Они подписали и «Предисловие» к журналу. Состав сотрудников «Меркурия» несколько изменился по сравнению с «Зрителем». Вовсе не работал в новом журнале Плавильщиков; зато появились другие сотрудники: Карабанов, Горчаков, Мартынов, Николев. Этот подбор людей характерен: Крылов и Клушин были принуждены сдавать свои позиции. Новые сотрудники — отчасти либералы, — но в основном дворянского толка. Горчаков — фрондер-аристократ,[1] как и Николев; Карабанов — дворянский салонный поэт, в достаточной мере низкопоклонного толка.

«Санктпетербургский Меркурий» значительно более сдержан в вопросах социальных и политических, чем «Зритель». Это уже не боевой орган нападающей группы. Нельзя не видеть в этом результат воздействия «свыше». Крылову и Клушину достаточно ясно дали понять, что можно и чего нельзя, и они принуждены были уступить. Шел девяносто третий год, год революционной диктатуры во Франции.

Между тем уступки редакторов «Меркурия» не выражали их подлинного отношения к действительности.

Несмотря на то, что Крылов и Клушин, издавая «Меркурий», проявили больше «благоразумия» и готовности смириться перед властью, чем в «Зрителе», правительство не могло не видеть в них опасных литераторов. Их надо было обезвредить, без шума и «мягко», так как не было поводов для открытого преследования и в то же время Екатерина боялась открытых скандалов. Но терпеть рядом с собой литературный орган буржуазно-демократической ориентации в то самое время, как на Западе, в Париже революция отрубила голову французскому королю, она не могла; она ведь была убеждена, что революцию сделали французские писатели — Вольтеры, Руссо, Гельвеции и Рейнали. Рейналя признал своим вдохновителем и Радищев во время следствия по делу о «Путешествии».

[1] В «Сатире» («Спб. Меркурий», № 3, стр. 104) он высказывает идеи, характерные для помещичьего либерализма, прославляет трагедию Николева «Сорена»; однако Франклин и Гельвеций — для него высокие имена.

«Аббереналь», как писала Екатерина, был в ее глазах одним из главных «поджигателей». И вот именно этого самого Рейналя через три года после радищевского процесса осмелились переводить и печатать Крылов и Клушин. В июльской книжке их журнала помещена статья «Об открытии Америки» из «Esprit de Raynal» (перевод Ст. Ляпидевского).

Так или иначе, но летом обнаружилась невозможность дальше издавать «Меркурий» в типографии Крылова и Клушина, издавать его без ближайшего контроля власти. Кроме того, видимо, типография не оправдывала себя и как коммерческое предприятие; и в этом отношении трудно решить, что было причиной малой ее активности — то ли отсутствие деловых дарований у ее хозяев (что очень и очень сомнительно; вспомним, что Дмитревский руководил несколькими театрами — и не только по художественной линии), то ли крайне неблагоприятный момент для развития дела, связанного с литературой и вообще культурой, — острый подъем реакции и полицейский террор в связи с революционными событиями Запада, лишивший голоса литературу во всех ее проявлениях, а не только литературу радикального направления.

Во всяком случае Крылов и Клушин обратились к Дашковой, известной своим либерализмом, кокетничавшей своим аристократическим фрондерством; недаром она была сестрой Воронцова, так много сделавшего для Радищева в ссылке именно в это время. Крылов и Клушин были вынуждены отказаться от своей типографии. Они отдали Дашковой для напечатания в ее сборниках «Российский Феатр» свои пьесы (семь пьес: комедии, оперы и трагедии) и за это получили по полному комплекту «Феатра» и разрешение перевести издание «Меркурия» в типографию и «на щет» Академии наук, «но с подписанным от Управы цензурным дозволением».

С августа месяца журнал стал издаваться в Академии наук. Одновременно в нем стал играть большую роль И. И. Мартынов, человек более благонадежного склада, чем прежние издатели журнала. Правительство наложило свою руку на журнал. В августовской книжке еще была напечатана рецензия на «Вадима» Княжнина, хоть и обставленная оговорками и пори-

цаниями, но все же сочувственная; но в сентябре журнал стал совсем беззуб; благонамеренность восторжествовала. Крылов и Клушин не пытаются бороться. В сентябре Крылов напечатал «Оду на случай фейерверка» — все-таки похвальную оду. Октябрь открывается статейкой «Пробуждение» — комплиментом Екатерине по поводу женитьбы ее внука Александра; за ней идет обычная официальная ода на этот же случай — Мартынова; в том же номере — «Надпись к портрету Екатерины» А. Бухарского. Ноябрьский номер открывается стихами Клушина «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем»; это — явное подражание Державину (в частности «Видению Мурзы»); по существу же это — капитуляция. Клушин «прощен» и в то же время удален, — и он благодарит. Правда, тут же рядом напечатано стихотворение «К счастью» Крылова, еще достаточно смелое; но в том же номере — опять официальная ода «Изображение Российнина». В декабрьской книжке опять ода Мартынова — «Песнь на тезоименитство Екатерины II», где речь идет и о французской революции — с должным осуждением ее. Последний, декабрьский номер журнала[1] заканчивается заметкой, подписанной: «А. Клушин. И. Крылов». Они писали: «Год Меркурия кончился — и за отлучкой издателей продолжаться не будет...» и т. д. Типография «Крылова с товарищи» перешла в другие руки.

Неблагонадежная журнально-литературная деятельность двух разночинцев была прекращена, и они сами были укрощены. Клушин должен был ехать за границу на казенный счет, видимо учиться. Болотов пишет, что и Крылов должен был ехать с ним, но «они остались и не поехали по причине, что промотали денежки взятые».[2] И. И. Мартынов, однако, сообщает, что за границу должен был ехать только Клушин, получивший деньги на пять лет вперед, всего 1500 рублей. Клушин доехал до Ревеля, женился и потом поселился в Орле у своего брата, также человека бедного. Здесь Клушин продолжал писать, изучал немецкий язык, но в литературе в течение не-

[1] Он вышел с опозданием, уже в 1794 г.

[2] *А. Т. Болотов*, Памятник протекших времян, М. 1875, стр. 69.

скольких лет не появлялся. Крылов уехал из Петербурга, «к какому-то помещику в деревню»,[1] — как пишет Мартынов, — и исчез. Он и Клушин были изъяты из литературы правительством Екатерины.

В 1800 г. Крылов написал «Подщипу», — вещь половинчатую, не совсем прямую. В ней, с одной стороны, он смеется над павловской фрунтоманией по немецкому образцу и тем, может быть, хочет угодить своему покровителю Голицыну, обиженному Павлом, с другой — рад воспользоваться случаем поиздеваться и над привычками царя Павла и вообще над русскими царями и князьями. Идиот Вакула, кретин и трус Слюняй, совет царя Вакулы, Дурдуран, — все они русские «герои» и цари, которых так риторически прославляла русская классическая трагедия. Пародия на эту трагедию у Крылова далеко переросла формы простой литературной шутки; пьеска для любительского спектакля стала еще одним жестоким политическим памфлетом, попутно расправляющимся с одним из оплотов дворянской идеологии — трагедией сумароковской традиции. В основном мышление и творчество Крылова навсегда оставались демократическими по существу.

В 1806 г. появились первые (если не считать ранних опытов 1780-х гг.) басни Крылова. С этого времени он становится по преимуществу баснописцем, и сатирическая проза его молодости, как и его лирика, с этого времени заслонена в сознании современников и ближайших потомков его баснями.

11

Я не имею возможности, конечно, исчерпать здесь материал, характеризующий наличие в русской литературе и общественности второй половины XVIII века демократических идейных течений. Наши сведения об этих течениях еще весьма и весьма недостаточны. Но уже сейчас мы имеем все основания утверждать, что появление Радищева было подготовлено накоплением

---

[1] *И. И. Мартынов,* Записки — «Памятники новой русской истории», сборник исторических статей и материалов, издаваемый В. Кашпиревым, т. II, Спб. 1872, отд. II, стр. 88.

демократической идеологии в русской литературе, связанным с подъемом народного самосознания в угнетенной массе, с обострением противоречий феодально-абсолютистского уклада. Радищев жил и действовал в окружении людей, подготовленных для восприятия его проповеди. Сам он сказал о себе: «Таковые твердые сердца бывают редки; едва один в целом столетии явился на светском ристалище» («Путешествие», глава «Спасская полесть»). Но народ, выдвинувший Радищева уже в XVIII столетии, мог гордиться своим сыном.

Либерально-буржуазные фальсификаторы Радищева говорили не только о его одиночестве, но и о том, что он был, мол, только писатель, человек чуждый практической политической жизни, мечтатель, теоретик, рассуждавший «вообще». Все это — ложь. Радищев не был кабинетным мыслителем, оторванным от жизни. Его «Путешествие» — лучшее доказательство этому. Это книга активная, пропагандистская; эта книга — не только великое произведение человеческой мысли, но и героический поступок гражданина-революционера. В посвящении к «Путешествию» Радищев писал: «Я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению, и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных. — Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь». Все произведения Радищева агитационны в лучшем смысле слова, — все, до самого конца жизни Радищева. Когда он вернулся из Сибири, — в вынужденном бездействии, в деревне, под полицейским надзором, он начал писать «Описание моего владения» — агрономический и экономический трактат, в котором он, как видно по дошедшему до нас началу, хотел научно *доказать* необходимость свободы для крестьян. «Таким образом, возвратившись из Сибири, Радищев опять вернулся к разработке того же вопроса, который ставился в знаменитом Путешествии», — пишет П. Г. Любомиров;[1] Радищев «принимался за старое», как его ни мучили. Это был борец за свободу, борец без страха и упрека.

[1] *П. Г. Любомиров,* «Описание моего владения» Радищева.

Таким он оставался и во время следствия 1790 года. Совершенно неверно, будто бы Радищев во время процесса вел себя не так, как подобало. Нужно помнить, что в условиях тайного следствия, которое вел палач, «кнутобойца» Шешковский, превратить допросы в средство пропаганды революционных идей было невозможно. Радищев был без сомнения потрясен всем, случившимся с ним, хотя он знал о возможности такой участи еще тогда, когда писал книгу; недаром он обращался к царю словами странницы-истины: «Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет» (глава «Спасская полесть»). Перед Радищевым во время следствия стояли три задачи: во-первых, не запутать в дело никого, кроме себя, во-вторых, избавить от опасности своих детей, в-третьих, по возможности обмануть Шешковского, или, вернее, Екатерину, руководившую делом, и спасти себя. Первую задачу он выполнил блестяще. Ни один человек не был назван им, «соучастников» обнаружено не было, хотя в случае иного поведения Радищева можно было бы установить целую группу людей, в среде которых Радищев проповедывал свои идеи. Что же касается самозащиты, то Радищев вел ее в высшей степени умно, в то же время не поступаясь самым главным. Он доказывал, что его книга — только обычное литературное произведение, вроде Стерна или Рейналя, не более. Он топил свои показания в покаянных словах, рассчитанных на уровень понимания Екатерины; он бранил себя как мог; он явно не хотел легко дать себя съесть тиранам, которых он ненавидел. Ему надо было обязательно вырваться из их пут. При этом на поддержку извне он рассчитывать не мог; ему оставалось полагаться только на себя. Но отказаться от главного он не хотел — и не сделал этого. Он не отрекся от мысли о свободе крестьян. Отвечая на вопросные пункты, он показывал: «Все описанные в книге листы, начиная от 236 по 277, написаны им подлинно, как теперь он сам понимает, должно казаться, что я писал с насмешкою и с тем намерением,

что желание мое стремилось всех крестьян от помещиков отобрать и сделать их вольными; а и о солдатской службе, как бы предполагал ей быть тяжестью, но, как истинную он показывает, — чтоб крестьяне были вольные, то его желание было, однако ж, располагал он так в мыслях своих, что-де сие сделано будет по воле всемилостивейшей государыни; да и за солдатами, конечно, попечением ее императорского величества лучший присмотр, так как и строгий с ними поступок, по природному ее величества человеколюбию, отвращен будет». Этот ответ характерен. Радищев защищается, но не сдает своих позиций более, чем это нужно и возможно для него. «Если я писал против цензуры, то думал, что творю доброе, думал, что она не нужна, и если не будет существовать, то обязанный всяк сам ответствовать, на цензуру полагаться не будет», — писал Радищев 7 июля, — и ниже опять о проекте освобождения крестьян, и опять Радищев настаивает на нем. Именно потому отчасти, что Радищеву приходилось вести сложную линию самозащиты во время следствия, ему захотелось, повидимому, рассказать своим детям, а может быть и потомству, правду о себе; таково происхождение «Филарета милостивого», автобиографической повести, писавшейся в заключении. Если в документах следствия Радищев принужден был бранить себя, то здесь, где он писал о себе правду, он с полным сознанием величия своего дела изображал себя в образе праведника.

Процесс не сломил Радищева, как не сломила его и Сибирь. Это достаточно удостоверено его сочинениями 1792—1802 гг., и философским трактатом, «Описанием моего владения», и стихотворением «Ты хочешь знать, кто я», и «Песнью исторической», и многими другими.

Радищев был умным, осторожным и решительным, когда надо, человеком. Он не был только писателем, довольствовавшимся книжным бунтом. Еще перед катастрофой 1790 года он использовал все возможности борьбы. Он рвался к практической революционной или по крайней мере радикальной общественной деятельности. Его трагедия заключалась в том,

что он был далек от крестьянства, от широких народных масс, от социальной основы его собственного революционного пафоса.

Во время следствия Радищев писал в своем показании: «Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое, и потому, что народ наш книг не читает...»

Но даже сознание трудностей, может быть — невозможности установить непосредственную связь с народом, не могло заставить Радищева сидеть сложа руки, быть только наблюдателем или даже изобразителем рабства. Он искал союзников, искал среды для пропаганды. До нас дошло очень мало материалов о деятельности Радищева как агитатора и организатора, и это понятно, так как все следы такой деятельности уничтожались и властями и напуганными подданными; к тому же Радищев вел работу, видимо, стремясь конспирировать ее. Но что такая деятельность была — это мы можем утверждать с несомненностью. В особенности она оживилась в 1789 г., вместе с общим подъемом волны революции в Европе. Это был благоприятный момент, и Радищев использовал его не только в том отношении, что завел типографию у себя на дому и напечатал в ней почти революционную брошюру, а затем и революционную книгу. Деятельность Радищева в 1789—1790 гг. исследована в последней работе покойного В. П. Семенникова «Литературно-общественный круг Радищева». В 1789 г. в Петербурге образовалось полумистическое, полулиберальное «Общество друзей словесных наук», объединившее молодых литераторов, офицеров (главным образом моряков), чиновников. Радищев вступил в это общество и повел в нем свою пропаганду; он стал захватывать в свои руки и печатный орган общества, журнал «Беседующий гражданин». Он стал одним из центров общества, а оно было довольно многочисленно. В журнале он напечатал свою статью «Беседа о том, что есть сын отечества». В связи с обществом были и другие группы — кружок И. Г. Рахманинова, к которому примыкал и юноша Крылов. Влияние Радищева и на этот кружок не вызывает сомнений. Ко времени выхода в свет «Путешествия» Радищев был крупной фигурой в Петербурге. Довольно видный чи-

новник, друг одного из вожаков аристократической фронды Воронцова, человек уже не молодой, вполне зрелый, мыслитель огромного размаха и невиданной еще в России глубины, человек колоссальных энциклопедических знаний, он не мог не импонировать молодым, горячим свободолюбцам самых различных группировок. Его влияние, повидимому, становилось опасным, тем более, что он имел связи в различных кругах, — и среди литераторов, и среди офицерства, и среди купечества русского и иностранного, и в вельможном кругу.

В том же 1789 году Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность, а затем попытался перейти от пропагандистской работы к организации вооруженной силы.

Журнал «Беседующий гражданин» вступил в сношения с учрежденной за три года до того городской думой (упраздненной в 1798 г.). Радищев был явно замешан в этом деле. И вот, в «Беседующем гражданине» была опубликована пространная резолюция городской думы, представлявшая собой развернутое антидворянское выступление, своего рода обвинение дворян и обличение их, написанное в тонах той «гражданственности», которая культивировалась в «Обществе друзей» — говорит В. П. Семенников. Он же подчеркивает, что постановление думы было «сделано не так называемой шестигласной думой (т. е. исполнительным органом думы, позднее названным управой), а самой думой в полном ее составе (насчитывавшем тогда 120 человек). Это, кстати сказать, наверное, первый случай, когда орган городского самоуправления решил обратиться к посредству печати для опубликования своих решений»,[1] причем обратиться к журналу, далеко не официальному. Постановление думы «сообщил» в журнал К. Л. Лубянович, «сотрудник журнала, в статье которого, помещенной в «Беседующем гражданине», были мной отмечены близкие Радищеву мотивы».[2]

Связи Радищева с городской думой этим не ограничились. В мае 1790 г. морская война с Швецией

---

[1] *В. П. Семенников,* ук. соч., стр. 286.
[2] Там же.

приняла оборот опасный для Петербурга. И вот в этот момент Радищев оказался инициатором организации ополчения из добровольцев разного рода людей, вооруженных для защиты города. Осуществила эту инициативу городская дума, которая вынесла постановление о наборе команды в 200 человек, о снабжении ее амуницией и содержании на общественном жалованье. Правительство утвердило проект. При этом брали в ополчение и беглых от помещиков крестьян. Вся эта затея замечательна. Едва ли это не было своеобразной попыткой вооружить народ (попыткой, может быть осуществленной лишь в малых размерах) для защиты отечества от внешних врагов, но не только для нее, а и для других возможных целей. Роль национальной гвардии на первых порах французской революции, т. е. именно в 1789—1790 гг. достаточно известна. Следует обратить внимание на то, что вооружали беглых помещичьих крепостных, т. е. самый явно недовольный слой народа, которому окончательно нечего было терять (тем самым их и легализовали). 6 июня 1790 г. Радищев был арестован. В начале июля дело его было в полном разгаре. И вот 10 июля Екатерина приказала Брюсу «беглых помещичьих людей» из батальона думы отдать тем помещикам, которые захотят, а остальных — поверстать в обычные рекруты, т. е. в солдатчину. Таким образом затея первого русского отряда национальной гвардии рухнула. В какой связи стоит распоряжение Екатерины с делом Радищева — не ясно. Но вовсе не исключена возможность, что Екатерина вообще узнала во время следствия, — и не от Радищева, — больше, чем это представлялось раньше и чем это могло быть отражено в допросах Радищева; она, вероятно, знала о деятельности Радищева помимо написания и издания книги. Во всяком случае сведения о работе Радищева в «Обществе друзей» дошли до Екатерины. Напомню, что́ написал С. А. Тучков, один из членов Общества, в своих записках. Он участвовал в войне с шведами. «После столь трудного похода, прибыл я в дом отца моего и, отдохнув несколько дней в моем семействе, вздумал посетить собрание наше любителей словесности. Но, приехав в дом, где собирались мои сочлены, нашел оный пуст, и дворник

объяснил мне, что он не знает почему, однако, давно уже как запрещено от полиции этим господам собираться». Тучков говорит о запрещении всяких «собраний» в виду французской революции и того, что «дух вольности начал проникать в Россию», а затем рассказывает об участии Радищева в Обществе и в «Беседующем гражданине», о процессе Радищева и, затем, явно в связи в этим: «Императрица велела подать себе все списки членов как тайных, так и вольных ученых собраний, в том числе представлен был и список нашего собрания. По разным видам и обстоятельствам, бо́льшая часть членов лишены были своих должностей, и велено было выехать им из Петербурга» [1] (ср. с этим судьбу Крылова и Клушина).

В виде предположения может быть высказана мысль, что самая кара, упавшая на голову Радищева, была обусловлена не только его революционной книгой, но и всей совокупностью сведений о Радищеве, бывших в руках правительства и освещавших особо ярким светом смысл и значение самой книги. В конце своих замечаний на «Путешествие» Екатерина написала о Радищеве: «Вероподобие оказывается, что он себя определил быть начальником, книгою ли *или инако* исторгнуть скиптра из рук царей, *но как сие исполнить один не мог, показывается уже следы, что несколько сообщников имел;* то надлежит ево допросить, как о сем, так и о подлинном намерении, и сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правда любит, как дело было; ежели же не напишет правду, тогда принудить мне сыскать доказательство и дело его сделается дурнее прежнего».

Радищев не назвал сообщников, и Екатерина исполнила угрозу.

Характерна и следующая деталь: только что начав читать «Путешествие», Екатерина в тот же день заподозрела авторство Радищева. Храповицкий записал в своем дневнике 26 июня 1790 года: «Говорено о книге «Путеш[ествие] от Петер[бурга] до Москвы». Тут рассевание заразы французской: отвращение от начальства; автор мартинист; я прочла 30 стр. Посылка за Рылеевым. Открывается подозрение на Ради-

---

[1] Записки С. А. Тучкова, Спб. 1906, стр. 64—65.

щева». Видимо, о Радищеве уже сложилось у властей представление как о человеке достаточно опасном, если именно о нем Екатерина подумала прежде всего, приступив к чтению анонимной революционной книги.

Повидимому, и сам Радищев считал, что его сослали не только за книгу, а опасаясь его личного влияния на умы. В «Письме о китайском торге», обращенном к А. Р. Воронцову, Радищев прозрачным намеком просит исхлопотать ему относительную свободу передвижения в ссылке и пишет: «Я бы почел в положении моем благодеянием, если бы позволено мне было отлучаться от места моего пребывания. Верьте, что причина тому единственно научение. Если глагол мой заразителен, если дышу язвою и взор мой возмущение рассеивает, — скитаяся по пустыням и дебрям, проходя леса, скалы и пропасти, кто может чувствовать действие толико злодейственна существа? Пускай глас мой не пременился, пускай выя не стерта и носится гордо; глас ударять будет в камень, отзвонок его изыйдет из пещеры и раздастся в дубраве необитаемой. Свидетели моих мыслей будут небо и земля; а тот, кто зрит в сердце и завесу внутренности нашея проницает, тот знает, *что̀ я, что̀ быть бы мог* и что̀ буду».

Что же касается вопроса о том, были ли в Петербурге и в России в 1790 г. люди, способные понять проповедь Радищева, подготовленные к восприятию его агитации, то в наших руках имеются хоть и малочисленные, но определенные сведения, позволяющие ответить на него утвердительно. В этом смысле важны свидетельства, говорящие об успехе «Путешествия», о впечатлении, произведенном книгой. Безбородко, человек в высшей степени осведомленный, писал В. С. Попову 16 июля 1790 г., во время процесса Радищева, о «Путешествии»: «Книга сия начала входить в моду у многой шали, но, по счастию, скоро ее узнали». Книгопродавец Г. К. Зотов, продававший книгу Радищева, показывал на допросах, что книга вызвала большой спрос. Так, например, во время допроса 29 июня он показал, что «многие стали спрашивать книгу». Чиновник И. Вальц, притянутый к делу Радищева, в своем показании упомянул, что «Путешествие» — книга, о которой «по всему городу говорят».

После осуждения Радищева и его книги, интерес к последней нисколько не понизился. Есть известие современника (Массона) о том, что были люди, которые добывали экземпляр «Путешествия» на время и платили за прочтение книги большие деньги.[1] Примечательно и большое количество дошедших до нас списков «Путешествия» — не менее двадцати девяти. Уже в конце XVIII века они проникли даже в Сибирь. Сам Радищев, возвращаясь из Сибири в мае 1797 г., видел «копию моей книги» в Кунгуре («Дневник путешествия из Сибири»). Массон говорит: «Несмотря на розыски в домах, учиненные деспотизмом, его книга [«Путешествие» Радищева] находится у многих его соотечественников, и его память дорога всем разумным и чувствительным людям».[2] Гельбих писал: «Конфискацией книги не помешали тому, чтобы она стала известна. В России появились в обращении списки с нее и были экземпляры [списков], проникшие за границу».[3]

12

Радищев был последним и наиболее блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов XVIII столетия в России. Вообще говоря, большая научная подготовка в XVIII веке не была, как правило, уделом русских дворян, особенно подготовка в области философии и в области точных и естественных наук. Конечно, нельзя сказать, чтобы дворянская общественная мысль не выдвинула людей большой культуры и начитанности; М. М. Щербатов был, например, человеком исключительной образованности; культура Хераскова, Львова, а в особенности Карамзина, была высока, если сравнить ее с общим уровнем русской книжной культуры того времени. Но все же это была культура суженная, — и не только по линии узости дворянской консервативности, искажавшей истинные соотношения вещей, а и по фактическому объему и содержанию знаний. Карамзин читал очень много, но, во-первых, его интересовали почти исключительно две области:

[1] *Masson,* Mémoires secrets sur la Russie, t. II, 1800, p. 180.
[2] Там же, стр. 181—182.
[3] [*G. Gelbig*], Russische Günstlinge, Tübingen 1809, S. 461.

искусство и история (уже к философии он относился более как к искусству, чем к науке); во-вторых, он воспринимал даже научные книги по преимуществу эстетически. Иное дело Радищев. Он чувствовал себя дома во всех сферах человеческого творчества. В этом отношении за его плечами стояла традиция, начатая Ломоносовым и продолженная более скромными деятелями, вроде Я. П. Козельского. Именно эту традицию завершал Радищев, не уступавший в широте своих знаний лучшим людям мировой культуры XVII—XVIII столетий. Фундаментально изучил Радищев все науки и во всех был не столько учеником, сколько самостоятельным мыслителем. Он владел полностью достижениями науки своего времени в области физиологии, химии, физики, анатомии, минералогии, ботаники, он был политико-экономом и юристом по специальности и писал в этих областях, он написал историческое исследование, экономическое исследование, работы по теории стиха — по метрике и инструментовке его, он написал обширный философский трактат, в высшей степени блестящий, он говорил как знаток об агрономии в «Описании моего владения», он знал литературу от Гомера и Саади до Гете.

Но важнее, быть может, то, что Радищев нисколько не был коллекционером знаний. Во всем и всегда, в каждом вопросе и в каждой науке, он был все тем же энтузиастом революции. Поразительна целеустремленность Радищева и глубоко-активное отношение его ко всем вопросам. Все, что он знает, он использует для построения единого революционного мировоззрения. Он принципиален как революционер, о чем бы он ни говорил; первое, основное и важнейшее для него — это социально-политические проблемы. Но даже в «Путешествии» он ставит множество других проблем — и все под единым углом зрения. В «Путешествии» он говорит о философии, о праве, о морали и бытовых проблемах, о воспитании, об искусстве и литературе. Тем не менее «Путешествие» — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению. Я не считаю нужным в данной связи останавливаться подробно на источниках мировоззрения Радищева. Над выяснением этого существенного вопроса в применении к «Путешествию» много и пло-

дотворно поработал покойный Я. Л. Барсков; об источниках, использованных в частности в философском трактате Радищева, также писали не один раз. Если еще никоим образом нельзя сказать, что список источников Радищева исчерпан, то многое все же уже указано.

Социальное мышление Радищева опирается на учение французских просветителей и на Руссо, повидимому, бывшего первым и основным учителем Радищева. Как философ, Радищев приближается к последовательному материализму.[1] Однако уже в усвоении результатов французской литературы Радищев проявил высокую степень самостоятельности. Он нисколько не пассивный ученик. Он сам — один из плеяды европейских просветителей XVIII века, притом один из наиболее сильных умов в этой блестящей плеяде. Он черпает не только из французских традиций, но и из английской. Наконец, он осложняет механистическую систему французского энциклопедизма исторической динамической концепцией, выросшей на почве германской философии, английской исторической науки и политической экономии. Он старается осмыслить историю как закономерный процесс, найти законы ее движения, и этот историзм делает его в ряде вопросов более прозорливым, чем могли быть его французские предшественники.

В итоге мы имеем в «Путешествии» и в других произведениях Радищева своеобразную концепцию философского и социально-политического мировоззрения, выросшую на русской почве, хотя и вобравшую все передовые элементы западной мысли. Именно условия русской действительности заставили Радищева быть не совсем тем, чем был даже Руссо. Может быть, именно крепостное рабство русских крестьян заставило его уяснить себе вопросы революции более отчетливо и шире, чем это мог сделать любой из публицистов Франции XVIII века, даже Мабли. «Путешествие из Петербурга в Москву» было рупором народного протеста и гнева, в наименьшей степени преломленного сквозь призму буржуазности, в силу специфических русских условий.

---

[1] См.: *И. К. Луппол,* Трагедия русского материализма XVIII века — «Историко-философские этюды», 1935.

Первая, основная задача «Путешествия» — борьба с крепостничеством, — как Радищев думал: борьба с угнетением человека человеком вообще. Он подходит к этой задаче с разных сторон. «Путешествие» — художественное произведение, и Радищев в ряде образов стремится показать неправоту, ужас, нелепость, варварство крепостного права. Но он не только хочет воздействовать на эмоциональность читателя, — он не только вызывает у него чувства гнева и возмущения. Он *доказывает* свой тезис и рационально. Он использует при этом аргументацию моральную, юридическую, наконец, экономическую. Последнее может быть наиболее замечательно. Радищев доказывает, что крепостное право невыгодно с точки зрения народного хозяйства, что оно уменьшает количество материальных благ, добываемых данным народом, в частности в России. Он выдвигает тезис о том, что подневольный труд «на барина» менее эффективен, чем труд свободный, что человек работает на себя лучше, чем на угнетателя. Учителем его в этом отношении был, скорее всего, Адам Смит, писавший в «Исследовании о природе и причинах богатства народов»: «...Если редко можно ожидать значительных улучшений от крупных землевладельцев, то меньше всего приходится ожидать их в тех случаях, когда они употребляют для работы своих рабов. Опыт всех веков и народов, как мне думается, свидетельствует о том, что работа, выполняемая рабами, хотя она как будто требует расхода только на их содержание, обходится дороже всякой другой. Человек, не имеющий права приобрести решительно никакой собственности, может быть заинтересован только в том, чтобы есть возможно больше и работать возможно меньше... Как Плиний, так и Колумелла указывают, в какой упадок пришло в древней Италии возделывание хлеба, как невыгодно стало оно для землевладельца с тех пор, как перешло в руки рабов». Далее Смит говорит о крепостных крестьянах: «. . Крепостной, не могущий приобрести ничего, кроме своего пропитания, старается лишь не переобременять себя чрезмерным трудом», и затем Смит подробно показывает невыгодность для народного хозяйства крепостного труда, при котором земледелец не заинтересован ни в увели-

чении продукции ни в затратах на улучшение земли.[1] Радищев применяет это учение к России. Еще в оде «Вольность» он рисовал страну рабства:

Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.
Там нивы запустеют тучны,
Коса и серп там не сподручны,
В сохе уснет ленивый вол,
Блестящий меч померкнет славы...

Наоборот, — вот народ освободил себя:

Под древом, зноем упоенный,
Господне (т. е. господское) стадо пастырь пас;
Вдруг новым светом озаренный,
Вспрянув, свободы слышит глас;
На стадо зверь, он видит, мчится,
На бой с ним ревностно стремится;
Не чуждый вождь брежет свое.
О стаде сердце не радело,
Как чуждо было, не жалело;
Но ныне, ныне ты мое.

Господню волю исполняя,
До встока солнца на полях,
Скупую ниву раздирая,
Волы томились на браздах;
Как мачеха к чуждоутробным
Исходит с видом, всегда злобным,
Рабам так нива мзду дает.
Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет:
Себе всяк сеет, себе жнет.[3]

В «Путешествии», уже в начале книги, в главе «Любани», помещен разговор с крестьянином, который пашет на себя в воскресенье, так как помещик заставляет его пахать барщину шесть дней в неделю. Путешественник, видя «спорую» работу крестьянина, спрашивает: «Так ли ты работаешь на господина своего?» — «Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а

[1] *А. Смит,* Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, 1935, стр. 330—332 (книга III, глава 2). Книга Смита была в библиотеке Радищева в французском переводе. См.: *Я. Л. Барсков,* Книги из собрания А. Н. Радищева — Дела и дни», 1920, кн. III, стр. 400, № 64.

[2] «Вольность», строфа 31.

[3] Там же, строфы 30 и 31.

у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. . .»

В главе «Хотилов», в «Проекте в будущем» говорится:

«. . Нисходя к ближайшим о состоянии земледелателей понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим, и опасно в неспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприемлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую и дальную, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что не свободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обработывают ее лениво, и не радеют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оного чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его дает ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледелателей мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.

«Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своея цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее; но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие! К недостатку прокормления и

одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы даже в любезнейших человека чувствиях; тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает».[1]

Нет необходимости останавливаться на правовой аргументации Радищева против рабства. Она основана на теории естественного права и естественного равенства всех людей, воспринятой в наиболее радикальной трактовке Руссо. Радищев отрицает принципиально право одного человека угнетать другого.

Характернее социально-этические аргументы Радищева. Он доказывает, что крепостничество развращает человека, морально губит рабовладельца и может погубить морально раба. «Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой робость. Тут никакой не можно быть связи, разве насилие. И сие собираяся в малую среду, властодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но побор-

---

[1] *Я. Л. Барсков* (Материалы к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, 1935, стр. 434—435) указал ряд произведений, в которых Радищев мог, казалось, почерпнуть подобные мысли помимо А. Смита. Однако из них лишь Мабли приближается к этим мыслям. Он пишет: «Возделывание земли должно быть в пренебрежении и деревни произведут лишь жалкие, скудные жатвы — при помощи рук, не одушевленных чувством собственности: ведь для других не работают с таким же пылом, как для себя». Юсти дает общую, ничего не говорящую формулу, не имеющую никакого отношения к точной экономической концепции Смита: «Когда крестьяне живут под игом рабства, то сия их судьба не соответствует ни собственному их благополучию, ни общему благу». Таким же образом и Монтескье в «Духе законов» говорит не о рабстве, а лишь о налогах: «Если власть по произволу отбирает то, что дала человеку природа, он получает отвращение к работе, и бездействие кажется ему единственным благом» (кн. XIII, гл. 2). Наконец, в своем «Наказе» Екатерина так передает Монтескье: «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом: всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет», т. е. здесь идет речь не о свободе крестьян, а лишь о праве собственности для них, а это совсем другое дело.

ники неволи, власть и острие в руках имеющие, сами ключимые в узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать свои страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любити свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека» (глава «Хотилов»). Мысль о рабах, вследствие угнетения ставших рабами по духу, отталкивает Радищева, потому что именно в порабощенном народе он видит доблести граждан, достойных быть свободными. В главе «Медное» среди продаваемых с аукциона крепостных изображен лакей злодея-помещика. «Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать не трудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главой раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь — все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах томною смертию...»

Мысль о развращении помещиков именно потому, что они рабовладельцы, проведена во всем «Путешествии». Изображая помещиков, Радищев не дает фигуры исключительные; это не редкие особи, не случайные явления в классе рабовладельцев (против таких, с их точки зрения — ненормальных, явлений ратовали и дворянские либералы), а именно нормальные случаи, типические явления. Помещик по натуре своей необходимо — зверь, ибо условия его бытия делают его зверем, — это хочет сказать Радищев. Он изображает в главе «Зайцево» помещика из дворцовых лакеев; это — человек совершенно некультурный, и вовсе не беспримерный мучитель. Но ведь дикость — типическое явление в дворянской среде, ибо рабовладелец не имеет импульса ни к благу ни к культуре. Радищев дает целую галлерею извергов-помещиков; они появляются в ряде глав книги. И если в главе «Городня» мы видим помещика, относящегося к крепостным по-человечески, то что пользы?

Сын его тем жесточе мучит своих рабов, в частности — своего раба-интеллигента, героя повести, а жена молодого барина — мучительница еще бо́льшая, чем он сам. Книга Радищева — обвинительный акт против целого класса. Радищев подчеркивает, что никакие добродетели не свойственны дворянству. Нравственная порча отравила этот класс. Разврат, продажность, бескультурье, жестокость — свойства помещиков; мы сталкиваемся с ними в книге Радищева все время: то это рассуждение о дворянских матерях, продающих своих дочерей, то сценка — разговор бывшей проститутки и сводни, выходящей замуж за барона Дурындина, с ее приятельницей, то описание помещика, почитаемого усовершенствователем земледелия, изощренно эксплоатирующего крестьян системой месячины (глава «Вышний Волочек»), и т. д. Во всей книге, если не считать старого барина в главе «Городня», лишь упоминаемого коротко (и, конечно, идеального отца в «Крестцах», нужного для изложения радищевских принципов воспитания), есть только два дворянина, нарушающих общее правило: во-первых, сам путешественник — ненавистник крепостничества (характерно, что Радищев поторопился уже в главе «Любани» отметить: «У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет»); во-вторых — г-н Крестьянкин из главы «Зайцево», но уже его фамилия, не говоря о его поведении, показывает, с каким классом этот человек.

Помещичий класс в изображении Радищева в основном состоит из существ, утерявших право на звание человека и гражданина, — от вельможи до лакея-асессора. Он гниет не только морально, но и физически. Проблема сифилиса, волнующая Радищева и всплывающая не один раз в его книге, разрешается им в социальной плоскости. Сифилис для Радищева — болезнь рабского общества, болезнь развращенного класса рабовладельцев. Вообще же отрава разврата идет в русском обществе сверху. Радищева ужасает опасность заразы, исходящей от «господ» и могущей осквернить их крепостных. Путешественник говорит Анюте (глава «Едрово») о ее женихе-крестьянине, которому угрожает опасность поехать в Питер на работу: «Не пускай его, любезная Анюта, не пускай

его: он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего и тебя любить перестанет... А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень...»

Разложению класса помещиков Радищев противопоставляет восторженную оценку достоинств народного характера. Этот контраст определяет многое даже в самом построении книги (см., например, главу «Едрово» после глав «Яжелбицы» и «Валдаи»).

В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» Радищев писал: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский... О народ, к величию и славе рожденный, если они [качества эти] обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!»

В «Путешествии» Радищев подробно обосновал свое народолюбие. Перед нами проходит целая вереница возвышенных образов; это крестьяне. Они сильны духом, они здоровы морально и физически; им принадлежит будущее. В среде крестьян мы видим и талантливых людей, и людей с развитым моральным чувством, и людей, полных высоких республиканских доблестей. Обаятельный образ труженика дан уже в главе «Любани». В систербецкой повести (глава «Чудово») матрос героически спасает погибающих на море, тогда как чиновника нельзя даже разбудить ради спасения человеческих жизней. Целая эпопея крестьянских добродетелей дана в главе «Зайцево». Жених-крестьянин, мужественно претерпевающий муки и все же не уступающий своих человеческих прав, этот герой семейных доблестей, противопоставленный звероподобным помещикам, как бы напоминает героев римских легенд. Образы античных героев стоят за образами радищевских крестьян.

В этом отношении показательна и глава «Едрово». Анюта Радищева нисколько не идиллична; Радищев постарался наделить ее всеми чертами реальной русской крестьянки; и все же образ ее необычайно возвышен; в нем проступают черты Лукреции, может быть

Порции, может быть матери Гракхов, римских матрон, героинь гражданской и семейственной доблести. Русский народ мог бы выдвинуть во множестве людей, не уступающих прославленным римлянам, если ему дать условия свободного развития, — такова мысль Радищева. В начале главы «Едрово» Радищев сравнивает пустых и развращенных дворянских жеманниц с красивыми, здоровыми, простыми крестьянками. Представительницей их и является Анюта. В самой любви Анюты Радищев подчеркивает момент стремления к материнству, серьезность ее чувств. Анюта окружена другими действующими лицами, подстать ей, — это ее жених, ее мать. Замечательна сцена, когда благородные крестьяне отвергают подачку дворянина-путешественника, порочащую их (вещь невероятная в дворянской среде, как утверждает Радищев). Недаром Анюта вырастает для Радищева в огромный обобщающий образ, недаром он говорит о ней как об учительнице жизни и правды.

В главе «Медное» мы опять встретим положительные образы крестьян. В главе «Городня» мы узнаем трагическую историю крепостного интеллигента, полного человеческого достоинства; в главе «Клин» — трогательная история слепого певца-мудреца и добродушной крестьянки; в главе «Пешки» — печальный образ крестьянки-матери.

Радищев в своем народолюбии готов даже впасть в некоторое прикрашивание крестьянства, но и это увлечение в условиях его времени имело объективно революционный смысл. Радищев идеализировал крестьян по линии выявления их гражданских добродетелей, стремясь показать, что история принадлежит народу, тогда как помещики как класс осуждены на гибель. Мысль Радищева сводится к тому, что только народ-работник вмещает в себе добродетели, глубокие, правдивые чувства, подлинное человеческое достоинство. Только люди из народа умеют по-настоящему чувствовать, по-настоящему благородно жить и действовать. Угнетатели же народа лишены даже простых человеческих достоинств. Радищев не был либерально-благодушным эгалитаристом, его отношение к характеристике борющихся классов революционно. Здесь пролегает пропасть между ним и дворянским либерализмом.

Карамзин говорил: «И крестьянки любить умеют». Радищев говорил: *только* крестьянки умеют любить, только им свойственно здоровое свободное чувство.

Такое отношение к народу определило и отношение Радищева к эстетической культуре народа. Интерес Радищева к фольклору имел иной характер, чем фольклорные увлечения русских писателей, работавших до него. Подражания народной поэзии у дворянских писателей означали допущение этой поэзии в круг явлений, признаваемых эстетически законными. Фольклоризацию более принципиальную мы видим у Чулкова и Попова. Но и у них нет, конечно, признания народной поэзии высшей ценностью, нет широкого принципиального подхода к ней. Радищев же, для которого моральная культура народа — высшая культура, видит в художественном творчестве народа основу подлинного искусства. Он совершенно чужд уважения к классическому космополитизму. Он усвоил точку зрения Гердера на национальную народную поэзию как на голоса народов и считает, что произведения индивидуальной книжной культуры должны включаться в единую систему этих голосов народа.

В главе «Клин» Радищев повествует о народном певце-слепом, поющем стих об Алексее — божьем человеке. «Неискусной хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердце его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда Клинской певец дошед до разлуки своего Ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. .» Радищев не только допускает народное искусство как факт, но заяв-

ляет, что оно в действии своем более значительно, чем «кудрявое» искусство, чуждое народу, причем основа этого предпочтения Радищева — это утверждение о более здоровом эстетическом чувстве народа по сравнению с дворянскими «жителями Москвы и Петербурга».

Уже в самом начале «Путешествия», в главе «София», Радищев говорит о русских песнях как о памятнике народного духа, долженствующем предписать правителям народа нормы их деятельности: «Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таких песен суть тону мягкого. — На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа». Следовательно, именно народ должен, по Радищеву, определять характер правления, и эстетические проявления народного духа — не забава экзотического порядка, а воплощение мировоззрения народа, выраженное, может быть, косвенно в условиях рабства.

В данной связи существенно и стремление самого Радищева творить на основе русского фольклора; см. его поэмы «Бова» (Радищев считал Бову народной сказкой, какой она в сущности и стала в XVIII веке) и «Песни древние». Вопрос о русском крестьянстве, русском народе и его возможностях интересовали Радищева ближайшим образом в слове о Ломоносове, которым он в окончательной редакции знаменательно закончил «Путешествие».

Радищев не безусловно восхищен Ломоносовым. Он хочет разобраться в проблемах жизни и творчества большого человека, едва ли не самого значительного из всех, созданных русской культурой, при том, — и это весьма важно, — человека из народа. Ломоносова во второй половине XVIII века усиленно присваивала себе официальная царская Россия; из него делали казенную икону, фальсифицируя облик великого человека. Радищев не хочет раболепствовать перед властью и в этом вопросе.

Он не хочет писать официальный панегирик. Он не признает кумиров, созданных казенными славословиями, и он развенчивает этот кумир именно как ку-

мир. Благоговейная казенщина, оскорбительная для свободной демократической мысли Радищева, может быть и побудила его выступить со своим независимым словом о Ломоносове. В этом смысле прав Пушкин, сказавший о «Слове»: «Радищев имел тайное намерение нанести удар неприкосновенной славе *росского Пиндара*». Но характерны и следующие за тем слова Пушкина: «Достойно замечания и то, что Радищев тщательно прикрыл это намерение уловками уважения и обошелся со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с верховной властию, на которую он напал с такой безумной дерзостью» («Путешествие из Москвы в Петербург»).

Радищев обвинял Ломоносова в отсутствии революционной направленности его творчества. Он упрекал его в том, что он, «следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания... льстил похвалою в стихах Елисавете». Повидимому, тот же критерий заставил Радищева недооценить научные заслуги Ломоносова. В этом смысле характерно, что он предпочитает Ломоносову-историку Тацита, Рейналя, т. е. именно историков-публицистов, пропагандистов освободительных идей, а Ломоносову-физику он предпочитает Франклина — борца за свободу Америки. Не случайно и то, что Радищев как бы ставит в пример Ломоносову-оратору только ораторов-республиканцев, революционеров или общественных деятелей свободной, по его мнению, Англии: Демосфена, Цицерона, Питта, Берка, Фокса и, наконец, Мирабо.

Тем не менее, похвалы Ломоносову, в изобилии имеющиеся в «Слове», вовсе не следует считать проявлением вежливости, уважения к общепринятому мнению или осторожности. Радищев прежде всего оправдывает Ломоносова его историческим местом, его ролью начинателя. Радищев высоко ценит гений Ломоносова. Наконец, — и это может быть самое главное, — Радищев славит в Ломоносове его страсть к науке, силу его воли, титаническую мощь его натуры, давшие возможность ему, «мужику», стать гордостью своей страны. Ломоносов для Радищева — прежде всего человек из народа. Его достоинство — проявление

народных качеств: «твердость в предприятиях, неутомимость в исполнен..и». Ломоносов показал, на что способен русский народ, русский крестьянин. И именно потому, надо думать, Радищев горько осуждает в Ломоносове его «лесть», что он жаждет видеть в русском народе своих Мирабо и Франклинов, что мысль о духовном поражении народа — для него ужасна. Однако в общем построении «Путешествия» Ломоносов — торжественное и оптимистическое заключение его. Галлерея образов крестьян обогащается уже близко к концу книги фигурой крепостного интеллигента (глава «Городня»); наконец, она заканчивается изображением гениального крестьянского сына Ломоносова.[1]

Основное социальное противоречие русской жизни, как она показана в «Путешествии», — противоречие крестьянской массы и помещиков — Радищев разрешал с позиций революционного народа; существенно важны в этом смысле и социальные оценки, данные Радищевым другим классовым группам русского общества его времени. Так, к русской буржуазии Радищев отнесся более чем подозрительно. В «Путешествии» характеристика русских буржуа дана в главе «Новгород». Радищев дает здесь типическое изображение купеческой семьи, изображение глубоко-отрицательное. Карп Дементьевич и его сын Алексей Карпович — жулики, выгодно и ловко обделывающие темные делишки. При этом они чувствуют себя в условиях российской помещичьей монархии превосходно. Они с полным удобством пристроились к делу эксплоатации народа. Они хорошо поладили с правительством Екатерины, законодательство которого предоставляет им лазейки для их мошеннических махинаций. Они совершенно развращенные люди. Ложь, фальшивое благолепие, прикрывающее разврат, пьянство, дикость — таков их отвратительный, бескультурный быт. Никаких признаков какого бы то ни было прогрессивного самосознания у радищевских купцов нет. Они совсем не похожи на философствующих, пе-

[1] О значении «Слова о Ломоносове» в идейном построении книги см. также: *Г. П. Макогоненко,* Композиция «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева — «XVIII век», сборник Института литературы Академии наук СССР, т. II (печатается).

редовых, свободных духом, величественных буржуа Седена или Мерсье.[1] Так же, как отрицательное отношение Радищева к буржуазии, характерно для него положительное, сочувственное изображение разночинца-интеллигента в главе «Подберезье». Это — семинарист, человек, жаждущий знаний, человек того круга, который дал, например, С. Е. Десницкого, переводчика Блекстона, которого так ценит радищевский семинарист (он и читал его именно в переводе Десницкого). За культуру таких людей ратует Радищев. Все это снимает вопрос о связи Радищева якобы с идеологией русской буржуазии. Радищев опирается в своей борьбе с крепостничеством не на нее, а на порабощенный народ. Конечно, он связан с традицией западной, в частности с традицией французской буржуазной революционной мысли, но это не делает его буржуазным идеологом. Вопрос этот следует решать в более широком масштабе.

Радищев принадлежит к числу столь больших деятелей культуры и социальной жизни вообще, что рассматривать его только в узко-местном, так сказать провинциальном масштабе — невозможно. Его книга принадлежит истории всей Европы, и понять ее можно лишь на фоне общеевропейского исторического движения. Радищев был рупором великой буржуазной революции конца XVIII века; он был в значительной степени воспитан революционной мыслью западной буржуазии, но он применил ее достижения к условиям

---

[1] Ср. в «Письме о китайском торге» Радищева о том, как «корыстолюбивые и немилосердные торговцы пользуются трудами» сибирских крестьян-охотников и «ими обогащаются». Ср. также в письме Радищева к Воронцову от 17 июня 1785 г.: «Из многих опытов и примеров можно видеть, что купцы, почитающиеся здесь лучшими и честнейшими в рассуждении платежа пошлин, не токмо не всегда поступают по правилам добродетели, но если где то возможно, то не соблюдают оной и наружности. Сие, кажется, есть следствие существа самыя вещи: состояние, благоденствие свое на прибытке воздвигающее, и мысленно и деятельно стремится к достижению своего предмета. Кто скажет, что способы его положены на камени честности, тот скажет невозможность в исполнении: ибо черту, отделяющую прибыток от ненарушения (в собственном понятии) благосостояния или имущества ближнего, должны назначить положительные законы и правила» («Архив кн. Воронцова», кн. XII, стр. 414).

русской действительности, к условиям борьбы русского народа за свою свободу. Нельзя при этом забывать, что в пору своего революционного наступления французская буржуазия в борьбе с феодализмом сама объединялась с широкими народными массами, что буржуазная революция на своем подъеме опиралась на движение всего угнетенного феодализмом народа. Это определяет и отношение Радищева к буржуазной мысли Запада, но с характерными и специфическими чертами, связанными с тем, что он был идеологом именно русской революции. Радищев был идеологом антифеодальных, антимонархических, антипомещичьих сил в русских условиях. Буржуазные — в западноевропейском аспекте — идеи его преломлялись в этих условиях в том смысле, что в них акцентировались именно элементы народного, т. е. в условиях его времени — прежде всего крестьянского мировоззрения.

Радищев показывает крепостничество как страшное зло — с самых различных точек зрения. Он показывает, что оно несправедливо, рисует жестокие картины дикого произвола помещиков, издевательства над крепостными, беспредельной эксплоатации их. Он доказывает, что крепостное право и незаконно. С подлинно революционным пафосом он требует его ликвидации.

При этом заслуживает внимания тот факт, что Радищев поставил с полной отчетливостью вопрос о социальном характере самого освобождения крестьян, к которому он стремился. Вопрос о земле, о том, кому должна принадлежать земля — крестьянину или помещику, еще долго после Радищева вызывал дискуссии. Еще у декабристов мы встретим взгляд о желательности освобождения крестьян без земли, т. е. с сохранением экономической власти помещиков. Решение вопроса о земле вплоть до середины XIX века, да и позднее, было одним из показателей революционного характера мировоззрения того или иного социального мыслителя. Радищев опередил свое время, разрешив этот кардинальный вопрос наиболее революционно, стремясь к полному устранению преобладания дворянства, становясь на крестьянскую точку зрения. Он требовал освобождения крестьян с передачей им всей земли.

В главе «Хотилов» («Проект в будущем») говорится: «Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет? Не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные?.. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу... Следовательно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обрабатывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалилися мы от первоначального общественного положения относительно владения! У нас тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чужую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого!» Таким образом Радищев утверждает, что земля должна принадлежать только тому, кто ее обрабатывает. В конце главы, в проекте закона об освобождении крестьян Радищев пишет: «Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемой, должны они иметь собственностию».

13

Решение вопроса о крепостном праве определяет радищевское отношение к проблемам политического бытия России. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» — это, конечно, в первую очередь крепостничество, но это в то же время — вообще русская, помещичья, чиновничья, царская государственность, русская монархия. Радищев — решительный противник монархии; он без сомнения считал единственно положительной формой правления республику. В частности, российская деспотия, самодержавие, вызывает его негодование. Еще в 1773 г. в примечании к своему переводу книги Мабли «Размышления о греческой истории» Радищев писал: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние; мы не токмо не можем дать над собою неограниченной

власти, но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь права собственныя сохранности» и т. д. В «Путешествии» Радищев неоднократно говорит о царской власти — и всегда в направлении полного и безоговорочного принципиального осуждения ее. Ода «Вольность» в основном посвящена именно вопросу о монархии, причем Радищев проклинает ее. В общем Екатерина была совершенно права, когда писала в своих заметках о «Путешествии», что «сочинитель везде ищет случай придраться к царю и власти» и в другом месте: «Сочинитель не любит царей и, где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостию».

С вопросом о деспотии Радищев в оде «Вольность» теснейшим образом связывает вопрос о бюрократии и церкви. Союз церкви и монархии он рисует в строфе 10-й оды, после того как дана уничтожающая характеристика реакционной роли церкви в обществе:

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает,
Союзно [т. е. вместе] общество гнетут:
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится; —
«На пользу общую», — рекут.

Бюрократия, различные звенья правительственной машины и различные представители ее проходят целой вереницей образов и зарисовок в «Путешествии». Радищев подчеркивает бесчеловечие, тупость, жестокость всей системы власти в России его времени, развращение властей, начиная от вельмож и вплоть до мелких чиновников. Все эти «деятели» правительства — враждебная народу сила, пьющая из него кровь. Вступив в борьбу с крепостнической монархией, Радищев не только показал ее механизм как систему произвола и угнетения, так сказать вообще, но показал конкретные черты ее в России в XVIII столетии. Его книга вообще исключительно конкретна; она дает совершенно точные данные о социальной жизни его страны и его времени. Ставя проблему монархии, Радищев имел в виду и монархию вообще и непосредственно деятельность Екатерины II и Потемкина. Радищев был вполне в курсе всех правительственных дел.

В главе «Спасская полесть» Радищев говорит о царе; этот царь — Екатерина, и вся глава представляет собой суровое разоблачение официальной лжи о российской монархии, активно проповедывавшейся правительством и самой Екатериной и в России и за границей. И тут же, как бы подчеркивая конкретность ряда злободневных намеков, рассеянных в этой главе, Радищев говорит о самом себе и о своей книге. Существенно важно для понимания отношения Радищева к русской монархии то, что он понимает классово-эгоистический характер правительства помещиков и его законодательства. Перед ним стоял вопрос о внутренней связи самодержавия со всем аппаратом его бюрократии и помещичьей власти, крепостничества. Радищевская постановка этого вопроса подвергнута рассмотрению в специальной статье покойного П. Г. Любомирова, к сожалению, до сих пор не напечатанной, причем выясняется, что Радищев считал крепостничество основой, а самодержавие — следствием. В самом деле, не только общее построение «Путешествия» говорит в пользу такого вывода, но и отдельные положения, изложенные в книге. Так, значительно в этом смысле знаменитое заключение главы «Медное» о всех тех, «кто бы мог свободе поборствовать», но, являясь «великими отчинниками», не захотят «советовать» власти освободить крестьян. Следовательно, Радищев понимает, что царское правительство потому именно не дает свободы, что оно слушается «великих отчинников», что оно в руках у помещиков и в первую очередь у крупных помещиков. Классовый характер действий правительства императоров подчеркнут и в «Проекте в будущем», в главе «Хотилов»; здесь будущий царь обращается к своим подданным: «Известно вам из деяний отцев ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старалися положить предел стоглавому сему злу [т. е. крепостничеству]. Но державные их подвиги утщетилися известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиносостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впадшим, дворянством наследственным. Державные предки наши, среди могущества сил ски-

петра своего, немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнить своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиносостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила...» Наконец, яркая картина классовой сущности практики правительства Екатерины дана в главе «Зайцево». Крестьяне, восставшие против своего помещика и убившие его и его сыновей, должны быть осуждены на мучительное наказание уголовной палатой. Председатель ее, Крестьянкин, считает восставших против угнетателя рабов невиновными. Против него за это ратуют все, как один, члены палаты, поддержанные наместником. Они клевещут на Крестьянкина, обвиняют его в том, что он получил взятку; затем они выдвигают классовый аргумент: «Председателю нашему, — вещали они, — сродно защищать убийство крестьян [т. е. убийство, совершенное крестьянами]. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал бы в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение». Но наиболее веский аргумент судей-крепостников таков: «По их мнению при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, — говорили они, — отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий». Итак, крестьяне должны быть подвергнуты казни не в угоду какому бы то ни было понятию о праве, не ради принципа, пусть и неправильного, а ради сохранения власти угнетателей народа. Помещичий суд — не суд, а лишь орудие угнетения порабощенной массы. Практика помещичьего правительства и в частности суда, как это показывает Радищев, обосновывается лишь задачей грубого подавления, классового террора. Не на право опирается помещичий строй и не нормами юридическими или государствен-

ными, общественными руководится он, а опирается он на откровенное насилие и руководствуется классовым эгоизмом помещиков. Вывод из всего этого ясен: общество обязано пресечь губительную власть монархии и помещиков; против насилия есть лишь один способ борьбы: насилие же. Так перед Радищевым и перед его читателем ставится вопрос о революции.

Радищев знает, что тиранство монарха не есть результат случайных низких моральных свойств его. Он знает, что вопрос о монархе есть общий вопрос о монархии. В «Песне исторической» Радищев писал по поводу смерти Тиверия:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий.
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит,
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.

Спасти народ от тирании помещиков и царя может одно: революция, — такова мысль Радищева.

Нет необходимости останавливаться на опровержении буржуазных фальсификаторских взглядов на Радищева Милюкова и иже с ним, изображавших Радищева либералом, отрицавших его революционность, заявлявших, что Радищев обращался со своей книгой к Екатерине и что он якобы хотел договориться с ней, ожидал от нее реформ, отречения от основ ее власти. Все эти поклепы на Радищева, откровенные извращения его учения слишком явно ложны. Нелепо истолкование сна в «Спасской полести» как обращения к Екатерине. Было бы глупостью, безумием со стороны Радищева писать о Екатерине такие смелые вещи, задевать ее лично, даже как человека, даже как женщину, если бы он хоть на секунду мог надеяться убедить царицу. Да разве сам Радищев не закончил свое «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» словами: «. . . нет и до скончания мира примера может быть не будет, чтоб царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле».

Знаменитое и уже цитированное заключение главы «Медное» в «Путешествии» недвусмысленно

отвергает возможность всякого сомнения в данном вопросе: «...свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения».

Это — призыв к революции и именно к народной, крестьянской революции, уверенность в ее неизбежности. Екатерина II, которая гораздо более точно определила мировоззрение Радищева, чем буржуазные историки, по поводу этого места его книги записала: «то есть надежду полагает на бунт от мужиков». С этой формулировкой приходится согласиться полностью. Вообще Екатерина не ошиблась в своей характеристике революционности позиций Радищева. В своих замечаниях на «Путешествие» она писала: «...ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властем, к привлечению народа в негодование противу начальников и начальства»; «все сие клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства»; «проскакивают паки слова, клонящиеся к возмущению», «с 350 до 369 [страниц] содержит, по случие будто стихотворчеству, ода, совершенно явно и ясно бунтовской, где царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские». Храповицкому Екатерина сказала о Радищеве, «что он бунтовщик хуже Пугачева». Итак, Екатерина считала Радищева сторонником и провозвестником крестьянской революции.

Та же мысль, что в конце главы «Медное», изложена Радищевым в «Житии Ушакова». Речь идет о гофмейстере (начальнике) русских студентов в Лейпциге Бокуме. «Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами, что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства [т. е. монархии]. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его

трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего то притеснители частные и общие, *по счастию человечества,* не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, *и даждь господи, да в неведении своем пребудут ослеплены навсегда,* не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и, в оборот, то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. *Пребуди, благое неведение, всецело, пребуди нерушимо до окончания века, в тебе почила сохранность страждущего общества! Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего!»*

Неужели же можно думать, что написавший последнюю приведенную фразу хотел убедить царицу, т. е. сделать то, что он считал преступлением. Наоборот, он заявляет, что безумие властителей приводит к революции; поэтому он благословляет это безумие; следовательно, он считает революцию благом и жаждет скорейшего ее наступления.

Революцию в России Радищев представляет себе как крестьянскую революцию. Он проанализировал все основные группы общества своей родины и убедился, что резервуар революционных возможностей — прежде всего крестьянство. Буржуазия, как мы видели, не была в его глазах (и совершенно справедливо) носительницей революции.

Как и к вопросу о крепостном праве, к вопросу о революции Радищев подходит многосторонне. Он зовет ее со всем пафосом подлинно-революционного писателя, он оправдывает ее с правовой точки зрения, он считает ее неизбежной как историк.

Радищев считает революцию единственным путем завоевания свободы для народа. В реформы сверху он не верит. Он превосходно понимает, что одними правами народа без применения силы ничего не добьешься: в главе «Новгород» он пишет: «Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было

всегда в исполнении почитаемо пустым словом». В главе «Едрово» говорится: «но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет». В главе «Хотилов» Радищев показывает губительность рабства, крепостничества, и говорит, что это бедствие «долговременно и всегда» и «премениться не может, разве опасным всегда потрясением всея внутренности»; «опасным всегда» — это потому сказано, что данный текст вложен в уста царю; мысль же о том, что потрясение — единственный путь ликвидации неволи, — радищевская. Далее в той же главе, говоря о грядущем восстании крепостных, Радищев выражается так: «уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец *или любитель человечества,* возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах». В главе «Вышний Волочек», описывая помещика, доведшего эксплоатацию крестьян до чудовищных пределов, Радищев как бы произносит монолог, содержащий недвусмысленные призывы к восстанию: «Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалось его мучительство...» В главе «Городня» читаем: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои!» Наконец, специально теме революции посвящена ода «Вольность», содержащая страстное прославление революции — и именно революции народной (Радищев в оде связывает революцию против царя с освобождением народа от гнета рабства).

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.

Ликуйте, склепанны народы.
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.[1]

Революционный народ призовет царя на суд и осудит его на казнь.

Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
На вече *весь* течет *народ*,
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог;
Законом строит твердь природы,
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог.[2]

День революции — «избраннейший всех дней», и его зовет Радищев.

Радищев изучает вопрос о революции в правовом отношении и находит, что революция законна. Он не только желает ее, но и оправдывает ее теоретически, рационально. Уже в главе «Любани» он ставит этот вопрос, пока как будто в общеэтической плоскости: «Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может». Подробно этот вопрос освещен в главе «Зайцево».

Эта глава — может быть центральная в «Путешествии» по своей смысловой насыщенности. Показав образчик ужасающего мучительства крестьян помещиком, издевательства над ними, Радищев рассказывает о восстании крестьян и об убийстве помещиков. Итак — перед нами образчик не только крепостнических порядков, но и крестьянского восстания. Радищев изучает черты этого восстания и обсуждает вопрос о праве крестьян на восстание. И он целиком оправдывает восставших крестьян.

В самом изображении восстания характерны черты героизма крестьян, но, может быть, еще значительнее те черты классовой солидарности, которые Радищев подчеркивает у крестьян, черты зрелого революционного гнева, пусть преувеличенные в их сознательности, но все же показывающие отношение Радищева к рево-

[1] «Вольность», строфа 14.
[2] Там же, строфа 25.

люционным возможностям народа вообще. «Между тем, шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина, и имея сердце, озлобленное против своих господ, его заступили... Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися».

И вот Радищев вместе с Крестьянкиным судит восставших крестьян, противопоставивших насилие насилию. Он заявляет прямо, что крестьяне имели право, что они должны были сделать то, что сделали.

«Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оного сам убитый асессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц для меня, по крайней мере, была математическая ясность. Если идущу мне, нападет на меня злодей, и вознесши над головою кинжал, восхочет меня им пронзить, убийцею ли я почтуся, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну... Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?» Затем у наместника Крестьянкин произносит речь, где развивает свои теоретические положения, которые оправдывают восстание крестьян, исходя из теории естественного права. «Гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная его сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством». Когда он мучил крестьян, «тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, неотъемлемая законом положитель-

ным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдывает, опираясь на доводах рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна...» «Тот, кто дерзнет его [всякого гражданина] уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имеяй довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную».

Аналогичное теоретическое обоснование права народа на революцию, — речь идет здесь уже о настоящей всенародной революции, — дано в оде «Вольность». Сама по себе теория естественного права в ее революционной трактовке была известна Радищеву из западной философской и политической литературы, в частности из произведений Руссо. Но Радищев сделал самостоятельные конкретные выводы из этой теории в применении к России, — причем выводы такой отчетливости и революционной силы, каких он не мог почерпнуть у своих французских учителей.

Именно конкретность мышления Радищева побудила его поставить вопрос о революции, — и конкретно о русской революции, — не только в том смысле, что она желательна и законна, но и в том смысле, что она неизбежна, что она произойдет даже независимо от того, хочет ли ее сам Радищев или любой другой политический деятель, или не хочет. Здесь Радищев перестает быть «теоретиком» и становится на почву фактов истории. Здесь он делает первый шаг к преодолению метафизического рассмотрения вопросов политики, характерного для французских просветителей XVIII столетия. Перед Радищевым стоит вопрос о том, каковы реальные возможности революции в России, т. е. насколько русский народ способен к восстанию. Он пытается разрешить этот вопрос, исходя из изучения национального характера русского народа и из объективных исторических условий, в которые он поставлен. Он считает, что и то и другое предрешает неизбежность революции.

Уже в самом начале «Путешествия» мы находим характерное замечание: «Посмотри на русского чело-

века; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку, или как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак, идущий в кабак, повеся голову и возвращающийся, обагренный кровию от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в истории Российской».[1]

В главе «Зайцево» дается такой прогноз на основе изучения народного характера: «Я приметил из многочисленных примеров, что Русской народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость».

Пример, приведенный Радищевым в изображении миниатюрного крестьянского восстания в главе «Зайцево», говорит о том же. Радищев считает, что угнетение крестьян приводит их к восстанию, что крестьянство *может* восстать — и восстанет. В главе «Хотилов» читаем: «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам [т. е. дворянам; ведь я цитирую «манифест», «Проект в будущем». — *Гр. Г.*] предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться не возможет. Таковы суть братии наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства [напоминаю, что текст взят из «манифеста». — *Гр. Г.*] разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее вы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем».

Далее Радищев переходит к изображению пугачевского восстания. Чрезвычайно важны те места «Путешествия», в которых говорится об этом восстании. Не-

---

[1] Бурлаками в XVIII веке называли не только рабочих, тянувших суда бечевой, но и вообще крестьян, работавших по найму в отходе.

обходимо отметить, что Радищев был единственным из всех писателей XVIII и начала XIX века, который осмелился говорить о пугачевцах не только без ужаса и ненависти, не только без осуждения, но с сочувствием. Пугачевское восстание является для него доказательством того, что порабощенный народ России каждое мгновение готов подняться против своих угнетателей. В то же время Радищев трезво относится к пугачевскому движению и к крестьянским восстаниям вообще. Он видит очень хорошо стихийный характер таких восстаний, отсутствие в них идеологически осознанной революционной программы. Он видит, что от пугачевского восстания до той революции, которую он предсказывает и призывает в Россию, еще далеко. Именно поэтому Радищев и говорил о грядущей революции: «Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие» (глава «Городня»), и в другом месте: «О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...» (глава «Черная грязь»).

О пугачевском восстании в «Проекте в будущем» сказано:

«Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих. Прельщенные грубым самозванцем, текут ему во след и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселия мщения, нежели пользу сотрясения уз.

«Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся».

О Пугачевском восстании Радищев говорит еще раз в главе «Едрово».

Настаивая на неизбежности революции и прославляя ее, Радищев должен был отвести обычное в его время (да и позднее) возражение, связанное с вопро-

сами культуры и государственного строительства. Как же быть с культурой, кто будет управлять государством? Ведь дворянские идеологи и даже дворянские либералы считали, что именно культура, дворянская «честь», традиции дворянства оправдывают его привилегии и господствующее положение, что народ один без помещичьего руководства не сможет сохранить государства. Подобные теории выдвигают и у Радищева крепостники-судьи против Крестьянкина (в главе «Зайцево»). Радищев отвечает помещичьим идеологам в том месте главы «Городня», часть которого я уже приводил:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои. Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они другого о себе мыслей и права угнетения лишенны».

Революционная, народная культура — вот что придет, по мнению Радищева, на смену эксплоататорской, помещичьей; и здесь он мыслит вполне последовательно-революционно.

14

Радищев мог говорить о неизбежности революции в России, потому что в его мировоззрении, хотя и взрощенном идеями французских просветителей, играли уже роль известные элементы историзма, исторического мышления. В этой особенности радищевского мировоззрения и заключается в значительной мере его своеобразие. В самом деле, Радищев не был эпигоном Руссо или тем более Рейналя. На основе богатства идей, добытого всей передовой мыслью человечества в его время, он строил свою собственную систему революционной мысли. Теории естественного права и общественного договора претерпели в его руках существенное изменение именно в силу того, что он становился на путь исторического осмысления фактов государственного и социального вообще бытия чело-

вечества. Конечно, уже теория географического и климатического предопределения, намеченная Монтескье, может быть даже некоторые отдельные черты работ Вольтера о веке Людовика XIV, или его «Essai sur les Moeurs et l'Esprit des Nations» и др., или, например, «Discours sur les progrès successifs de l'esprit humain» Тюрго, или, наконец, интерес Мабли к таким, например, явлениям, как история роли парламентов во Франции и тому подобные факты в развитии обществоведческой мысли французских просветителей, — конечно, все они уже подготовляли до известной степени почву для построений исторического характера. Но в основном механистичность, антиисторизм мышления французских ведущих писателей XVIII столетия все же не может вызвать сомнений. Для них все же человек и государство суть понятия всегда себе равные в отношении историческом, и практика истории определяется неразумием или разумом ее носителей.[1]

Развитие мысли Радищева от механического «естественного права» к конкретно-историческому пониманию человека было предопределено тенденциями русской демократической мысли до него. Эти же русские традиции отчасти определили обращение Радищева и к другим новым источникам в самой западной культуре, помимо Вольтера, Гельвеция или Руссо. Нужно оговорить здесь же, что конечно именно Руссо был той основой, на которой строил свое социальное мировоззрение Радищев. Но те осложнения и видоизменения, которые Радищев внес в заимствованное у Руссо, он взял не у французов вообще.[2] Строго говоря, он ни откуда не взял эти особенности своего мышления, но создал их сам на почве русской действительности. Однако мы можем говорить о тех импульсах извне, которые могли помочь ему в данном направлении.

---

[1] Ведь даже Руссо считал, что поскольку тема его социальных сочинений интересует «человека вообще», он должен говорить языком и понятиями, «которые подходят всем народам, или, вернее, забывая время и место» (предисловие к «Рассуждению о происхождении и основах неравенства среди людей»).

[2] Может быть, впрочем, в этом отношении на Радищева могли оказать воздействие элементы диалектики в философии Дидро, хотя они у Дидро возникают не в историческом, а скорей в естественнонаучном мышлении.

Десницкий и Аничков, излагая свои взгляды на земное происхождение религии, значительно отступали от французских просветителей-рационалистов, полагавших, что религию придумали и навязали народам сознательные обманщики — жрецы и тираны. Десницкий и Аничков считали, что религия родилась на основе психологических фактов и переживаний первобытного человека. Правда, в их теории психологический и социальный момент, взятый отвлеченно, играл значительно бо́льшую роль, чем исторический, но все же наличествовал и этот последний. Взгляды Десницкого и Аничкова не оригинальны в своей основе. Они восходят к английской школе философов, к Юму и Адаму Смиту, хотя, без сомнения, французская передовая мысль наложила известный отпечаток на мышление московских профессоров. Именно Юм отстаивал мысль о том, что религия является результатом психологических данных человека, именно он предсказал историко-психологический подход к проблеме религии, как он и проблемы морали стремился обосновать не рационалистической дедукцией, а эмпирическим изучением психологии социального человека. В последнем его союзником был его друг Адам Смит. Однако следует подчеркнуть, что и у Юма и у Смита психологизм имеет все же в столь же малой степени исторический характер, как и у Аничкова. При этом свойственная Юму тенденция оправдания веры, хотя бы и не имеющей достоверности знания, так же, как морализм сентиментального типа, дающий себе чувствовать в «Теории нравственных чувств» Смита, несколько отделяют обоих английских мыслителей от их русских учеников. Наконец, Десницкого отличает от англичан социологизм его построения. Несомненно, не мог не знать работ Юма и Смита по вопросам религии и этики и Радищев. И непосредственно из этих работ и через русских учеников Юма и Смита он должен был воспринять то новое, что было ими внесено в методологию изучения социальных функций человека, причем он воспринимал эти новые методы, преломляя их в своем революционном сознании.

Тот же Юм был автором «Истории Англии», весьма популярной в XVIII веке во всей Европе; эту работу пропагандировал и Десницкий. Из «Истории Англии»

Юма Радищев почерпнул те сведения о Кромвеле, которые составили характеристику его, данную в оде «Вольность».[1] Труд Гиббона «История упадка и разрушения римской империи» также был хорошо известен во время Радищева каждому сколько-нибудь интересовавшемуся историческими вопросами. Наконец, Радищев знал сочиненную Робертсоном «Историю Америки». В этих трудах осуществлялась подготовка к формированию исторических воззрений и накопление материалов для них.

Попытки подойти к пониманию истории как единого и закономерного процесса, попытки понять факты истории в принципиальной их связи друг с другом и с окружающей человека природой начались в XVIII столетии, пожалуй, с Вико с его «Основами новой науки об общей природе народов» (1725). Предшественником Гердера считается И. Изелин, издавший в 1764 г. «Философские предположения об истории человечества». Наконец, Гердер построил свою концепцию всемирно-исторического процесса и как бы начал эпоху историзма в передовом мышлении человечества. Радищев воспринял от Гердера все, что тот мог ему дать. Он знал работы Гердера хорошо. В письме-показании Шешковскому — Радищев сообщил: «Читая Гердера, я начал писать о цензуре», т. е. главу «Торжок». В «Путешествии» в главе «Торжок» он цитирует или, вернее, сокращенно перелагает сочинение Гердера «Vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Regierung» (1780). При этом Радищев ссылается на Гердера как на авторитет и приводит его мнения с сочувствием, как мнения единомышленника, хотя бы по данному вопросу, т. е. по вопросу о цензуре. Впрочем, приводя мысли Гердера, которые согласны с его собственными мыслями, Радищев не упоминает о расхождениях, бывших на самом деле; и это доказывает, что он считал выигрышным для себя сослаться на Гердера хоть там, где это было воз-

[1] См. у Юма — глава 63. Впрочем, в отличие от Радищева, Юм относится с симпатией к Карлу I и осуждает его казнь. Восторженная статья о Кромвеле была дана в большой французской энциклопедии. Ср.: «О государственном правлении и разных родах оного из Енкиклопедии», пер. Ив. Туманский, Спб. 1770, стр. 109—114 — слово «Покровитель».

можно. Повидимому, именно Гердер обратил внимание Радищева на тот глубокий смысл, который имеет фольклорное народное искусство. Уже русская традиция собирания народных песен и поверий, работы Чулкова и Попова обратили внимание Радищева на поэзию народа. Но обратиться к народному искусству как выразителю народного духа, национального характера Радищев мог под влиянием Гердера. Правда, следует подчеркнуть, что Гердер не мог научить увидеть в народной песне показатель социальной судьбы данного народа, увидеть то, что увидел Радищев в поисках уразумения революционных возможностей его. Но методологически Гердер, повидимому, все же помог Радищеву в этом вопросе.

В трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» Радищев приводит в пример своей мысли поэзию разных народов; он пишет: «Если бы здесь место было делать пространные сравнения, то бы в пример списал некоторые места из *Гюлистани* Саадиева, из европейских и арабских, мне известных стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана». Понимание Гомера и Оссиана как поэтов, выросших на специфической почве национальных культур и фольклора, восходит, повидимому, к блестящей статье Гердера «Ueber Ossian und die Lieder alter Völker» (1773),[1] а самый интерес к экзотической поэзии продиктован знаменитым сборником народных песен Гердера.

Именно в предисловии к этой книге Гердер изложил свои взгляды на богатства национальной культуры народов, запечатленные в слове. Гердер утверждает, что величайшие поэты творили на основе народной песни, что безыскусственная народная песня более непосредственно художественна, чем «правильное», логическое, выученное искусство. Между прочим, Гердер придает большое значение «иррациональным» элементам народной песни, в частности мелодии. Все это нашло свое отражение у Радищева; вспомним у него предпочтение клинского певца Габриелли и Тоди, его размышления о мягком тоне русской народной песни. Я полагаю, что самый стиль Радищева, его архаиче-

[1] От этой же статьи идет мысль о необходимости переводить поэтов прошлого размером подлинника, высказанная Радищевым в «Путешествии» в главе «Тверь».

ская и славянизированная манера выражения своих мыслей отчасти связана с тем движением мысли, которое на ранней своей стадии было выражено именно Гердером, считавшим, что чем древнее, скажем, песня, чем более столетий устояла она в движении истории, тем больше воздействует она на душу народа. В поэме Радищева «Песни древние» явны отклики и мыслей Гердера и песен, приведенных в сборнике «Volkslieder».

Уже было давно указано,[1] что в философской работе «О человеке» Радищев очень и очень широко использовал сочинение Гердера «Ideen zur Geschichte der Menschheit», т. е. именно то сочинение, в котором изложены философия истории и исторические концепции Гердера. Первый том этого сочинения вышел в 1784 г., второй — в 1786 г., третий и последний — в 1787 г. Радищев писал свой философский трактат в Сибири, видимо в 1792 г. Следовательно, он следил за работами Гердера и самым внимательным образом изучал их вскоре после выхода их в свет. Впрочем, надо указать, что Радищев использовал для своего трактата в частности первый и второй томы «Идей к истории человечества».[2]

В своем философском трактате целые части Радищев излагает непосредственно по Гердеру; он приводит примеры, взятые из Гердера, иногда следует ему почти дословно. Это вовсе не значит, что Радищев как философ целиком является последователем Гердера. Наоборот, во многом, пожалуй — в основном, он скорей ученик материалистов — Гольбаха, Пристли. Религиозный характер мировоззрения Гердера неприемлем для Радищева. Тем не менее Гердер произвел на него сильное впечатление, был ему чем-то близок. Нет сомнения в том, что именно историческая концепция Гердера, его стремление охватить всю мировую историю единством своего понимания человеческой культуры, глубокое понимание народной культуры, чуждое шовинистических черт и в то же время высоко ценящее понятие о национальном достоинстве всех на-

---

[1] См.: *И. И. Лапшин,* Философские воззрения Радищева, 1922.

[2] Кроме «Ideen» Радищев использовал в своем трактате еще одну работу Гердера, диалоги «Ueber die Seelenwanderung» — см.: *Лапшин,* ук. соч.

родов, — все это импонировало Радищеву, так же как постоянно выражаемая Гердером ненависть к тиранам, к рабству, к угнетению, его гуманизм, его связь с просветительским движением.

Историческая концепция Гердера имеет в высшей степени ограниченный характер. Гердер выдвигает на первый план факторы природы, климата, географического положения страны и народа в качестве основных определителей данной культуры. Он исходит от Монтескье, но превращает его принцип в закон истории, закон развития человечества. Тем самым он преодолевает тенденцию французов XVIII века (свойственную даже и Монтескье) — видеть в исторических образованиях результат лишь правильного или, наоборот, неправильного, произвольного законодательства. При этом географизм Гердера крайне сужает его точку зрения, поскольку он отодвигает в тень или совсем игнорирует социальный характер исторических фактов. Правда, Гердер заявляет, что культура каждого народа определяется «отчасти органическими данными и климатом, отчасти же руководится традицией», правда, он учитывает такие понятия, как «гений, дух» данного народа, учитывает и сложность культурной жизни цивилизованных народов, факты влияний и т. п. (книга VIII, главы 2—4). Однако в его изложении традиции народов и их культуры и подобные вторичные факторы образованы, в конце концов, теми же факторами природы, климата, отчасти факторами антропологическими, в лучшем случае — условиями промыслов, определенными опять-таки климатическими условиями. Структура общества как определитель Гердером не учитывается почти совсем. Счастье человека для Гердера — факт индивидуальный, субъективный, определяемый его отношениями родственными, дружескими и т. п., в свою очередь определяемыми внесоциально (книга III, глава 5). При характеристике этапов развития человечества Гердер говорит и о структуре общества (например, о «Римской иерархии» в эпоху феодализма); однако эта структура не представляет для него первостепенного интереса, поскольку он не придает ей значения определителя индивидуальной культуры, да и культура человечества движется у него помимо социального устройства человечества.

Радищев усвоил географическую или климатическую теорию Гердера. Но сразу же надо сказать, что эта теория занимает в его концепции исторического человека весьма второстепенное место. В «Путешествии» мы вовсе не встретим отражений ее. В трактате «О человеке» мы находим ее след:

«Физические причины, на умственность человеческую действующие, можно разделить на два рода: одни действуют повременно, и действие оных наипаче приметно бывает над единственными людьми... Другие же причины действуют неприметным образом, и сии суть общественны, и действия оных приметны над целыми народами и обществами. Хотя смеялися над славным Монтескье, что он мнение о действии климата основал на замороженном телячьем языке,[1] но если вникнуть, что климат действует на все тела без различия, а паче на все жидкости, на воздух, лучи солнечные и проч., что роза, пересаженная из одной страны в другую, теряет свою красоту; что человек хотя везде человек, но сколь он отличен в одной своей внешности и виде своем, то действие климата, если не мгновенно, то оно чрезвычайно, и что оно человека погубляет, так сказать, неприметно и без явного принуждения. Возьми в пример европейцев, переселяющихся в Индию, Африку и Америку, какая в них ужасная перемена! Англичанин в Бенгале забыл великую хартию и habeas corpus; он паче всякого индейского набоба.

«Наипаче действие естественности явно становится в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям. Если бы здесь место было делать пространные сравнения, то бы в пример списал некоторые места из *Гюлистани* Саадиева, из европейских и арабских мне известных стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана. Различие областей, где они живали, всякому явно бы стало; увидели бы, что воображение их образовалося всегда окрест их лежащею природою. Воображение Саадиево гуляет, летает в цветящемся саду, Оссианово несется на утлом древе поверх валов. А если кто захочет сделать сравнение

[1] Ср. у Гердера: «Даже великому Монтескье делали упрек в том, что он основал свой климатический Дух законов на обманчивом опыте с бараньим языком» (книга VII, глава 3).

исповеданий и мифологий народов, в разных концах земли обитающих, то сколь соображение каждого образовалось внешностию, никто не усумнится. Индейские боги купаются в водах млечных и сахарных;[1] Один пьет пиво из черепа низложенного врага».

Однако для Радищева климатические условия менее важны, чем экономическая потребность, чем факты социальные. Продолжая рассуждение, начало которого приведено выше, он также пользуется материалами Гердера, но акцентирует, выдвигает на первый план то, что у Гердера в тени, и усиливает социальный характер фактов, у Гердера включенных скорее в природный ряд.

Радищев продолжает:

«Но если климат и вообще естественность на умственность человека столь сильно действует, то паче того образуется она обычаями, нравами, а первый учитель в изобретениях был недостаток. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположениями. Живущий при водах изобрел ладью и сети; странствующий в лесах и бродящий по горам изобрел лук и стрелы и первой был воин; обитавший в лугах, зелению и цветами испещренных, удомовил миролюбивых зверей и стал скотоводитель. Какой случай был к изобретению земледелия, определить невозможно: как бы то ни было, земледелие произвело раздел земли на области, государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, рукоделии, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! — он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу, и облекши его багряницею, поставил на алтарь превыше всех, воскурил ему фимиам. Но, наскучив своею

---

[1] Гердер, поясняя примером мысль, что «Мифология каждого народа является отпечатком своеобразного характера его воззрения на природу, в частности отпечатком того, находил ли он в ней, в зависимости от своего климата и духа, больше блага или же зла...», говорит об индийской мифологии: «их боги купаются в молочных и сахарных водах» (книга VIII, глава 2).

мечтою и стряхнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого...»

В этом конспекте истории человечества Радищев пользуется текстом Гердера. Но Гердер выдвигает вперед условия климата и природы, Радищев же — зависимость изобретений от потребности (Гердер вообще склонен уменьшить роль потребностей — радищевского «недостатка» — как таковых).[1] Заключение рассуждения Радищева, о земледелии, сходно в деталях с Гердером: «Вообще никакой образ жизни не произвел столь многих изменений в образе мыслей людей, как хлебопашество на огороженном участке земли. Поскольку оно вызвало к жизни промысла и художества, селения и города, а следовательно обусловило и установление законов и государства, оно неизбежно открыло дорогу к тому ужасному деспотизму, который, так как он находил каждого на своем поле, в конце концов предписал каждому, что именно он должен делать и чем он должен быть на этом участке земли. При нем уже не земля принадлежала человеку, а человек — земле».[2]

Но вот что характерно: Радищеву были близки слова Гердера о деспотизме, как и следующие за приведенными фразы Гердера о зле неравенства. Но Гердер остановился на словах о зле. Радищев в цитированном месте, излагая «шествие разума человеческого», указывает после тех этапов, которые есть и у Гердера, еще один: наступает революция, и земледелец, «стряхнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание».

И еще одна деталь: Гердер говорит об изменениях в человеческой *психике,* произведенных земледелием на определенном ограниченном месте земли; ему пред-

---

[1] См.: *Гердер,* ук. соч., книга VIII, глава 3.

[2] Далее Гердер пишет: «Ощущение жизненных сил исчезло вследствие их неупотребления: погруженный в рабство и малодушие, угнетенный человек перешел от трудолюбия и нужды к изнеженности и роскоши. Отсюда произошло то, что во всем мире кочевник считает, что житель хижины — скованное вьючное животное, захиревший ублюдок человеческого рода». Ср. с этим у Радищева в «Путешествии»: «Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме» (глава «Пешки»).

ставляется существенной именно прикрепленность человека к данному месту. В спокойно-повествовательной манере говорит он выше: «Даже там, где введено хлебопашество, было трудно прикрепить человека к клочку земли и ввести понятие моего и твоего». Радищев говорит об этом совсем иначе — и не по Гердеру, а по Руссо, — см. формулу Руссо: «Первый человек, который, оградив участок земли, решился сказать: *это мое* и нашел людей, достаточно наивных, чтобы ему поверить, был основателем гражданского общества». [1]

Для Радищева вопросы исторического понимания действительности — это прежде всего вопросы обоснования исторической неизбежности революции. Он пытается строить научный прогноз будущего. Материалами для такого прогноза в его сознании являются, во-первых, общая концепция законов истории, предрешающих судьбу России, и, во-вторых, конкретное изучение национального характера русского народа и экономико-политического положения его. Все это построение Радищева следует признать оригинальным плодом его гения, пошедшего дальше его учителей, как французских, так и английских и немецких.

В. П. Семенников указал уже на то, что в оде «Вольность» заключена концепция непосредственного перехода одного политического состояния в другое, ему противоположное, и указал также, что Радищев почерпнул материал для этой концепции, повидимому, из книги Фергюсона «Опыт о истории гражданского общества». [2]

Следует присмотреться к этому вопросу и уточнить его. В строфах 38—41 оды «Вольность» Радищев описывает процесс превращения римской республики в тиранию, изображаемый им как закономерный. Затем он пишет:

Сей был и есть закон природы,
Неизменимый никогда;
Ему подвластны все народы,
Незримо правит он всегда:
Мучительство, стреся пределы,
Отравы полны свои стрелы
В себя, не ведая, вонзит;

---

[1] Начало второй части «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей».

[2] *В. П. Семенников,* Радищев, 1923, стр. 21.

Равенство казнию восставит:
Едину власть, вселясь, раздавит,
Обидой право обновит.

Дойдешь до меты совершенства,
В стезях препоны прескочив,
В сожитии найдёшь блаженство,
Несчастных жребий облегчив;
И паче солнца возблистаешь,
О вольность, вольность, да скончаешь
Со вечностью ты свой полет:
Но корень благ твой истощится.
Свобода в наглость превратится,
И власти под ярмом падет.[1]

В печатном тексте «Путешествия» Радищев кратко изложил содержание этих строф: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» Затем, в ответах на пункты допроса во время следствия Радищев так объяснил эту идею своей оды: «Читая историю всех времен и всех столетий и видя, что все бывшие царства подвержены были переменам и переходили из хорошего в худое состояния и из худого в хорошее, и продолжавшись многие столетия, рушились, я думал, что и всякое государство будет тому же подвержено».[2]

Таким образом Радищев полагал, что история движется как бы качанием маятника. Это же движение он генерализировал и в области интеллектуальной культуры. В «Путешествии» в главе «Подберезье» он так изображает ход общественной мысли в религиозной области на протяжении ряда столетий: «Христианское общество в начале было смиренно, кротко, скрывалося в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалося суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразования, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие;

---

[1] «Вольность», строфы 42—43.

[2] Мысль о смерти всех государств, более или менее долголетних, но не вечных, была высказана Руссо в «Общественном договоре».

истина нашла любителей, попрала огромный оплот предрассуждений, но не долго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалася необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию». [1]

Как видим, концепция исторического закона маятника у Радищева имеет пессимистический характер. Я полагаю, что в основе этого пессимизма лежит изучение Радищевым исторического материала, относящегося к буржуазной революции, в частности к той революции, результаты которой он мог уже учитывать, — к революции английской. Радищев видел, что из этой революции родилась новая система подавления человека человеком, система в значительной мере определившаяся как капиталистическая. Именно глубоким проникновением, — пусть больше чутьем, чем сознанием, — в ограниченный характер буржуазной революции, именно этим прозрением того, что она несет народам не только освобождение от феодализма, но и новые цепи, следует объяснить пессимизм Радищева. Его идеал революции, всенародной и до конца освобождающей народ, не соответствовал практике буржуазных революций. [2]

В связи со сказанным стоит и то осторожное отношение к первоначальному этапу французской революции, которое проскользнуло в «Путешествии» в главе «Торжок» («О Франция! ты еще хождаешь близ ба-

---

[1] Радищев имеет здесь в виду увлечение масонской мистикой.

[2] Пусть не покажется невероятной мысль о том, что Радищев видел и понимал наступление силы буржуазии, несущей новое неравенство. Эту силу видел и Мабли. Он писал, например, о новой республике Соединенных штатов Америки: «Уже давно европейская политика, основанная на деньгах и на торговле, заставила исчезнуть древние добродетели... Я опасаюсь, что богатые будут стремиться составить отдельную группу в государстве и захватить все влияние в нем, тогда как другие, гордые равенством, которое им обещали, откажутся примириться с таким положением; и отсюда неизбежно должен произошли раздор в государстве...» (Oeuvres complètes de l'abbé de Mably, t. XVI, 1797, p. 116).

стильских пропастей») — несмотря даже на общее восторженное его отношение к Мирабо и т. п. Этот пункт проясняется, если вспомнить безоговорочно восторженное отношение Радищева к американской революции 1774—1783 гг. Нет необходимости напоминать полные подъема строфы оды «Вольность» о «словутой стране» Америке, о ее борьбе за свободу, о Вашингтоне, как нет необходимости приводить слова о Франклине из «Слова о Ломоносове». Само собой разумеется, что последствий образования Соединенных штатов, того цветения буржуазного строя, который уже мог увидеть Пушкин, Радищев не мог знать, когда он, например, писал оду «Вольность». Для него революция в Америке была победоносной, не имевшей Кромвеля, «сокрушившего твердь свободы» и подготовившего реставрацию. Но еще важнее другое: для него американская революция была революцией именно всенародной, произведенной в первую очередь американскими пахарями, схватившими оружие для защиты своей свободы. Для него американская республика была республикой свободных тружеников. Именно такое впечатление должно было создаться у Радищева об американской войне за независимость, после чтения книги Рейналя «Révolution de l'Amérique» (1781), которую он знал и отклики которой есть в оде «Вольность» и в «Слове о Ломоносове». [1]

Рейналь говорит о том, как в начале борьбы с Англией «многие земледельцы покидают плуг, чтобы научиться в мастерских ремеслам», чтобы возместить отказ от импорта из Англии; он называет американский народ «земледельческим и молодым»; он с восторгом пишет: «Народы узнали с удивлением, что шесть тысяч хорошо дисциплинированных солдат старого света положили оружие перед земледельцами нового света, предводительствуемыми счастливым Гэтом», и опять — о том, что Англия не ожидала, что «мирные земледельцы Америки успеют научиться искусству войны» так быстро; говоря о падении духа героизма в американской армии, Рейналь замечает: «Это были земледельцы, купцы, юристы, упражнявшиеся лишь в мир-

---

[1] См.: *В. П. Семенников,* Радищев, 1923, стр. 5—6.

ных занятиях, и их вели на опасности руководители, столь же мало опытные в сложнейшей науке сражений, как и их подчиненные».[1] На Радищева не мог не произвести впечатления рассказ Рейналя о восьмидесятилетнем старике-американце, «которого хотели отослать [из армии] к его очагу» и который воскликнул: «Моя смерть может быть полезной; я прикрою своим телом более молодого, чем я», или о некоем Пэтнеме, который сказал пленному роялисту: «Вернись к твоему начальнику, и если он спросит, сколько у меня войск, ответь ему, что у меня их достаточно; что если ему удастся побить их, у меня все еще останется достаточно; и что он в конце концов узнает, что у меня их больше, чем нужно для него и для тиранов, которым он служит».[2] Наконец, Радищев читал у Рейналя такое описание американского народа: «Рассеянные на огромном континенте, свободные, как природа, которая их окружает, среди скал, гор, широких долин пустыни, на краю лесов, где все еще дико и ничто не напоминает ни рабства, ни тирании человека, они, мнится, получают от всех предметов физического мира уроки свободы и независимости. К тому же эти народы, почти все занятые земледелием, торговлей, полезными трудами, которые возвышают и укрепляют душу, создавая нравы простые, так же далекие до сих пор от богатства, как и от бедности, — не могут еще быть испорчены ни излишеством роскоши, ни излишеством потребностей. Именно в этом состоянии человек, который пользуется свободой, может ее сохранить и выказать ревность к защите наследственного права, которое представляется самой надежной гарантией всех других».[3] Говоря в оде «Вольность» о революци-

[1] *Рейналь,* ук. соч., стр. 15, 24, 111, 112—113, 124. Цитирую (в переводе) по изданию в одном томике; в том же году вышло распространенное издание этой же книги Рейналя под названием: «Tableau et révolutions des colonies angloises dans l'Amérique septentrionale», — в двух томиках; указанные места есть и в этом издании.

[2] *Рейналь,* ук. соч., стр. 126.

[3] Там же, стр. 13—14. Мабли в своей работе «Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amérique» говорит о Пенсильвании, что ее жители — большей частью земледельцы, а не коммерсанты. О Георгии он говорит, что ее население — земледельцы (Oeuvres complètes de l'abbé de Mably,

онном народе, о «воине непоколебимом», которого «вождь — свобода, Вашингтон», Радищев изображал воинов Америки именно как ополчение всего народа, и именно этого же он ждал в России, стране земледельцев. Революция в Америке казалась ему ближайшим образцом революции в России. Поэтому, обращаясь к Америке в своей оде, Радищев восклицал:

Ликуешь ты! а мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все жаждем.

Но надежды на скорое осуществление чаяний революции в России у Радищева не было.

Еще одно частное применение теории маятника мы находим у Радищева в отношении России. Наблюдая стремление русского государства к постоянному территориальному расширению, он считает, что это расширение должно привести к ослаблению связей между частями государства, привести к своей противоположности — к распадению его на мелкие государства, которые революция превратит в союз, в федерацию свободных стран.

Он пишет в оде «Вольность»:

И будет, вслед гремящей славы
Направя бодрственно полет,
На Запад, Юг, Восток, державы
Своей ширить предел...

Но дале чем источник власти,
Слабее членов тем союз,
Между собой все чужды части,
Всяк тяжесть ощущает уз.
Лучу, истекшу из светила,
Сопутствует и блеск и сила;
В пространстве — он теряет мощь;
В ключе хотя не угасает,
Но бег его ослабевает;
Ползущего глотает нощь.

В тебе, когда союз прервется,
Стончает мненья крепка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всяк будет свою часть;

---

t. XVI, 1797, p. 145 et 148—149). Впрочем, следует указать, что Мабли менее радикален, чем Радищев. Он считал конституцию Пенсильвании слишком демократичной, относясь при этом вообще с симпатией к Соединенным штатам.

Тогда, растерзанно мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись внутренно, падет...

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят,
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом.[1]

Радищев считал такое распадение единого государства на малые и образование союза их — явлением положительным, одним из благ революции. Он и в этом отношении указывает России путь американских колоний, в борьбе за свободу создавших Соединенные штаты. Мабли, один из учителей Радищева, также приветствовал такую организацию нового американского государства. В своей работе «Observations sur le gouvernement et les loix des États-Unis d'Amérique», в письме первом, адресованном посланнику Соединенных штатов в Голландии, он писал: «Для американцев большое преимущество, что тринадцать штатов не объединили свои установления, свою независимость и свою свободу, чтобы образовать одну республику, которая установила бы единые законы и признала бы единые органы управления... Как можно было бы утвердить власть законов в столь обширных пространствах вашей страны? Как могли бы не ослабнуть пружины администрации, отдаляясь от центра, который приводил бы их в движение? Как могла бдительность распространяться повсюду равномерно, чтобы предупредить или заставить исчезнуть злоупотребления? Обратное решение, принятое колониями, — образование федеративной республики, сохраняя каждой из них ее независимость, может дать законам всю ту силу, которая необходима, чтобы ее уважали».[2]

И Мабли и Радищев следовали в данном вопросе Руссо, который в своем «Общественном договоре» до-

---

[1] «Вольность», строфы 48—51.

[2] Oeuvres complètes de l'abbé de Mably, t. XVI, 1797, p. 101—102.

казывал, что «чем более государство увеличивается, тем более свобода уменьшается», который учил, что «увеличение государства предоставляет лицам, у которых сосредоточена власть в обществе, больше соблазнов и возможностей злоупотребить властью» (книга III, глава 1). Говоря об условиях, при которых возможно осуществление демократии, Руссо в первую очередь называет: «очень малое государство, где народ легко собрать и где каждый гражданин может легко знать всех других» (книга III, глава 5).

В свою очередь Гердер писал:

«Ничто, кажется, не противодействует в такой мере цели управления государством, как неестественное увеличение его, дикое смешение человеческих родов и народов под одним скипетром. Человеческая власть слишком слаба и мала, чтобы к ней могли быть привиты столь противоречивые части; таким образом они бывают склеены в ломкий механизм, который носит название государственного механизма, — без внутренней жизни и симпатии частей друг к другу... Но история достаточно ясно показывает, что эти сооружения человеческой гордости сделаны из глины и, как всякая глина на земле, ломаются и растекаются».[1]

Пессимизм радищевской концепции буржуазной революции не был, однако, точкой зрения, определявшей общий пессимистический характер мировоззрения Радищева. Во всяком случае, если в оде «Вольность» и даже в «Путешествии» мы видим черты этого пессимизма, то в Сибири, несмотря на потрясения процесса и ссылки, Радищев преодолевает его. Едва ли мы можем сказать в настоящее время, что было тому причиной, — сведения ли об успехах французской революции, подымавшие дух множества людей во всей Европе, чтение ли такого исторического оптимиста, каким был Гердер, проповедывавший, что человечество движется к идеалу гуманности и просвещения, или, может быть, неожиданное сознание того, что он, Радищев, не один, что его поддерживает хотя бы морально так много людей, от Воронцова и кончая сибирскими крестьянами, или, может быть, все это вместе взятое и еще другие обстоятельства, — но только Радищев

---

[1] «Ideen zur Geschichte der Menschheit», книга IX, глава 4.

в своих сибирских работах высказывает убеждение в поступательном ходе человечества, становится на точку зрения прогресса как основы его истории, причем акцентирует бесконечность совершенствования. В трактате «О человеке» Радищев писал «. . . Стремление к совершенствованию, приращение в совершенствовании кажется быть метою мысленного существа, и в сем заключается его блаженство; но сему стремлению к совершенствованию, сколь оно ни ограниченно есть, предела и конца означить невозможно; ибо чем выше человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются ему виды. Подстрекаем всегдашним стремлением, мета его есть шествие беспрестанное, почти бесконечное, и поелику мысленности существенно [т. е. видимо, — имманенто], то и сама вечность на достижение сия меты недостаточна».

В другом месте трактата Радищев пишет: «. .Сколь один народ от другого ни отличествует, однако, вообразя возможность, что он может усовершенствоваться, найдем, что может он быть равен другому, что индейцы, древние греки, европейцы, суть по среде на стезе совершенствования». Повидимому, здесь у Радищева мы имеем отзвук представления о движении человечества как о росте единого организма, несколько наивно изложенного Изелином в его «Философских предположениях об истории человечества» (1764; переработка в 1768 г.). По Изелину эпоха истории древнего Востока — это детство человечества, Греция и Рим — юность его, со времени Возрождения наступает мужественный возраст. Радищев, как видим, иначе оценивает этапы истории человечества, приближаясь более к Гердеру, который, продолжая Изелина, считал, однако, уже Рим — эпохой мужества, зрелости.

Мы не можем в настоящее время сказать, достиг ли Радищев синтеза двух точек зрения — теории «маятника» и теории прогресса, — или это противоречие осталось для него неразрешенным. Ему открывалась возможность найти объединение обоих представлений в концепции спиралеобразного движения истории, при котором каждый этап поступательного хода ее, хотя и сопровождающийся откатом в реакцию, приводит потом, при новом подъеме, к шагу вперед, к движению на новой ступени.

Во всяком случае, обе концепции, изложенные Радищевым, приводили его к одинаковому прогнозу в отношении к будущему России на данном этапе ее развития. Здесь важно было именно убеждение в наличии неизменяемого закона исторического процесса, закона, предопределяющего неизбежность революционного переустройства русского государства, неизбежность освобождения русского народа от феодального рабства.

Не менее существенно и то обстоятельство, что Радищев исходил в своем прогнозе из изучения конкретного материала русской народной культуры. Здесь важен был метод, применяя который, Радищев преодолевал механистичность и внеисторизм французского просвещения. В усвоении этого метода Радищев идет вместе со многими деятелями европейского искусства, — именно искусства в первую очередь, — закладывавшими основы романтического мышления. И для Радищева человек — уже не конгломерат рационализированных, всегда и повсюду себе равных способностей, психо-физических элементов, а живая индивидуальность. И для Радищева народ и его культура также представляются индивидуальным единством этнографического и исторического типа; он говорит: «При рассмотрении умственных сил человека явственно становится различие в оных примечаемое не токмо у одного народа с другим, но у человека с человеком» («О человеке»). Но при этом Радищев с силой выдвигает на первый план именно социально-исторические категории определения индивидуальности, специфически оформляющие у него этнографический и фольклорный материал.

Только понимание действительности жизни народа как исторически формирующейся и исторически своеобразно протекающей, только понимание народа как живой творческой индивидуальности, не сходной в своих судьбах с другими народами, только отказ от механистичности политико-юридических представлений рационализма и отказ от схематического декретирования эстетики классицизма — сделали возможным обращение западноевропейской мысли к фольклорным свидетельствам народного духа, — к предромантическим поискам древних истоков культуры народов, характерным

для эпохи созидания антифеодальной эстетики второй половины XVIII столетия. Сборник баллад и песен Перси, макферсоновская подделка оссиановской поэзии, «древнегерманские» оды Клопштока, работы Гердера по пропаганде поэзии различных народов — все это были проявления движения к историческому осознанию бытия народов. И радищевская работа в данном направлении стоит в этом же ряду. Его интерес к русскому фольклору не был просто поисками литературной экзотики. В русской народной песне он искал отпечатка свойств русского народа, его исторически сложившегося характера и — в этом специфическая черта радищевского подхода — его будущей судьбы, его возможностей в смысле революционного действия. Русская старина для Радищева — не сфера удаления от современности, а сфера ориентирования в ней. Формы старинной русской поэзии являются для него проявлением того творческого национального духа, к восстановлению которого он стремится, выступая против дворянской космополитической культуры. Пафос гражданской демократической героики, а не феодальный консерватизм, побуждает Радищева писать поэму «Песни древние», попытку воссоздания бытия и психологии древних славян; и к «Слову о полку Игореве», использованному Радищевым в этой поэме, он относится именно в этом же плане.

Деятельность отдельных выдающихся членов общества Радищев стремится оценить, исходя не из отвлеченных схем морального или политического, тем более эстетического идеала.[1] В этом отношении замеча-

---

[1] Радищев преодолел полностью схематизм эстетики классицизма. Он вступил в борьбу с классическими правилами, с «томными предписаниями», начертанными «хладнокровными критиками». Как истинный предшественник романтизма, он вообще отрицает возможность рецептов в искусстве, в частности отрицает риторику, теорию словесности как нормативную дисциплину. Он видит основание эстетических критериев не в закономерности произведения, а в его субъективной характерности. Он протестует против каких-либо предвзятых ограничений индивидуальности в ее творчестве. Произведение возникает, с точки зрения Радищева, лишь как продукт неповторимого индивидуального момента данной личной творческой энергии в данных исторических условиях. Он говорит о великих ораторах: «Правила их речи почерпаемы в обстоятель-

тельно «Слово о Ломоносове». Радищев во многом не согласен с Ломоносовым. Но оценка деятельности и творчества Ломоносова строится у него не на основе согласия или несогласия. Радищев «оправдывает» Ломоносова, исходя из его исторического места; он высоко ценит заслуги Ломоносова — именно потому, что ценит их исторически, стремясь показать их значение в развитии русской культуры и литературы в свое время и на своем месте. Такой подход был новостью в русской критике, новостью, значение которой невозможно переоценить. Попытку осмыслить исторически деятельность Петра I находим у Радищева в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске».

Изображение отдельных обыкновенных, «рядовых» людей у Радищева в «Путешествии» подчинено тому же закону, причем историческое определение человека здесь приобретает по преимуществу характер социального его определения. Социальная типичность таких образов, как асессор в главе «Зайцево», или Анюта в главе «Едрово», или Карп Дементьевич в главе «Новгород», не снимающая индивидуализации этих образов, является органическим проявлением радищевского подхода к проблемам личности. Этот подход, характеризующий метод Радищева как революционный, отличает его от преромантиков западной литературы. В общем смысле в данном вопросе Радищев испытал влияние, с одной стороны, художественное, идущее от французской литературы, главным образом буржуазной драмы второй половины XVIII столетия, с другой стороны — методологическое, идущее, например, от Юма как автора «Истории Англии» (или, может быть, отчасти даже от Рейналя), которые фактам социального порядка уделяли относительно значительное внимание.

И в данном вопросе, как и во всех других, Радищев усвоил огромное количество идеологических достижений передовой культуры Запада, с тем, чтобы самостоятельно, творчески, революционно осмыслить их в своей собственной концепции действительности.

ствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии». Природа, история и личная гениальность творит великих людей и великие произведения, а вовсе не выучка, не холодное размышление или следование образцам.

«Путешествие из Петербурга в Москву» представляет собой далеко не заурядное художественное произведение. Это вовсе не политический трактат, лишь условно оформленный беллетристически; это книга глубокая и совершенная в непосредственно-эстетическом смысле, а не только в отношении чисто идейном. Радищев был блестящим мастером, художником слова, и его книга — одно из замечательнейших явлений русской художественной литературы.

Как художественное произведение, «Путешествие» вобрало в себя наиболее прогрессивные течения западной литературной мысли, в такой же мере, как мировоззрение Радищева вообще построено на элементах западной революционной идеологии, что не мешает ему быть и в художественном смысле глубоко оригинальным и вполне русским литературным явлением.

«Путешествие из Петербурга в Москву» остро ставит перед литературоведом вопрос о реалистических элементах русской литературы второй половины XVIII столетия. Книга Радищева является произведением «зрителя без очков», как назвал автора «Путешествия» А. Р. Воронцов,[1] из всех писателей XVIII века наиболее прямо, наиболее правдиво, наиболее отчетливо видевшего и изображавшего действительность. Это было обусловлено глубокой прогрессивностью, революционностью всего мировоззрения Радищева. Однако при изучении радищевского творчества в данной плоскости следует учесть те тенденции накопления реалистических элементов, которые были в русской литературе его времени. Необходимо прежде всего сказать, что законченной системы художественного реализма как цельного литературного мировоззрения, как оформившегося стиля, русское словесное искусство XVIII века создать не могло. Преобладающий стиль русской литературы XVIII века, классицизм, в его русской, преимущественно дворянской формации, по существу противоречил реалистическому подходу к действительности. Тем не менее, в литературе эпохи классицизма

---

[1] См. письмо Радищева к А. Р. Воронцову от 15 марта 1791 г.

и тем более в период распадения его в 1780—1790-х гг., мы наблюдаем образование реалистической струи, рождение элементов, которые были использованы впоследствии — и главным образом Пушкиным, истинным создателем русского реализма, при построении законченной системы реалистического стиля.

Элементы реализма рождались в русской литературе XVIII столетия на разных ее участках, — даже внутри самой классической школы. В самом деле, нельзя не видеть одной из побед на пути к реализму в «Недоросле». Между тем Фонвизин вырос как писатель в литературной среде русского дворянского классицизма 1760-х гг., в школе Сумарокова и Хераскова. На всю жизнь его мышление во многом было сковано схемами этой школы. Рационалистическое понимание мира, характерное для классицизма, сильно сказывается в творчестве Фонвизина. Человек и для него чаще всего — не столько реальная индивидуальность, сколько механический конгломерат отвлеченно мыслимых «способностей», по учению психологии этой эпохи. Если человек, с другой стороны, представлялся классической поэзии не столько самоценной моральной и общественной категорией, сколько единицей абстрактной классификации, то и у Фонвизина чаще всего персонажи строятся не по закону индивидуального характера, а по заранее данной и ограниченной схеме морально-социальных норм. Мы видим сутягу — и только сутягу, галломана Иванушку — и весь состав его роли построен на одной-двух нотах, солдафона Бригадира, — и кроме солдафонства в нем мало характерных черт. Таков метод классицизма — показывать не живых людей, а отдельные пороки или чувства, показывать не быт, а схему социальных взаимоотношений. Отрицательные комические персонажи в комедиях, в сатирических очерках схематизируются. Самая традиция называть их значащими именами вырастает на основе метода, сводящего содержание характеристики персонажа по преимуществу к той самой черте, которая закреплена его именем. Появляется взяточник Взяткин, дурак Слабоумцев, «халда» Халдина, сорванец Сорванцов, правдолюбец Правдин и т. д. При этом — черта, характерная для русского дворянского классицизма: он органически делит всех

людей на дворян и «прочих». Дворяне характеризуются способностями, моральными наклонностями, чувствами и т. п. Ср. в их фамилиях: Правдин или Скотинин, Милон или Простаков, Добролюбов или Дурыкин; такова же диференциация и характеристика в тексте соответствующих произведений. Наоборот, «прочие», «неблагородные» характеризуются прежде всего своей профессией, сословием, местом в системе общества: Кутейкин, Цыфиркин, Цезуркин и т. д. Дворяне для этой системы мысли — все же люди по преимуществу, остальные же выступают в качестве носителей общих черт своей социальной принадлежности, достойной или же несимпатичной, в зависимости от отношения данной социальной категории к политической концепции Фонвизина или же Сумарокова, Хераскова и т. д.

Для писателя-классика типично самое отношение к традиции, к отстоявшимся ролям-маскам литературного произведения, к привычным и постоянно повторяющимся стилистическим формулам. И Фонвизин свободно оперирует такими готовыми, данными ему готовой традицией формулами и масками. Какой-нибудь Добролюбов в «Бригадире» повторяет идеальных влюбленных комедий Сумарокова. Советник — обычный подьячий, пришедший к Фонвизину из сатирических статей того же Сумарокова, так же как петиметрша-советница многократно фигурировала уже в пьесах и статьях дофонвизинской комедии. Фонвизин в пределах своего классического метода не ищет новых индивидуальных тем. Мир представляется ему давно расчисленным, разложенным на типические черты, общество — расклассифицированным дворянским «разумом», предопределившим консерватизм оценок и застывших конфигураций «способностей» и социальных масок. Самые жанры отстоялись, предписаны правилами и продемонстрированы образцами. Сатирическая статья — от Адиссона до Сумарокова, комедия, торжественная похвальная речь высокого стиля (у Фонвизина — «Слово на выздоровление Павла» и т. д.) — все незыблемо и не требует изобретательства автора, все связывает его схемой консерватизма иерархии «разумных» ценностей.

Видя в человеке не личность, а единицу социальной или моральной схемы общества, Фонвизин в своей

классической манере антипсихологичен; он пишет некролог-биографию своего учителя и друга Никиты Панина. В этой статье есть горячая политическая мысль, политический пафос; есть в ней и послужной список героя, есть и гражданское прославление его; но нет в ней человека, личности, среды, в конце концов — биографии. Это — «житие», схема идеальной жизни, — не святого, конечно, а политического деятеля, как его понимал Фонвизин. Еще более заметна антипсихологическая манера Фонвизина в его мемуарах. Они названы: «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», но раскрытия внутренней жизни в этих мемуарах почти нет. Между тем Фонвизин сам ставит свои мемуары в связь с «Исповедью» Руссо, хотя тут же характерно противопоставляет свой замысел замыслу последнего. В своих мемуарах Фонвизин — блестящий бытописатель и сатирик прежде всего; индивидуалистическое автораскрытие, гениально разрешенное в книге Руссо, чуждо ему; он все еще и здесь видит мир как неподвижный механический комплекс застывших типов, пороков, чувств, добродетелей, предметов и сословий. Мемуары в его руках превращаются в серию нравоучительных зарисовок типа сатирических писем-статей журналистики 1760—1780-х гг. Фонвизин здесь ближе к Сен-Симону, чем к Руссо.

Люди у Фонвизина-классика статичны. Бригадир, Советник, Иванушка, Улита (в раннем «Недоросле») и т. д. и т. д. — они все даны с самого начала и не развиваются в процессе движения произведения. В первом действии «Бригадира», в экспозиции, они сами прямо и недвусмысленно определяют все черты своих схем-характеров, и в дальнейшем мы видим лишь комические комбинации и столкновения тех же черт, причем эти столкновения не отражаются на внутренней структуре каждой роли. Затем — характерно для Фонвизина словесное определение масок. Солдатская речь Бригадира, подьяческая — советника, петиметрская — Иванушки в сущности исчерпывают характеристику. За вычетом речевой характеристики не остается иных, индивидуально-человеческих черт. И все они острят; острят дураки и умные, злые и добрые, — потому что мир «Бригадира» — все же

мир классической комедии, а в ней все должно быть смешно и «замысловато». Между подлинной жизнью и художественным произведением становится схема жанра, отвлеченное правило искусства, закон искусства, предписаний жизни, строящий свою картину действительности. Эта была крепкая, мощная система мысли, дававшая значительный эстетический эффект в своих специфических формах и великолепно реализованная не только в «Бригадире», но и в сатирических статьях Фонвизина.

Фонвизин остается классиком в жанре, расцветшем в иной, предромантичной литературно-идеологической среде — в художественных мемуарах. Он придерживается внешних канонов классицизма и в своих комедиях, в которых выдержаны и обязательные три единства, как и другие правила школы. Он чаще всего чужд интереса к сюжетной стороне произведения.

В ряде произведений Фонвизина — в раннем «Недоросле», в «Выборе гувернера», в «Бригадире», в повести «Калисфен» — сюжет — только рамка, более или менее условная. «Бригадир», например, построен как ряд комических сцен и — прежде всего — ряд объяснений в любви: Иванушки и Советницы, Советника и Бригадирши, Бригадира и Советницы, и всем этим парам противопоставлена — не столько в движении сюжета, сколько на плоскости схематического контраста — пара образцовых влюбленных: Добролюбов и София. Действия в комедии почти что нет. «Бригадир» очень напоминает в смысле построения сумароковские фарсы с парадирующей перед зрителем галлереей комических персонажей.

Даже самому убежденному, самому рьяному классику в русской дворянской литературе — Сумарокову — было трудно, пожалуй даже невозможно совсем не видеть и не изображать конкретные черты действительности, оставаться только в мире, созданном «разумом» и законами отвлеченного искусства. Выходить из этого мира обязывало прежде всего недовольство настоящим, действительным миром.

Для русского дворянского классика конкретная индивидуальная реальность — зло; она вторгается, как отклонение от нормы, в мир рационалистического идеала; она не может быть оформлена в «разумных»

абстрактных формулах. Но она есть, — это знают и Сумароков и Фонвизин. Общество живет не нормальной, не «разумной» жизнью. С этим приходится считаться и бороться.

«Положительные» явления в общественной жизни и для Сумарокова и для Фонвизина нормальны и разумны, они подчинены логике отвлеченной схемы. Отрицательные — выпадают из схемы и представляются во всей их мучительной для классика индивидуальности. Отсюда в сатирических жанрах (еще у Сумарокова) в русском классицизме рождается стремление показать конкретно-реальные черты действительности. «Положительные» герои и темы даются отвлеченно; отрицательные — в их отрицательной (для классика) реальной конкретности. Сумароков враждебно относится к этой конкретности и, борясь с ней, показывает ее. Таким образом в русском классицизме реальность конкретного жизненного факта возникала как сатирическая тема, с признаком определенного и осуждающего авторского отношения. Басни, сатиры, поздние комедии, статьи Сумарокова достаточно характерны в этом смысле.

Позиция Фонвизина в этом вопросе сложнее. Напряженность политической борьбы толкала его на более радикальные шаги в отношении к восприятию и изображению реальной действительности, враждебной ему, обступившей его со всех сторон, угрожавшей всему его мировоззрению. Борьба активизировала его жизненную зоркость. Он ставит вопрос об общественной активности писателя-гражданина, о воздействии на жизнь, более остром, чем это могли сделать дворянские писатели до него. «При дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено.. может ли истина свободно изъясняться?» — пишет Фонвизин в повести «Калисфен». И вот перед ним задача — изъяснить истину. Возникает новый идеал писателя-бойца, напоминающий идеал передового деятеля литературы и публицистики западного просветительского движения. Фонвизин сближается с буржуазно-прогрессивной мыслью Запада на почве своего либерализма, неприятия тирании и рабства, борьбы за свой общественный идеал. «Горе государям, которые властвуют над рабами» — говорит некий «восточный государь»

у Гельвеция;[1] не это ли самое говорит Стародум Правдину в «Недоросле»?

Почему в России почти нет культуры красноречия? — ставит вопрос Фонвизин в «Друге честных людей» и отвечает: «Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия не пустою хвалою, но Претурою, Архонциями и Консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тирянина». Итак, отсутствие свободы, гнет тирании, отсутствие общественной жизни, недопущение граждан к участию в политической жизни страны — вот, по Фонвизину, причина отсутствия красноречия; искусство и политическая деятельность связаны друг с другом теснейшим образом. Для Фонвизина писатель — страж общего блага, «полезный советодатель государю, а иногда и спаситель сограждан своих и отечества».

Так вместо «бесстрастия» классической поэзии возникает активная, политически насыщенная литература, полная практической жизненной силы, неспособная отказаться от вглядывания в жизнь, поскольку она хочет бороться с нею и во имя ее. Естественно, что в своей литературной работе Фонвизин не мог быть только последователем дворянского классицизма.

Сцена, место действия в комедиях Сумарокова прежде всего — театральная площадка, подмостки, условное место спектакля. Комические маски не живут на сцене, а демонстрируют свои карикатурные черты в безвоздушном пространстве. Они выходят, говорят и при этом обращаются со своей речью больше к публике, чем друг к другу, стараясь каждым своим словом выявить свой лейтмотив. Действующие лица сопоставлены механически, они не окружены средой, плотным ощущением атмосферы дома, быта, жизни, социального чувства жизни. Механический рациона-

[1] *Гельвеций,* Об уме, 1917, перевод под ред. Э. Л. Радлова.

лизм, видевший в обществе сумму отдельных сословий или вообще отвлеченных элементов, выразился и в этой манере классического театра.

Фонвизин, во многом связанный с Сумароковым и его учителями — французскими классиками, в этом исключительно важном вопросе решительно порывает с его традицией. Он учится в этом отношении не у Реньяра или Леграна, как и не у Сумарокова, а у Дидро с его декларативными драмами нового «сентиментального» типа. У него на сцене начинает появляться жизнь; вернее — жизнь вторгается у него на сцену, и тем самым, конечно, в принципе отменяется классическая схема; потому что это — не гротескная жизнь мира комедии классицизма, не возвышенная надчеловеческая схема жизни мира трагедии, а просто жизнь людей. Рождается новый метод видения действительности, еще сложно переплетающийся у Фонвизина с традиционным наследием классицизма.

Уже в «Бригадире» Фонвизин вводит зрителя (и читателя) в дом Советника и заставляет его присутствовать при быте этого дома. На сцене разливают и пьют чай, загадывают на картах, играют в карты, в шахматы. Актеры говорят не в зрительный зал, а друг другу, разрушается прямолинейное движение речевой темы каждой роли, темы автохарактеристики. Актеры перебрасываются карточными терминами по ходу игры и т. п., т. е. появляется словесный материал, сущность которого не в чистом развитии отвлеченной темы, а в воспроизведении жизненной ситуации; слово не само по себе декламируется актером, а сопровождает житейское действие человека, которого должен воплотить актер. Еще гораздо более отчетливо видна эта реалистическая установка в «Недоросле». Шестнадцать лет, отделяющие «Недоросля» от «Бригадира», не прошли даром для Фонвизина в данном отношении. Фонвизин видел на русской сцене успех «мещанской драмы» Бомарше «Евгения», в которой быт в его самых интимных проявлениях демонстративно показан зрителю. В Париже он видел превосходный театр, строящий сценическую систему, заданную буржуазной драматургией Седена, Мерсье и др. Семья становится героем драматургии. Обыденный быт в этой традиции провозглашается ареной траги-

ческих коллизий, более значительных, чем борьба отвлеченного чувства с аристократической честью классической трагедии. Домашняя жизнь — принципиальная тема буржуазной драматургии. Эта жизнь не только показана на сцене, но и движется за сценой, обволакивает все действие пьесы.

«Недоросль» построен как картина одной семьи, семьи Простаковых — Скотининых. Фонвизин вводит нас в бытовой интерьер этой семьи. Дом Простаковых — центральный мотив его изображения. Пьеса сразу, с самого начала вводит зрителя в быт семьи — сценой примеривания нового кафтана. Затем на сцене урок Митрофана, за сценой — семейный обед с семейным скандалом; и опять — характерное различие в подаче разнокачественного материала: Милон, Правдин, Стародум отвлеченно ораторствуют на отвлеченной сцене, Простаковы, учителя, слуги живут повседневной жизнью в реальной бытовой среде. Это — люди, а не абстрактные существа, хотя в построении их ролей еще много от классического метода, люди, связанные с породившей их средой. Человек становится социальным фактом в новом, не рационалистическом смысле. Фонвизин ставит проблему изображения человека, развернутую и решенную литературой уже в следующем столетии. Он преодолевает классицизм, еще сильно сказывающийся в его собственных произведениях, даже в «Недоросле».

Преодоление классицизма Фонвизиным сказалось и в наиболее трудном, наиболее ответственном для него вопросе — в вопросе построения сценического характера. Здесь он в наибольшей степени связан еще схематизмом классической манеры. И все же в его комедиях, среди масок-карикатур и идеальных схем, впервые на русской сцене возникают живые люди. Уже в «Бригадире»: если Советница, Советник, Иван, Софья, Добролюбов — маски, хотя, кроме двух последних, весьма яркие, если они условно распределены на два лагеря — дурных и хороших схем, то, например, Бригадирша — фигура нового типа. Недаром роль Бригадирши поразила современников своей жизненностью. Фонвизин учится у западных мастеров видеть в своем герое человека. Роль Бригадирши сложна. Бригадирша осуждена автором за глупость, скупость, невежество,

крохоборство, и в этом отношении она обычный, хоть и усложненный отрицательный персонаж классической комедии; но она в то же время несчастная женщина, забитая солдафоном-мужем и все-таки преданная ему, она мать, умиляющаяся, глядя на своего сына, — и минутами ее жалко. Существенно здесь именно то, что Бригадирша — не хорошая и не плохая; она человек, и несмотря на то, что в ней до крайности искалечен идеал человека и дворянина, Фонвизин видит ценность человеческого самого по себе. Буржуазный гуманизм, культ человека и личности — это были в те времена передовые идеи, это были темы и лозунги «à renverser les murailles» (разрушавшие стены). Веяние идей освобождения человека от пут сословия, рабства, тирании чуялось в том, что Фонвизин увидел в комической роли возможность найти человеческую личность. Творчески Фонвизин оказывался более смелым мыслителем, чем политически.

То же относится и к «Недорослю», в частности к роли Простаковой. Она собирает в себе ряд гнуснейших черт, она изверг; и все же Фонвизин наделяет ее материнским чувством, делающим ее человеком. В заключительной сцене Простакова, отвергнутая сыном, вырастает в глазах автора и зрителя. Комедия превращается в трагедию порока. И не случайно Фонвизин заставляет в этот момент своих идеальных героев помочь Простаковой, упавшей в обморок. Черты человечности, снимающие схематизм отрицательной характеристики, осложняют и рисовку образа Еремеевны, и это чрезвычайно существенно, поскольку Еремеевна — раба, а не дворянка, и все-таки — человек. Поразительна в этом отношении последняя сцена второго действия «Недоросля». Оплеванную своей «барыней» Еремеевну пожалели, подошли к ней по-человечески не идеальные герои пьесы, а простые люди, плебеи Цыфиркин и Кутейкин. Эта теплая, хорошая сцена человечности и близости слуг в царстве бар-зверей показывает, насколько сами черты нового в искусстве выражали объективно его движение к передовым идеям демократического порядка, быть может не осознанные самим Фонвизиным.

В таких ролях пьес Фонвизина, как Простакова, Бригадирша, Еремеевна, существенно также то, что

в них преодолевается статичность образа. Эти роли растут, движутся, изменяются на протяжении пьесы. Человек у Фонвизина начинает жить не только бытовой жизнью, но и психологической.

С вопросом о рождении в творчестве Фонвизина реалистического мировоззрения и метода связан вопрос о фонвизинском языке. И здесь Фонвизин преодолевает классические каноны жанровой классификации и литературной условности речи. И здесь, однако, он связан еще во многом с классической манерой. Он еще пишет торжественное «Слово» на выздоровление Павла Петровича специфическим «высоким» языком, не тем, которым он писал сатирические статьи или стихотворения. И здесь он дает еще по Сумарокову речевые маски комических персонажей в комедии. Но основная стихия фонвизинского языка — реальная разговорная речь, живая, подлинная стихия бытового языка. Перед Фонвизиным стояла задача передать речью не сущность условного жанрового типа творчества, не схему маски роли, а реальность фактической языковой практики его эпохи. Фонвизин любит еще острить во что бы то ни стало, любит словесный орнамент, игру словами, каламбуры и умеет великолепно пользоваться словесными узорами. Но он ценит и эмпирическое наблюдение практики языка, он подслушивает живую речь. Его языковый реализм эмпиричен. Он в плену у разговорного языка, но и это было путем к реализму в данной области. Фонвизин бережно сохраняет самую фонетику устной речи, — вплоть до «ища», вместо «еще», или «первоет», вместо «первой-то», и т. п. Он собирает всевозможные характерные выражения, начиная от обращения вроде «батька», «матушка» и т. д. — до таких, как «пригнуло его к похвям потылицею» — так говорили в его время, и это для него признак новой оценки художественной речи. Факт жизни и здесь оказывается важнее и ценнее предвзятой теории, схемы, традиции. И дело здесь не только в том, что так говорили только какие-нибудь Простаковы. Сам Фонвизин начинает говорить в литературе так же, в сущности, разговорно, тем же «бытовым», не «пролитературенным» языком. В этом отношении его письма из Франции — подлинный шедевр русского слова.

В области художественного творчества проявления разночинной демократической идеологии были в 60—70-х гг. XVIII века в России менее глубоки и принципиальны, чем в области публицистики и науки. Можно даже сказать, что художественные произведения, возникшие на данной идеологической почве, были недостаточно культурны, тогда как научно-публицистическая мысль демократического характера достигала исключительных высот сознательной культуры. Налицо был еще у «низовой» разночинной среды разрыв между ее передовой ученой интеллигенцией и рядовыми представителями этого слоя. Если интеллигенция, в значительной мере оторванная от питавшей ее идеологию социальной базы, ушла далеко вперед, то сама рядовая масса не могла еще дотянуться до уровня эстетической, да и вообще идеологической культуры опередившего ее дворянства.

Тем не менее художественное творчество разночинцев, таких, как, например, Чулков или Попов, отражало самой манерой видеть и изображать жизнь и людей, самыми основами эстетики этих писателей, — отражало их мировоззрение в чертах не только не сходных с дворянским мировоззрением и в частности эстетикой, но иногда и враждебных им. Прежде всего, нормы русского дворянского классицизма почти совсем отсутствуют, например, для Чулкова. Он весь на земле; он ощущает себя сам частью этого неупорядоченного житейского мира, притом — не хозяином этого мира, а незаметным винтиком его. Он практический человек, ему незачем возноситься в отвлеченные сферы дворянского рационализма; если Сумароков пытался находить в этих сферах оправдание крепостничества и дворянских привилегий, то Чулков не нашел бы в них ничего, что бы помогло ему жить.

Чулков идеологически робок; и в своем журнале «То и се» и в своем неоконченном романе «Пригожая повариха, или похождения развратной женщины» (1770) он избегает говорить на темы политические, социальные, вообще остро-принципиальные; у него как будто бы нет определенных мнений по самым существенным вопросам мировоззрения; вернее — он осто-

рожно уклоняется от высказывания своих мнений; да его, пожалуй, и не очень интересуют разговоры «вообще», на отвлеченные темы. Он и в самом деле не дорос до глубоких и значительных обобщений; общество предъявляет ему узкие практические задачи; это — прежде всего борьба за место в жизни и в обществе; это — главная, основная, движущая идея всей жизни и творчества Чулкова. Дворянский писатель считал, что место в жизни — неотъемлемая особенность каждого человека; дворянин не борется за право на власть, культуру, честь, даже благосостояние; он получает все это по праву рождения; наоборот, с точки зрения Сумарокова, если человек «снизу» лезет «наверх», борется за личный успех в жизни, проявляет свою активность не как член сословия и не на основании сословных привилегий, а как личность, как индивидуальность, то его следует «осадить», сурово покарать за нарушение неподвижной, незыблемой схемы феодального общества. Совсем иначе понимает соотношение человека-личности и общества Чулков. Для него — человек ценен именно как личность; бо́льшая или меньшая доза цепкости, ума, ловкости, практической смекалки, активности, в общем — житейской боеспособности — вот что определяет, по Чулкову, успех в жизни, несмотря на гнет феодального устройства общества, который он испытывает тяжело. Общество для него — это сплошная война всех против всех, и победа в ней принадлежит более сильному. И первая сила — это деньги. Если Херасков тоскует о пагубной власти денег, все более дающей себя чувствовать в феодальной стране, то Чулков откровенно склоняется перед властью денег. Это — сила, доступная и дворянину, и купцу, и разночинцу, — в разной мере, но все-таки доступная. Деньги — это сила, которая может иногда перетянуть силу дворянского диплома. И для Чулкова деньги — это оружие, добыть которое позволительно всеми средствами, доступными ловкости человека. Затем — вторая сила, обусловленная в своем значении именно неразрушенной еще властью дворянства, — это внешняя карьера, чиновничья, любая, которая даст этот все-таки нужный дворянский диплом, право на покупку деревень, официальное положение, фактическую неприкосновенность.

В теориях классицизма Чулков не разбирается или, вернее, не хочет разбираться. Его интересуют не «разумные» нормы, а житейские и вовсе не разумные факты. Он пишет произведения неопределенных жанров, пишет главным образом в прозе, причем проза его тоже не подчинена правилам и традициям дворянского изящного или высокого искусства. Он пишет статейки, повестушки, повести, анекдоты.

Дворянские писатели-классики исключали из своей литературы сюжетные жанры — роман, новеллу; они презирали «увлекательность», считая ее потаканием низменным читательским интересам. Наоборот, Чулков имеет в виду угодить простому читателю, любящему и узнать в книге жизнь и забыться за книгой. Он пишет сказки, он пишет новеллу детективного типа «Горькая участь», он пишет роман. Его интересуют повседневные житейские случаи. Он не рассуждает по поводу этих случаев на высокие темы. Он не умеет, да и боится объявить себя врагом феодализма, монархии, дворянства. Он не смеет думать об этом. Он стремится сам пролезть в дворяне, делает чиновничью карьеру, усердно служит помещичьей монархии и выслуживает себе и чин, и дворянство, и деревеньку. Ему, скромному интеллигенту и чиновнику, в сущности, очень мало дела до страданий крестьянства. Он считает, что в жизни каждый должен заботиться о самом себе. И все же его мировоззрение, его творчество, вот именно эта хищная мораль личного успеха, эта жадность, культ победы над людьми, весь облик его произведений — все это было фактом новым в окружении дворянской литературы. Характерна зоркость Чулкова в социальных вопросах, присущая ему, несмотря на его невмешательство в политику; он прекрасно видит социальные процессы даже в среде крестьянства и такие процессы, на которые закрывала глаза дворянская литература. Сознание Чулкова демократично. Он видит, например, расслоение крестьянства и дает, может быть, первое в печатной литературе определение мироеда-кулака: «Такие сельские жители называются «съедугами»; имея жребий прочих крестьян в своих руках, богатеют на счет их, давая им взаймы деньги, а потом запрягают их в свои работы так, как волов в плуги. И где таковых два или

один, то вся деревня составлена из бедняков, он только один между ними богатый: для того, что сев, жатва и сенокос должниками его убираются прежде, а те всегда своим севом опоздать должны. И когда опоздали сеять, то убирать уже будет нечего, а затем и остаются в вечном долгу у «съедуги», который из того не убыток, но приращение имеет, ибо вся деревня к нему на работу, как барщину приходит» (рассказ «Горькая участь»).

Может быть, характернейшим произведением Чулкова является его роман «Пригожая повариха» (напечатана была лишь первая часть романа; следует думать, что продолжение не могло увидеть света по цензурным условиям).

Героиня Чулкова — явление совершенно новое в русской литературе, хотя кое-что он мог позаимствовать и в ее характеристике и в построении всей книги из западного романа. Пригожая повариха Мартона — человек из «низов», из народа; это — человек, строящий сам свою жизнь, сам кующий свое счастье. Мартона лишена какого бы то ни было уважения к сословным перегородкам, к дворянству, к высоким идеям чести и даже добродетели. Ее мировоззрение отражает аморализм индивидуалистической борьбы за существование. Она готова использовать в звериной борьбе за жизнь все средства. Она красива, — и она использует свою красоту; она может обокрасть богатого дворянина, — и она без угрызений совести делает это; ее любовник крадет у нее украденное ею, — она не слишком осуждает его: он оказался хитрее ее, сильнее в жизненной борьбе. Мораль, честь — это ведь только маски, лицемерные слова в обществе, где все основано на праве сильного. Мартона не имеет силы сословных привилегий, — и она в праве пустить в ход иную силу — личный успех и ловкость. Ловкий обман доставляет ей удовольствие сам по себе, как проявление силы. Она не уважает чувства нежности, привязанности. Главное в жизни — не это, а грубый внешний успех. Фигура дельца, вора, ловкача, характерная для буржуазной литературы даже в эпоху молодости буржуазной культуры, празднует свою победу и в русской литературе в романе Чулкова. Но нужно помнить, оценивая этот образ, что плут Фигаро вырос во

французской литературе в символ буржуазной — еще демократической — революционности. Чулкова радует, что Мартона, человек из народа, торжествует над дворянами, оставляет их в дураках, хотя бы обольщая их своей красотой.

В образе Мартоны Чулков попытался построить характер; Мартона определена не одной-двумя чертами, а сложно-психологически; и в этом отношении Чулков преодолевает отвлеченность русского дворянского классицизма.

В своем романе Чулков хочет рисовать жизнь, как она есть. Было бы, конечно, слишком смело говорить о реализме в применении к «Пригожей поварихе», но отрицание отвлеченной, рационалистической поэтики классицизма в этой книге есть. Нужно помнить, что и у Сумарокова в баснях, эпиграммах или сатирах и у Майкова в «Елисее» мы найдем и широкое использование просторечия, и изображение обыденных речей, и «простых» людей, крестьян, откупщиков, даже проституток. И все же ни Сумароков ни Майков — не реалисты. «Низкий» быт для них прежде всего — именно «низкий», заслуживающий смешливого отношения к нему. В их поэтическую систему простая жизнь могла входить лишь с особым оттенком, особым привкусом комических или сатирических жанровых формаций. Им не могло прийти в голову отнестись к повседневной действительности, к фактам жизни «мужика», купца, даже к фактам повседневной домашней жизни дворянина — изнутри, как к серьезному объекту анализа и изображения. Их интересовали идеи, психические состояния вообще, а быт попадал в поле их зрения только тогда, когда надо было в той или иной форме преодолевать его, отрицать его. Это относится и к комедии 1750—1760-х гг., хотя в ней рассыпаны черточки быта: они и здесь плотно окружены идеями и художественными образами, лишающими их значения самостоятельных картин действительной жизни.

Мартона Чулкова, как и другие действующие лица его романа, — не «плохая» и не «хорошая». Она — человек, и она цепляется за хорошую жизнь, за деньги, за успех в жизненной борьбе; в этом ее оправдание. И быт, который окружает Мартону, нарисован не на посмеяние и не ради обличения; это — жизнь, подлин-

ная, реальная жизнь. В общем жизнь довольно противная, подлая жизнь, основанная на эгоизме, страстях, объегоривании друг друга, а все-таки жизнь, такая именно, с какой приходится иметь дело Чулкову. Его образы не типологичны; он даже не стремится к глубокому раскрытию законов, сущности общества, бытия человека. Он не стремится и к детальному психологическому анализу. В этом сказывается ограниченность его эстетического мировоззрения, слабость его художественного метода. Чулков — эмпирик. Отдельные, внешне наблюденные факты, фотографически записанные, составляют содержание его книги. Он относится к действительности протокольно; он регистрирует житейские случаи один за другим, без глубокой внутренней связи, и деловито, скупо дает отчет о них. Жизнь человека у него рассыпается на отдельные кусочки, эмпирически установленные факты не строятся в единую картину. Эта внешняя манера чрезвычайно характерна для всего мышления Чулкова. Она выросла прежде всего из отрицания механистических и отвлеченных обобщений классицизма. Именно как разрушитель силен Чулков-художник, потому что построить ему удалось не так уж много. Он увидел отдельные конкретные факты и отдельных индивидуальных людей, которых не видели дворянские писатели-классики. И это уже было шагом большой важности. Даже язык Чулкова интересен в этом отношении. Чулков пишет подчеркнуто просто, «нехудожественно»; он отказывается от норм литературности; его язык — почти канцелярская запись, сухая, лишенная уравновешенной логичности сумароковской «ясной» речи или величественности ломоносовской. Стиль Чулкова может быть неправильным с точки зрения литературных норм, и в этом его отрицательный смысл, — так говорили, так писали частные письма, деловые бумаги. Это стиль практической жизни, которая для Чулкова дороже, ценнее поэтической стихии, как ее понимали в дворянской литературе. Чулков идет за практикой, не поднимаясь над нею, и в этом слабость его как художника и сила его как разрушителя помещичьей эстетики.

Особое место занимают в языке Чулкова фольклорные, народные элементы, в частности пословицы. Чулков обильно использует пословицы и в своем романе

и в журнале «И то и се», нарочито вставляя их, где только возможно. Интерес и внимание к фольклору вообще характерны для Чулкова. Фольклор — купеческий, и мещанский, и крестьянский — для Чулкова формулирует национальные черты искусства. Национальные интересы третьесословного крыла в литературе вообще настойчиво противопоставлялись космополитизму дворянского мировоззрения. Интерес к фольклору объединял Чулкова и его приятеля М. И. Попова. Они собирают и издают песни, частью — песенный фольклор, собирают, а иногда и сочиняют материалы по русской («славянской») мифологии, обычаям, поверьям, пытаются внести мотивы русского фольклора в художественную литературу — и в прозе и в стихах. Замечательным достижением в последнем направлении можно считать песни Попова «Ты бессчастный добрый молодец» и «Не голубушка в чистóм поле воркует». Обе они написаны правильным размером; при этом вторая из этих песен имеет рифмы, несвойственные крестьянскому фольклору той эпохи, а размер первой в течение всей второй половины XVIII века и даже в начале XIX века был в дворянской поэзии традиционным условно-народным размером. Но этот «русский размер» как будто не обязывал Карамзина или старого Хераскова к допущению в текст стихотворения других, подлинных, элементов фольклорного стиля. Ни словарь их стихов, написанных «народным» размером, ни весь склад речи, ни система образов не связаны непосредственно с подлинной лирикой устной традиции. Наоборот, М. Попов старается воссоздать не только размер, но весь склад народной поэзии; в этом смысле характерны и слова, такие, как «бесталанная головушка», «зазноба», «прилука» и т. д., и устойчивые эпитеты словесного фольклора: «красна девица», «добрый молодец», «брови соболиные», «чисто поле» и т. д. Характерны и отрицательные сравнения в начале второй песни:

Не голубушка в чистом поле воркует,
Не вечерняя заря луга смочила.

Однакоже следует оговорить, что, создавая эти песни недворянского стиля (они воспринимались скорей всего в традиции песен не столько крестьянских,

сколько купеческих), Попов не стремился заменить ими лирику сумароковского толка, не стремился ликвидировать дворянскую песню. Он сам писал любовные песни салонного стиля, подражая Сумарокову; для него не была запретна и легкая гривуазность салонной пасторали со всем ее условным эстетским и уж никак не демократическим стилистическим аппаратом (см. песню «Под тению древесной»). Не случайно, что обе «народные» песни Попова помещены им в самом конце отдела «Любовные песни» его сборника «Досуги», после песен сумароковского стиля.

Впрочем, интерес к «национализации» языка и стиля был у Попова (как и других писателей его круга) достаточно устойчив, причем эта «национализация» была в известном смысле и демократизацией — в тех именно случаях, когда она стремилась преодолеть космополитизм дворянской культуры. Попов стремится избавиться от варваризмов, заменяя их русскими словами. Переводя часть поэмы Дора «На феатральное возглашение» («Sur la déclamation»), он в «Предъизвещении» указывает на свое решение заменить иностранные термины русскими, «любя природный свой язык»: *актер* у него «действователь»; *аллегория* — «иносказание»; *буффон* — «кощун»; *характер* — «свойство»; *компас* — «окружлец»; *инстинкт* — «естественное, природное стремление»; *партер* — «помост»; *суфлер* — «поправитель, напоминатель»; *симпатия* — «сострастие» и т. д. [1] Таким же образом в словарике, помещенном в журнале М. Чулкова «И то и се» (1769), предлагаются русские слова взамен иностранных, например: *арсенал* — «оружейный дом или оружейная палата»; *астроном* — «звездочет»; *азарт* — «отвага»; *багаж* — «имение, пожитки»; *банкет* — «пирушка»; *герой* — «древний или языческий полубог, а по нашему богатырь»; *деликатно* — «нежно, высокомерно»; *директор* — «правитель»; *коммерция* — «купечество»; *пиит* — «стихотворец»; *характер* — «сложение, свойство, достоинство» и т. д. Также и Курганов в своем знаменитом «Письмовнике» дает аналогичный словарик, несколько более экспериментаторского характера и более архаизирующий, например: *авторитет* — «власть, сила»;

---

[1] «Досуги» М. Попова, 1772, ч. 1.

библиотека — «книговник»; *биржа* — «торжище»; *лейб-гвардия*—«царестража»; *гримасы*—«лицеблазнь»; *грамматика* — «письмовник» (это объясняет и название самой книги, в первом издании так и озаглавленной «Российская грамматика») и т. д.

Весьма показательна для литературно-идеологической позиции М. Попова его комическая опера «Анюта». На сцену выведены крестьяне, причем они лишь в незначительной степени прикрашены. Попов хочет показать «мужика», как он есть. Крестьяне (Мирон и Филат) сохраняют у него диалектные особенности своей речи, несмотря на стихи. Затем — они вовсе не счастливы, не довольны своей крестьянской долей; более того, крестьянин Мирон может противопоставить свою тяжелую рабочую жизнь существованию дворян-бездельников, на которых работают другие, в его словах есть элементы протеста против крепостной эксплоатации. Все это выводит оперу «Анюта» за пределы вполне дворянского искусства XVIII века. Но все же демократизм Попова весьма умерен и ограничен на каждом шагу. Как и другие представители умеренно-буржуазного крыла русской литературы данного периода, Попов делает ряд существеннейших уступок дворянской идеологии.

17

Огромную роль в освобождении русской литературы от классицизма и в подготовке материалов для реалистического искусства сыграло творчество Державина.

У Державина поэзия вошла в жизнь, а жизнь вошла в поэзию. Быт, готовый факт, политическое событие, ходячая сплетня вторглись в мир поэзии и расположились в нем, изменив и сместив все привычные респектабельные и законные соотношения вещей. Тема стихотворения получила принципиально-новое бытие; в категориях прежнего классического искусства то, о чем говорилось в стихах Державина, вовсе не было темой, но было сырым житейским фактом.

Теперь — в стихах Державина — поэт не извлекал из житейских явлений их эстетически выразимую сло-

весную сущность, а как бы указывал на эти явления пальцем, открывая возможность видеть их сами по себе, во всей их плотской реальности. Он говорит не о родовых, рационально умопостигаемых сущностях (любовь, слава, героизм, благо и т. п.), существующих как отрешенно-художественные темы, а об отдельных подлинных и единичных реалиях окружающей действительности: вот об этой любви, о том человеке, об этом вот хорошем или дурном поступке. Стихи Державина поэтому не живут без реалий, без знания истории, быта, материального окружения жизни, фактов дворцовой и политической жизни, сплетен, наружности деятелей эпохи и т. д. Один из характерных приемов Державина — намек. Берется факт или примечательное явление и указывается косвенно, под видом других явлений, в словесной маске. Возникает особый процесс узнавания житейских вещей в словах, соотнесенных с ними более или менее сложно. Читатель угадывает в стихотворении намек, он идет навстречу автору, он вкладывает в слова второй, подлинный смысл. Преодолевается таким образом замкнутость семантической структуры поэтического слова, прежде отвлеченного. Если ранее слово само предопределяло в пределах замкнутой художественной системы одну лишь возможность понимания, то теперь у Державина понимание художественного текста строится на двух основах: на параллельности слова и его ближайшего словесного смысла с фактом жизни, в своей жизненной образности целостно подставляемым под данный словесный ряд. Получается удвоение семантической перспективы. Слово, литературное произведение приобретает тень, неотступно следующую за ним в дальнейшем в русской литературе. Значение слова уже не только образует тему, т. е. выражаемое, но само выражает, являясь образным обозначением житейского явления; последнее же дано в таком вторичном виде именно потому, что оно должно не утерять своего «внеэстетического», фактического, житейского, внесловесного облика. Там же, где Державин дает не намек, а прямое указание на житейский факт, принцип остается неизменным; факт указывается читателю; поэт не хочет «обработать» его методами поэзии; он хочет, наоборот, чтобы его поэтический текст помог

становлению образа житейского явления именно как житейского. Общее же, что объединяет показ вещей и событий у Державина, даны ли они в намеках, в иносказаниях или прямо, — это выпадение вещи и события из ряда элементов жанровой тематики; человек у Державина — определенный живой человек, а дом — определенный и вполне вещественный дом, тот самый, что стоит под таким-то номером на такой-то улице, например под № 118 по набережной реки Фонтанки. Торжественная ода, — жанр вообще более или менее злободневной тематики, — и ранее, еще со времен Ломоносова, использовал свои характерные методы подачи подлинных исторических событий или, например, явлений придворного быта (например, охота имп. Елизаветы у Ломоносова, «Карусель» 1766 года у В. Петрова), но эти события и явления окружающей действительности попадали в сферу влияния жанрового и стилистического принципа отрешенной литературности. Они не показывались прямо; но в то же время не было здесь и иносказательности в державинском смысле. Здесь на первый план выступало понятие определенного жанрового образования и определенной «высоты», подчинявшее себе конкретное значение. Конкретное историческое явление теряло свою конкретность, входя в тему данного стихотворения как одна из допустимых в том или ином жанре тем; в связи с этим оно и воплощалось в языке данного жанра.

Общий стиль требовал того, чтобы, например, Сумароков так описывал московскую чуму 1771 года:

В какие страшные часы
Явилась фурия из ада?
Терзала ты [Москва] свои власы,
И трепетали стены града;
Горит геенна, всходит дым,
И исчезают жизни с ним;
В нас кровь мятется, сердце ноет;
Валится жалостно народ!
Нам мнилось, сохнут токи вод,
Трещит земля и воздух воет.

А подавление Еропкиным чумного бунта так: «Но он бесстрашным оком зрит, И гидру повергает смело»; [1] а ведь это — Сумароков, наиболее «прозаический» одо-

---

[1] «Ода 1771 года» — Полн. собр. соч., 1781, т. II, стр. 208.

писец, сторонник точного словоупотребления. Чумный бунт, попадая в оду, переставал быть чумным бунтом и становился «гидрой», а сама чума «фурией». Конкретные факты аллегоризировались: за словами оды оказывалась новая «реальность» — не исторический факт, а аллегорическая картина (с какого-нибудь иллюминационного транспаранта или с гравюры); эта картина выражалась словом вполне адэкватно и прямо. Ни о намеке ни об иносказании говорить нет оснований. То же и в тех случаях, когда, например, Ломоносов дает грандиозные фантастические картины боя или, например, охоты императрицы; здесь подлинная фактическая реалия в стороне; не о ней идет речь в стихотворении, а об отвлеченной мыслимой героической «славе» воспеваемых событий и лиц. И опять слова точно осуществляют заданную тему; фантастика не выходит за пределы построения темы и реализуется в преобладании лексического подбора над семантическими связями. Так, до Державина, если произведение (например, ода) и связывалась с реалиями, то все же реалии не дерзали посягать на замкнутость эстетической структуры. Реалии пьесы и тема ее, воплощенная в рядах значений слов, расходились в разные стороны. В стихотворении говорилось в первую очередь о жанровых темах; факт жизни не соприкасался непосредственно со стихами; у Державина же факт жизни оказывался включенным в систему поэтического выражения как таковой.

В самой сущности своего поэтического метода Державин тяготеет к реализму. Он, впервые в русской поэзии, воспринимает и выражает в слове мир зримый, слышимый, плотский мир отдельных, неповторимых вещей. Радость обретения внешнего мира звучит в его стихах. Он видит детали, конкретные мелочи чувственно ощущаемой действительности; он любовно вглядывается в них и ищет необычайно точных слов для их обозначения. Трудно оценить теперь значение переворота, произведенного в этом отношении Державиным. Он сказал первые слова на русском языке о подлинном материальном мире; он рассыпает эти конкретные детали везде. Если он говорит о про-

гулке Екатерины II, то тут же — ряд мельчайших штрихов; Екатерина —

На восклицающих смотрела
Поднявших крылья лебедей;
Иль на станицу сребробоких,
Ей милых, сизых голубков;
Или на пестрых, краснооких,
Ходящих рыб среди прудов;
Иль на собачек, ей любимых,
Хвосты несущих вверх кольцом,
Друг с другом с лаяньем гонимых,
Мелькающих между леском...

(«Развалины»)

Если он говорит о друге и о его жене, то: «Когда тебя в темнозелену, Супругу в пурпурову шаль Твою я вижу облеченну» («Капнисту»); он видит и плетенье на бутылке итальянского вина («Весна») и оттенок — «бархат — пух грибов» («Евгению») и т. д. Он открыл для русской литературы природу, пейзаж; до Державина природа давалась в эклогах, песнях, поэме совершенно условно, не конкретно:

Распустилися деревья, на лугах цветы цветут,
Веют тихие зефиры, с гор ключи в долины бьют,
Воспевают сладки песни птички в рощах на кустах,
А пастух в свирель играет, сидя при речных струях.

Это весна у Сумарокова. Сравните с ней «Весну» Державина, так же как и другие его описания природы. Державин видит, как бежит под черной тучей тень «по копнам, по снопам, коврам желто-зеленым» («Евгению»), видит, как рыбы ходят в отраженных водой облаках («Водопад»). Он воспринимает природу зрительно, воспринимает ее и в слуховых образах:

Он спит, — и в сих мечтах веселых
Внимает завыванье псов,
Рев ветров, скрип дерев дебелых,
Стенанье филинов и сов,
И вещих глас вдали животных,
И тихий шорох вкруг бесплотных.

Он слышит: сокрушилась ель,
Станица вранов встрепстала,
Кремнистый холм дал страшну щель.
Гора с богатствами упала;
Грохочет эхо по горам,
Как гром, гремящий по громам.

(«Водопад»)

Открытие природы в русской поэзии Державиным аналогично тому, что сделали в этом направлении на Западе Томсон, Грей, Руссо и др.

Но для Державина характерны при этом две черты: во-первых, яркость, бодрость, великолепие красок его живописи, все эти драгоценности, рассыпаемые им в изобилии и так соответствующие общему оптимистическому его воззрению на мир:

«Сребром сверкают воды, Рубином облака, Багряным златом кровы...» («Прогулка в Сарском Селе»); или: «Граненых бриллиантов холмы Вслед сыпались за кораблем» («Изображение Фелицы»); или — радуга красок: «Пурпур, лазурь, злато, багрянец, С зеленью тень, слиясь с серебром...» («Радуга»); или — перья павлина: «Лазурно-сизо-бирюзовы, На каждого конце пера, Тенисты круги, волны новы, Струиста злата и сребра: Наклонит — изумруды плещут, Повéрнет — яхонты горят» («Павлин»).

Другая характерная черта: Державин конкретизирует и материализует отвлеченные темы; самые отвлеченные идеи приобретают у него вещный, предметный, даже бытовой образ. Он — весь на земле, и парить в сферы рационализма не хочет и не может. Даже бог у него — царь природы, и природа является для него основой религиозной лирики. Муза у него — «Сквозь окошечка хрустальна, Склоча волосы, глядит» («Зима»); смерть у него — «И смерть к нам смотрит чрез забор» («Приглашение к обеду»); или вот Екатерина II дает «милости» народу: «Златая бы струя бежала За скоропишущим пером» («Изображение Фелицы»); или — мысль о «кроткой» политике царицы: «Самодержавства скиптр железный Моей щедротой позлащу» (там же).

До Державина все элементы художественного произведения подчинялись принципу согласованности друг с другом по закону искусства и жанра; «высокая» тема сочеталась с «высокой» лексикой и т. д. Державин выдвинул новый принцип искусства, новый критерий отбора его средств: принцип индивидуальной выразительности. Он берет те слова, те образы, которые соответствуют его личному, человеческому, конкретному намерению воздействия. «Высокое» и «низкое» у него сливаются. Он отменяет жанровую

классификацию. Его стихи — не проявления жанрового закона, а документы его жизни. В высокую оду врывается басня: «И, словом, тот хотел арбуза, А тот соленых огурцов» — рядом с «Посланницей небес Тебя быть мыслил в восхищенье И лил в восторге токи слез» («Видение мурзы»); рядом с Калигулой и стихом «Сияют добрые дела» — «Осел останется ослом, Хотя осыпь его звездами; Где должно действовать умом, Он только хлопает ушами» («Вельможа») и т. д. Выразительность каждой детали, а не ученое построение рационального единства — таков закон поэзии Державина. Это осуществляется и в рифме и в звучании его стиха. Поэзия Державина исключительно богата ритмически: самые разнообразные метрические формы, строфы, размеры, иногда стихи вольного ритма, — Державин ищет индивидуализированной ритмической выразительности вместо сковывающих, заданных традицией метрико-ритмических канонов сумароковской школы. То же и в области звуковой инструментовки стиха. Он ищет звукоподражаний («Как гром, гремящий по громам»); он сознательно стремится передать «самые нежнейшие чувствования», изгоняя из соответствующих стихов звук *р;* так, им написан ряд стихотворений совсем без этого звука (см., например, «Соловей во сне»).

В итоге, поэтическая система классицизма оказалась радикально разрушенной Державиным.

Он стоит в преддверии искусства романтического, а затем и реалистического.

Самый отбор материала из жизни, попадавшего в стихи Державина, был нов. Державин берет не только крупные исторические события, но и бытовые мелочи. Сплетни, ультра-злободневные и передаваемые из уст в уста слова, события, черточки характеров заметных людей, сатирические штрихи быта того или иного вельможи, подмеченные в придворном или вообще в столичном кругу, попадают в оды Державина. Здесь же иносказательное или прямое описание отдельных конкретных поступков императрицы, нередко не имевших государственной важности, но, вероятно, составлявших тему разговоров. В этом сказалась новаторская особенность подбора и обработки материала у Державина. Материал интересен и подлежит введению в сти-

хотворение не потому, что он «высок», не потому, что он соответствует канонам одической тематики, не потому, наконец, что он может быть представлен в отвлеченно-поэтическом виде, а потому, что он злободневен. Достаточной мотивировкой ввода того или иного материала опять оказывается авторская воля, а не художественный канон. Автор-поэт говорит о быте, ему известном и его окружающем. Он обращается к читателям, причастным к тому же быту, которым интересны даже его мелочи. Отвлеченная поэзия, обращавшаяся ко всем векам и народам, оставлена. Поле зрения поэзии — прежде всего поле зрения поэта. Он представляется своеобразным агентством информации, журнальным центром. Здесь выдвигается принцип произвола поэта-творца и в то же время оправдывается державинская бесцеремонность в обращении с читателем; он не только намекает читателю на известные ему факты общественной жизни или жизни видных людей, но, не стесняясь, говорит и о своих личных знакомых, друзьях-приятелях, о самом себе, о своем быте и т. д. Читатель волен знать всех этих людей и все эти факты или не знать их, — поэту как будто это все равно. Конечно, на самом деле, читателю предписывалось всей системой поэзии Державина или знать его приятелей, или построить в своем воображении достаточное представление о них, для чего необходимые материалы можно было почерпнуть в самых стихах поэта. Но дело было не в том: важно было, что мир поэзии — это мир творца его, единичного, реального человека, а не пророка, вознесенного над миром, и не учителя, ушедшего в умопостигаемое бытие разума. Державин в своей поэзии окружен своими друзьями и своим бытом; читатель принужден узнать об этих друзьях разные разности, притом поданные так, как будто он их и без того прекрасно знает; потому что намек лежит и здесь в основе метода подачи материала. В центре этого до неловкости реального мира, о котором трактует творчество Державина, стоит он сам, Гаврила Романович, человек такого-то чина, образования и характера, занимающий такую-то должность. Он охотно рассказывает всё о себе, о своем житье-бытье, о своих служебных неприятностях, о кушаньях, которые он ест, и о всем прочем. Читатель

прежде всего должен уверовать, должен осознать, что это говорит о себе именно сам поэт, что поэт этот — такой же человек, как те, кто ходят перед его окнами на улице, что он соткан не из слов, а из настоящей плоти и крови. Лирический герой у Державина неотделим от представления о реальном авторе. Дело, конечно, не в том, был ли Державин в жизни, настоящий биографический Державин, похож на того воображаемого «поэта», от лица которого написаны стихотворения, обозначаемые данным именем; может быть, он и не был на самом деле похож на своего лирического героя. Существенно то, что стихи Державина строят в сознании своего читателя совершенно конкретный бытовой образ основного персонажа их — поэта, что образ этот характеризуется не жанровыми отвлеченными чертами, что это не «пиит», а именно персонаж, притом подробно разработанный и окруженный всеми необходимыми для иллюзии реальности обстановочными деталями. При этом персонаж автора, единый для всего его творчества, проецируется на его биографию. Читателя убеждают в том, что в стихах идет речь о подлинных отношениях, душевных состояниях, событиях и даже мелких фактах, что все, о чем он прочел в стихах, есть прямое выражение жизни определенного человека. Во всяком случае только предположение биографических реалий дает жизнь стихам Державина. Этим достигается объединение всех произведений поэта, символизируемое единством его имени. До Державина поэта как образного единства не знали. Лирический герой элегий Сумарокова ближе к герою элегий Хераскова или Струйского, чем к герою эклог или сатир того же Сумарокова. То же нередко можно сказать и о всем художественном облике жанров и поэтов додержавинской поры. Объединение получалось скорее в понятии жанра, нежели в понятии индивидуальности автора. Недаром поэты стремились издавать свои стихи сборниками одножанрового состава; в тех же случаях, когда сборник заключал стихи разных жанров, он отчетливо делился на отделы — по жанрам. У Державина в его собрании стихотворений деления на жанры нет. Самые разнообразные по тону, эмоциональному характеру, стили-

стическому и тематическому составу стихотворения Державина были принципиально равны в созданной им системе именно потому, что все они выстраивались в единый ряд высказываний одного и того же человека о себе, в единый ряд индивидуальной жизни, воплощенной в слове.

Державин женился, и мы узнаем это в стихах, которые хотя и похожи на обычные любовные стихи XVIII века, но воспринимаются иначе, потому что это не небывалый нигде, воображаемый лирический герой счастлив отвлеченной и на самом деле, может быть, несуществующей любовью, а молодой чиновник Гаврила Романович Державин, влюбленный и счастливый жених Екатерины Яковлевны Бастидон, будущей «Плениры»; позднее читатель узнает все, что необходимо ему узнать, о счастливой жизни супругов. Потом узнает о том, что Пленира умерла, о скорби вдовца. Наконец — о вторичной женитьбе его на «Милене» или, иначе, Дашеньке. Державин угнетен врагами, он смещен с губернаторства, отдан под суд, — и об этом говорят читателю стихи его, и тут герой, оклеветанный правдолюбец, — это все тот же Гаврила Романович, тот самый, который женился и потом овдовел. Тот же Гаврила Романович показан как упрямый и добродетельный статс-секретарь императрицы. И все это так и было, т. е. он действительно в жизни занимал этот пост, и т. д. От стихотворения к стихотворению перекидывается мост; все они — это жизнь и творчество Державина. Из его книг вырастает образ, обильный различными чертами, характерный для своей эпохи, несходный с другими. Это было впервые в русской поэзии. Потом, в XIX веке, привыкли к тому, что за именем каждого хоть сколько-нибудь крупного поэта стоит единый поэтический и личный образ его, тот самый, который позволяет сказать, что одни стихотворения поэта «характерны» для него, а другие «не характерны», хотя этих «характерных» стихов может быть меньше, чем «нехарактерных». В преддверии этой традиции и стоит Державин.

Всякий, кто читал Державина, знает этот образ поэта, объединивший тематический и стилистический состав его стихотворений, образ грубоватого, не

вполне отесанного, упрямого и вспыльчивого правдолюбца, гонителя злых и гонимого злыми на служебном поприще, рьяного карьериста и в то же время сибарита и эпикурейца в частной жизни, чадолюбивого и хлебосольного, патриархального боярина. Легенда о таком Державине, может быть не совсем справедливая в биографическом смысле, была усвоена современниками и ближайшими потомками. В 80-х же годах не могло не произвести впечатления разгрома всех привычных понятий об искусстве то, что не только Державин пришел в литературу неподобающими путями, не только он был «деревенщиной» в вылощенном салоне поэзии эпохи его молодости, но к тому же он со странной откровенностью выставлял это напоказ в самых своих стихах; он щеголял в своем творчестве собою именно таким, неприглаженным, он не обращал внимания на то, как к этому всему отнесутся каноны, правила, авторитеты; он писал стихи о себе и о своих житейских интересах, о вещах и людях, близких ему, и он заставлял своих читателей заинтересоваться им, и его друзьями, и его интересами. Прямо из быта он вторгся в литературу вместе со своими приятелями, родственниками, знакомыми и расположился в ней как дома.

Творчество Державина подготовляло «рождение человека» в русской литературе. Поэтому оно открывало возможности для будущего развития на русской почве и индивидуально-лирической медитации в поэзии Жуковского и — в отдаленной перспективе — психологической прозы XIX столетия. С другой стороны, психологизация образа поэта связана была у Державина с элементами нового понимания самой психологии творчества, самого места поэта в жизни. Раньше, в пору классицизма, поэт хотел быть разумным математиком стиха, ученым, слагающим из отточенных слов и мыслей здание храма рационального искусства. Державин хочет руководиться в своем творчестве не чертежом, не ученым построением, а беззаконным вдохновением. Романтическая идея вдохновения, диктующего поэту высшие откровения, живущего в поэте и подымающего его, впервые в русской литературе звучит в творчестве Державина.

Эмоциональный жреческий подъем, по взглядам Державина, обуревает поэта, и словесная оболочка его произведений — это лишь слабый отблеск несказуемых вдохновений; задача поэзии — воплотить в этом отблеске и полноту подлинной жизни и полноту вдохновенных прозрений поэта.

В моих бы песнях жар и сила,
И чувства были вместо слов;
Картину, мысль и жизнь явила
Гармония моих стихов.

(«Соловей»)

таков идеал поэзии Державина.

В «Объяснениях» к своим произведениям Державин рассказывает о том, как он написал оду «Бог»; рассказ его не точен, поскольку он может быть проверен фактически; но не факты существенны в нем, а предромантическая концепция творчества. Державин пишет: «Автор первое вдохновение или мысль к написанию сей оды получил в 1780 году, быв по дворце у всенощной в светлое воскресенье...»; потом дела и «суеты» отвлекали его от работы над одой; «беспрестанно, однако, был побуждаем внутренним чувством, и для того, чтоб удовлетворить оное, сказав первой своей жене, что он едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой в городе у одной старушки... где, запершись, сочинял оную несколько дней, но, не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что, казалось ему, вокруг стен бегает свет, и с сим вместе полились потоки слез из глаз у него; он встал в ту же минуту, при освещающей лампе, написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему вперены были».

На обломках классической поэзии Державин начинал строить новое миропонимание в искусстве, несущее в себе элементы и предромантические и реалистические. Здесь возникало противоречие, ощутительное, но не разрушавшее пока что системы.

Державин написал о себе:

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом, —
Природа, нужда и враги.

Он настаивал на том, что основа его творчества — «природа», инстинктивное творчество, сама простая, неупорядоченная жизнь. Рядом с «природой» — «нужда». Нужда, т. е. житейская практическая цель, — один из двигателей его творчества. Такова его собственная точка зрения. Поэзия для Державина может и должна иметь практическое назначение — как факт, предмет житейского обихода. Практицизм опять разбивает прежние схемы. Произведение живет не тем, что оно закономерно построено, а тем, какой эффект в быту оно произведет. Мерилом ценности оказывается не системность, а результат действия произведения. Произведение выходит за пределы самого себя. Ранее оно должно было подчиняться прежде всего законам слова, искусства, оцениваться внутри замкнутого ряда, согласно эстетике дворянского классицизма. Теперь замкнутый круг разорван. Произведение обращено на окружающий мир. Не только неорганизованная жизнь вошла в поэзию Державина, но сама эта поэзия вышла в жизнь, не подлежавшую до тех пор ведению искусства непосредственно.

Здесь был скрыт существенный переворот в общем мировосприятии. Телеологическая точка зрения, проникшая уже в искусство, вскоре должна была переоценить устаревшие социальные отношения, убедиться в бессмысленности старой системы иерархии и отменить ее — в идее. Поэзия в руках Державина должна была создавать впечатление практичности, целеустремленности слова. Уже наличие персонажей, вещей, почти сюжетного единства, автобиографического повествования, злободневных реалий, разрушая замкнутость словесного ряда, выдвигало в произведении все то, что могло осмысляться как житейское высказывание автора. Стихи Державина — это его поступок, его выступление перед аудиторией; они — факт его активности, экспансии его интеллекта. Сама по себе такая установка принципиально нова. Речь Державина — это целеустремленное слово: информационное (ср. газету),

заинтересовывающее историей жизни живых людей (ср. сюжетные жанры); более того — оно не только сообщает, оно добивается, стремится, направляет свои удары, претендует на место в общественной жизни. Державин борется стихами со своими врагами. Поэтическое слово в его руках — оружие. Читатель прислушивается к голосу поэта, потому что слово поэта приносит вред одним, помощь другим, потому что оно имеет бытовой отзвук. Императрица заинтересована в том, чтобы привлечь на свою сторону слово поэта; она подкупает его всеми средствами, находящимися в ее распоряжении. Вельможи побаиваются разоблачений поэта и готовы считаться с ним как с силой.

Еще в казарме «нужда», практическая цель, была двигателем поэзии Державина. Так и потом. Он борется со своими недоброжелателями, соперниками и врагами на чиновническом поприще все тем же оружием — стихом. Он не скрывает этого. Ведь и раньше поэты писали стихи нередко в чаянии житейских благ; но это было их личным делом, скрытым от посторонних глаз; сами стихи должны были иметь облик якобы самоцельной ценности. Державин, наоборот, подчеркивает свои цели, даже чисто личные, и тем вернее его победа. Слова его были его делами. Он лучше чем кто-либо другой понимал это; недаром он первый поставил вопрос об оценке слова и дела поэта единым судом. Он мог разно ценить моральный вес своих слов и своих дел, но принципиальной разницы между той и другой формами общественной активности для него не было. Пушкин спорил с Державиным о словах и делах поэта потому, что не мог уже представить себе додержавинской точки зрения, не видел остроты и новизны державинской мысли. Сам Пушкин, возражая Державину, развивал в то же самое время его мысль.

Когда Ломоносова посадили под арест, он написал похвальную оду (1743 год), и его освободили; но в оде ничего этого не видно; в ней нет даже намека ни на печальные обстоятельства ее автора ни на цель ее написания, — не поэтическую, по понятиям времени. Эта ода не отличается от других од Ломоносова.

Когда Державин после губернаторства в Тамбове

и суда попал в опалу, он пытался выбраться из неприятного положения через Зубова, но ничего не выходило. «Не оставалось другого средства, — говорит Державин в своих «Записках», — как прибегнуть к своему таланту»; вследствие чего написал он оду «Изображение Фелицы» и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронования императрицы, передал ее ко двору. Ода имела успех. Императрица, «прочетши оную [т. е. оду], приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу». Самое существенное при этом то, что в самом тексте оды «деловая» цель ее написания нисколько не скрыта от читателя. Наоборот, Державин как бы выставляет ее напоказ. Екатерина поняла державинскую оду. «Острые стрелы» недоброжелателей были отражены; зло не постигло Державина; он опять пошел в гору после опалы.

Однако еще важнее то, что Державина понял его читатель. Ода, ставшая человеческим документом, по-новому воспитывала эстетическое мировоззрение этого читателя; да и читатель был новый. Морально-эстетические цели оды у Державина гримируются под цвет житейских целей, и ода становится предметом полезным и читателю и автору. Еще в «Фелице» Державин прямо говорит о том, чего он хочет от адресата оды, потому что эта ода приняла на себя облик не то письма, не то прошения:

Послушай, где ты ни живешь,
Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки, иль бешметя
За них я от тебя желал...
Прошу великого пророка,
До праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслажусь.

Державин, скромный чиновник, хотел быть приглашен ко двору. Желание его было исполнено.

В эстетической практике Державина между поэтическим словом и разговорным, практическим был поставлен знак равенства. Для Державина (и для его читателя) обращенное на отвлеченную идею слово эпохи классицизма казалось пустой забавой; для них

язык, «творящий истину», был непонятен, мертв; они видели в языке возможность рассказать или возможность требовать, просить.

Когда Тредиаковский писал памфлет, пасквиль на Сумарокова, он хотел повредить своему врагу в глазах столичной дворянской публики, так же как он писал донос на него в синод, желая повредить ему в глазах официального духовенства. Но он не смел и думать, что он создает при этом литературное произведение. Даже обычных эпиграмм на определенных лиц поэты додержавинской поры не печатали, не считали настоящим делом, потому что они — вне целей и законов искусства, так же как газета и потом роман. Теперь у Державина именно эта подпольная, бытовая литература стала настоящей литературой.

Его стихи рвут из рук, их переписывают в заветные тетради, они не нуждаются даже в печати, их и без того все знают наизусть. Они — злоба дня. Они попадают не в салон и не в школу, а на улицу; их читают не в тиши кабинетов, а на общественных гуляньях, за многолюдным обедом, в гостиной, в передней, в дворцовом аванзале, в офицерской кордегардии, в семинарском рекреационном зале, на веселой пирушке. Они — факт быта. Их не изучают, как «Россиаду», а используют по назначению. Всякому лестно заглянуть в стихи, где продернут известный вельможа, где остро говорится о политике, где автор высказывается о вчерашнем событии; иногда стихи возмущают, иногда приводят в восторг. Автор рассылает своим читателям бюллетени о своих наблюдениях, сопровождая их своими замечаниями, и здесь перед ними опять всплывает вопрос о стихийной прогрессивности, заложенной объективно в самом художественном методе Державина. И его возвеличение поэта как сосуда вдохновения, и прямая политическая злободневность его поэзии, и — как основа того и другого — низвержение в его поэзии авторитетов феодальной иерархии норм искусства (а ведь они соотносились с нормами социального бытия), и ощущение права живой личности на самостоятельность, — все это ставило Державина в позу независимости ко всем властям, как вещественным, так и идейным. Державин-человек был непокорным бюрократом, сановником с неуживчи-

вым характером; Державин-поэт иногда неожиданно оказывался непокорным гражданином, беседующим с царями несколько «вольно», и здесь дело было вовсе не только в сознании победы своего помещичьего класса, но уже и в предчувствии буржуазного индивидуализма, игравшего тогда освободительную роль. Неизбежно Державин-поэт становился силой, опасной для феодального самодержца. Голос человека, не желающего повиноваться ничему, кроме своих мнений и вдохновений, как бы ни хотел быть верноподданным этот человек, был неприятен для правительства. Голос мог обольщать иллюзией свободы критики и суда читателей, искавших только поводов для выражения своего недовольства и иногда вовсе не верноподданных. Именно поэтому Державин, выступивший в начале 80-х гг. как правительственный поэт, через десяток лет взят тем же правительством под подозрение. Екатерина готова видеть в его стихах крамолу, которой в них, может быть, и нет, — и в этом отношении она думает так же, как Радищев. Екатерина находит якобинскую пропаганду в державинском переложении 81-го псалма «Властителям и судиям», Павел находит осуждение самодержавия в оде «Изображение Фелицы» и т. д. И в самом деле, стихи Державина звучат гораздо более смело, чем он сам хотел бы этого; и тот же 81-й псалом, и «Вельможа», и жестокое послание Храповицкому, и многое другое — все это было бы слишком «вольно», вероятно, и на взгляд самого Державина, если бы он сам мог понять, что он написал. Другие понимали за него. Оды Державина читались и распространялись в списках, как подпольная литература, потаенно, «морганически», как выразился А. Т. Болотов. «Появилось еще здесь едкое сочинение «Вельможа». Все целят на Державина, но он упирается» — писал один современник (Бантыш-Каменский) в письме от 1794 г.

Державинская поза независимости привлекала к нему симпатии радикальной молодежи, заставляла «благонамеренных» слуг правительства видеть в нем «крамольника». Ему приписывались в списках всякие вольнодумные стихотворения — от оды Клушина, безбожника и разночинного бунтаря (ода «Человек»), до оды «Древность», автором которой скорей всего являлся Радищев.

В этой же оде говорится о всепожирающей силе времени и о тех именах великих мужей, которые останутся от XVIII столетия:

Древность, мавзолей свой украшая,
Лишь над нами упражняет гнев,
И осьмнадцатый век удушая,
Высечет лишь новый барельеф.
Фрáнклин, преломивши скиптр британский,
Рéйналь с хартией в руке гражданской,
Как оракул вольныя страны,
И мурза в чалме, певец Астреи,
Под венком дубовым, в гривне с шеи
Будут у тебя иссечены.

Мурза в чалме — это Державин, поставленный между деятелем американской революции Франклином и радикальным публицистом, прославившим эту революцию, Рейналем. Припомним, что единственным человеком, которому Радищев послал экземпляр своего «Путешествия», не будучи знаком с ним, был Державин.

18

Таким образом преодоление классической эстетики и зарождение элементов реализма шло в русской литературе 1770—1780-х гг. по нескольким линиям, составлявшим как бы ответвления единого процесса. При этом ни одно из этих ответвлений не давало и не могло дать законченной реалистической системы. Фонвизин являет наиболее яркий пример формирования элементов реализма в той группе фактов русской литературы, которую Белинский назвал сатирическим направлением ее. Характерной чертой данного типа формирования реализма можно считать критику общественного уклада России XVIII века, связанную с прогрессивным смыслом отрицания, заложенного в самой социально-политической борьбе, например, Фонвизина (борьба против рабских форм крепостничества и против деспотии — против двух кардинальных зол русской жизни его времени). Характер отрицания, критики, как основа фонвизинского реализма, в то же время ограничивал его, не допуская его стать подлинной основой законченного и положительного, реалистического мировоззрения в искусстве. С другой стороны, элементы реализма в художественной практике

Чулкова (беру и его как типическое явление, представляющее целую группу литературных фактов) и, несколько иначе, Державина, имеют характер эмпирический, не подымаясь до принципиального обобщения действительности и тяготея к натурализму.

Все указанные линии литературного развития так или иначе соотносятся с единым течением западноевропейского, вернее — общеевропейского масштаба, течением антифеодальным, предромантическим, или иначе — сентиментальным, включающим и Макферсона, и Ричардсона, и Руссо, и молодого Гете, и Клопштока, и Дидро. С этим же течением, давшим в западных литературах, как и в русской, первые формирования реалистического искусства XVIII столетия и осуществившим первый этап подготовки реализма XIX столетия, соотносится и интерес к фольклору в русской литературной практике 1770—1780-х гг.

Между тем именно обращение к народной поэзии могло сыграть роль наиболее мощного импульса реализма в искусстве; стихия народного искусства, сближавшая писателя с народом, самая объективность коллективного опыта, отстоявшегося в фольклоре, реализм мировоззрения и стиля фольклора, возникшего как правдивое отражение народной жизни, — все это давало фольклорному искусству ту силу опоры и воздействия, которая могла оплодотворить искусство «книжное» на путях преодоления классицизма и в поисках жизненности.

В самом деле, приобщение к стихии народного творчества значительно обогатило русскую литературу конца XVIII столетия, но оно могло дать подлинный результат лишь тогда, когда писатель сумел увидеть в обращении к фольклору путь к народному сознанию, народной жизни в целом. Такое понимание фольклора именно и отличает Радищева, для которого народ был основой истории национальной культуры и будущего отечества.

Общий характер мировоззрения Радищева обеспечивал возможность появления наиболее глубоких и принципиальных обоснований будущего реализма именно в его творчестве. Историзм радищевского понимания общества и социальность его понимания человека обусловили то обстоятельство, что человеческие

образы, созданные им, типологичны не в рационалистически-классическом смысле, а в собирательно-социальном, что не противоречит индивидуальности их черт. Для Радищева самый язык — исторически данная ему реальность накопленной в слове культуры народа, и он не подгоняет его под отвлеченные нормы, а пытается использовать его традиции, не насилуя их, относясь к ним как к высшей ценности национального творчества.

Революционность мировоззрения Радищева определяла максимальную зоркость и максимальную правдивость его изображения жизни. Реалистическая устремленность творчества Радищева не противоречит, конечно, тому, что он как писатель является представителем того общеевропейского литературного движения, которое в русской истории литературы носило обычно наименование сентиментализма, которое на Западе называли предромантизмом, в Германии — отчасти «периодом бури и натиска» (Sturm- und Drang-Periode) и т. д.

Дело, конечно, не в названии, и условно можно даже продолжать называть данный круг явлений сентиментализмом. Важно же то, что на Западе в радикальных своих проявлениях, как и в творчестве Радищева, именно это движение осуществляло поступательный ход литературы по направлению к реализму, одним из этапов становления которого оно и являлось.

Сентиментализм разрушал эстетику классицизма. Нормы, правила, образцы и авторитеты — все это были для него сковывающие путы своего рода феодального принуждения. Сентименталисты хотели говорить о жизни, о человеческой жизни и о своем отношении к ней, о человеческих чувствах и переживаниях. Сентименталистов интересует прежде всего именно индивидуальный человек. Их искусство в высшей степени человечно. Человек со всеми его психологическими противоречиями, с его настроениями, чувствованиями, переживаниями для них высшая ценность. Они объявляют человека высоким существом, если он глубоко чувствует, потому что они уверены, что подлинное здоровое человеческое чувство всегда «добродетельно». Сентиментализм поднимает как свое знамя сво-

бодное человеческое чувство, признанное классицизмом незаконной «страстью», подлежащей подавлению. Свобода чувства была для Руссо свободой личности. Культ человека у него заключал в себе будущую декларацию прав человека и гражданина французской буржуазной революции.

Сентиментализм культивировал интерес к конкретным переживаниям человека. Руссо и в «Новой Элоизе» и в гениальной «Исповеди» показал всю сложность эмоциональной, психологической жизни личности. Но это вовсе не значит, что чувствительный герой сентиментальных произведений — слезлив и что сентиментализм — это плаксивость. Руссо чужд в «Исповеди» какой бы то ни было слащавости; Ричардсон местами до грубости резок в изображении действительности; Стерн более ироничен, чем слезлив. Сентиментализм создал произведения мужественные и боевые, наравне с нежными. Чувствительный человек был, в понятиях данного стиля, человеком, остро и сильно реагирующим на жизнь, на высокие проявления ее и — с другой стороны — на несправедливость, на тиранию. Чувствительный человек — это не холодный аналитик классицизма (так думали сентименталисты), а человек, полный интереса к жизни, пламенно откликающийся на ее призывы.

Ричардсон открыл европейской литературе частный быт с такой подробностью, такой конкретностью и принципиальностью, как этого никто не делал до него. Жизнь, быт, простые, обычные люди, их повседневные интересы, их горе и счастье — вот куда привели искусство с высот отвлеченной мысли сентименталисты. Они вглядываются в быт, но быт для них — прежде всего внешняя проекция психологических состояний. Трудно назвать их реалистами в полном смысле слова, хотя основы буржуазного реализма заложили они. Их реализм ограничен их индивидуалистическим психологизмом. Они хотят во всем увидеть душу человеческую и готовы поставить на этом точку. Весь мир замыкается для писателя-сентименталиста в сознании его героя, в конце концов — в его собственном сознании. Не случайно они пишут чаще всего либо романы в письмах, либо книги в форме записок, путешествий, — всегда от первого лица. Мир, вещи,

быт, природа существуют для них не сами по себе, а лишь как внешние возбудители состояний, настроений, мыслей героя. И все же и быт, и подлинные единичные вещи, и отдельные люди, и природа, — в особенности природа, — все это было по-новому открыто именно писателями-сентименталистами. Культ природы в высшей степени характерен для них.

Радищев воспринял сентиментализм от наиболее передового, революционного из писателей данного стиля — от Жан-Жака Руссо, в руках которого этот стиль был одним из мощных орудий разрушения феодального мира и построения демократического мировоззрения.

Радищев — один из наиболее ярких представителей европейского сентиментализма, хотя именно в его творчестве человек понимается в его социальном функционировании, — и это поднимает Радищева выше его западных учителей и в этом вопросе. Классические правила и образцы для Радищева не существуют; он хочет писать о настоящей жизни и настоящих людях. Его центральное произведение написано в жанре сентиментальных путешествий, но и здесь, как и во всем, Радищев самостоятелен. Его интересует не столько психология его героев, сколько социально-политическая среда, его окружающая. Однакоже и Радищев не лишен черт индивидуализма.

Основой культуры, как и основой общественного бытия, по Радищеву, вообще была личность, заявляющая свое право на жизнь, свободу, счастье, творчество. Именно Радищеву принадлежит первая большая критико-биографическая работа о русском писателе («Слово о Ломоносове»), именно он впервые поставил творчество поэта и даже ученого в связь с его характером и биографией.

Субъективизм мировосприятия Радищева был тем не менее формой усвоения и в то же время формой выражения вполне реального, конкретного мира, осуществленного и в обществе и в природе. В историческом смысле, по отношению к литературе дворянского классицизма, искусство Радищева было новаторским именно в качестве реалистического искусства. Радищев видит людей, вещи, отношения и события сквозь призму своего личного восприятия, но он *видит* весь

этот мир и стремится изобразить его так, как он видит его. Дворянская классическая поэзия не отображала действительности, не стремилась увидеть и запечатлеть внешний мир, а сама строила свой мир из элементов отвлеченной мысли. Реальность, признававшаяся классической поэзией, метафизична. Наоборот, объект изображения в творчестве Радищева конкретен и реален.

Радищев описывает единичные, неповторимые события, конкретные наблюдения, данные, реальные факты. Все то, что он описывает, типично, но не как условное выражение предвзятой концепции, а как характерное проявление общественной структуры, самой по себе специфичной, исторически данной и конкретной. Если политические романисты типа Фенелона, а в России — Хераскова, разбирали в своих произведениях вопросы бытия государства вообще, то Радищев в «Путешествии» ставит вопрос именно о данном государстве, о России, со всеми конкретными ее особенностями, с исторически сложившимся общественно-политическим укладом.

Изображая людей, Радищев старается наделить их индивидуальной характеристикой, иногда описывает внешность. При этом опять он дает черты типические, в его представлении, для социального типа, но самый тип понимается по-новому, и степень характерности облика этого типа строится на новом основании. Портрет асессора из главы «Зайцево», или губернатора в «Спасской полести» в «Путешествии», или яркий психологический рисунок в изображении крепостного интеллигента в главе «Городня» и др. могут служить примером характерологической установки Радищева. Показательны черты внешнего портрета купеческой семьи в главе «Новгород»: «Карп Дементьевич — седая борода в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой» — и другие описания всех членов семьи.

Реалистическим новаторством явились и зарисовки быта, подлинного, конкретного быта в «Путешествии» Радищева. Поэзия Державина отчасти подготовила интерес к быту, так же как творчество Фонвизина. Но принципиально-новый характер приобретает «бытовизм» у Радищева, который подошел к обыденщине

как обличитель, с намерением сорвать с нее последние покровы. Именно эта установка социального протеста, отрицания и борьбы дала возможность Радищеву показать быт конкретно и реалистично. Напомню описание крестьянской избы в главе «Пешки», историю с устрицами в «Спасской полести», трагедию, описанную в главе «Зайцево», и др.

Прогрессивная в XVIII веке западная буржуазия (в особенности же ее революционный авангард) внесла в искусство принцип активности, пропагандистской динамичности, открытой идейной направленности. Соответственную позицию в русской литературе занял и Радищев.

Радищев хотел не только увидеть и сказать правду о своей стране, но он хотел в то же время открыто ввести литературу в круг активных факторов социальной борьбы. «Путешествие» целиком пропитано публицистикой, политикой, идеями о воспитании, философией. При этом весь этот пропагандистский материал не сочетается с элементами словесного искусства в порядке педагогического облегчения серьезного чтения. Наоборот, он органически и изнутри строит свое словесно-художественное оформление, он является художественным материалом по преимуществу. Для Радищева сущность искусства заключается в его активности; пропагандистский характер материала есть для него один из основных признаков эстетического факта. Радищев осуществил на русской почве тот момент в развитии художественной идеологии Европы, который, может быть, наиболее четко был реализован в революционной Франции, где словесное искусство дало едва ли не высшие свои достижения в речах Мирабо или Дантона, в революционных приказах по армии и в политических статьях Марата.

Как стилист Радищев необычайно смел; конечно, он не новаторствует во что бы то ни стало; установки на новизну стиля как таковую у него нет. Но он ищет неиспробованных форм для нового содержания, для реалистического изображения быта, для психологического анализа, для революционных идей и революционного пафоса. Его язык иногда очень сложен, синтаксис запутан, слова необычны, речь ритмична. И все же он ни в малой мере не орнаменталист, так как в

его стиле нет нисколько эстетизации языка как самостоятельной художественной сферы.

Впервые возникшая в России философская мысль требует для выражения сложных связей идей и понятий сложного построения фразы. Новизна самих понятий и новое освещение старых требуют словаря необычного, соответствующего новизне этих понятий. Эмоциональный подъем требует ритма, а пропагандистская установка — ораторской интонации.

Язык Радищева весьма разнообразен. Каждое из его произведений пестро по своему стилистическому составу, и каждая тема приносит с собой свой стилистический рисунок. У Радищева нет единого, общего для всех его произведений или даже единого для целого произведения стиля. «Путешествие» заключает различные куски в отношении языка. Бытовые сцены написаны разговорным, живым, легким языком. Они реалистичны и в стилистическом отношении. Другие отрывки (например, рассказ о сестрорецких путешественниках в главе «Чудово») написаны более «высоким», более литературно-условным языком. Наконец, там, где Радищев говорит о политике, о философии, о праве человека и гражданина и т. п., — он говорит славянским, напряженно-торжественным, библейским и в то же время ораторски-страстным языком. Он умеет и диференцировать язык персонажей. Купец, семинарист, поэт, помещик, крестьянин говорят разными языками. Здесь существенное отличие Радищева, например, от Карамзина, у которого повесть, роман, письма русского путешественника, личные частные письма, объявления о журнале, речи бедной Лизы и речи западного философа построены по единому стилистическому типу «средней», сглаженной речи. Приподнятость радищевского языка, — в тех местах, где он проповедует свои идеи, — вызвала недоумение и осуждение критиков, начиная с Пушкина. Их смущало обилие славянизмов, славянских оборотов; в самом деле, Радищев нередко до предела насыщает свою речь элементами, связанными в его представлении и в представлении читателя с идеей церковнославянского и древнерусского языка.

Ораторские страницы «Путешествия» Радищева славянизированы гуще, чем это было даже в «высо-

ком штиле» у Ломоносова. При этом они славянизированы нарочито, подчеркнуто. Тем не менее славянизмы Радищева не должны считаться признаком его принадлежности к «архаистам», тем более — принадлежности его стиля к сфере идеологического влияния дворянства.

«Теория трех штилей» Ломоносова была между прочим направлена против дворянской эстетики и поэзии. Светское дворянское воспитание вытеснило еще в 60-х гг. навыки церковного чтения в высшем обществе», так же как осторожное вольнодумство дворянских салонов оттеснило церковное влияние.

Наоборот, Псалтырь оставалась чтением «низов» — купечества, людей «третьего чина», подьячих. Подьячий, с ненавистью опорочиваемый дворянской литературой, в ее изображении обязательно славянизирует свою речь; он начитан от священного писания, так же как купец. Церковная речь, не как придворный «высший штиль» Ломоносова, а как язык церкви и прежде всего старинной русской культуры, формировала словесное мышление не-дворянских слоев культуры. При этом дело здесь было не в религиозном мировоззрении, а именно в традициях национальной культуры, противопоставляемых космополитизму дворянской идеологической практики.

19

С радищевской литературной позицией непосредственно связана и литературная практика Крылова и Клушина (славянизмы Радищева нашли отклик именно в очерках Клушина). Крылов, в частности, начиная уже с «Почты духов», движется в русле формирования реалистического подхода к действительности. В введении к журналу Крылов дает первый очерк реалистического романа с героем-бедняком. Аналогичный опыт заключает большая повесть Крылова «Ночи»;[1] реализм и психологизм этой повести, в основном сатирической, приближают Крылова к проблеме построения романа в духе западноевропейских

[1] «Зритель», 1792.

поисков этого жанра у Прево, Мариво, Руссо. Крылов зависит при этом отчасти и от Стерна, но понимает его не в карамзинском эмоционально-расплывчатом смысле, а в плоскости конкретной рисовки психологии и быта, подчеркивая и выдвигая политическую учительную насыщенность своей манеры, русской по происхождению.

Крылова отличает от Радищева тяготение к сатирическому роду творчества, влияние вольтеровской прозы, вольтеровской сатирической хватки. Но и в сатире Крылова заметно, с другой стороны, воздействие художественной публицистики и романов Дидро, одного из представителей радикального французского сентиментализма. В «Каибе» и вся декорация прозрачно-условного Востока и ряд мотивов восходят к «Bijoux indiscrets». Вообще говоря, связи молодого Крылова, как и Клушина, с западным радикальным сентиментализмом достаточно значительны. В то же время Крылов и Клушин вступают в борьбу с дворянским сентиментализмом карамзинского толка. Эта борьба развернулась уже в 1792 г. в «Зрителе».

14 июня 1792 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Каков тебе кажется Петербургской *Зритель,* который жестоко разит петербургских актеров нижнего разбору и Венериных жриц? .» И дальше: «Что Львов, сочинитель Памелы? Стенает ли он от *нечестивых?* Чувствует ли удары *Зрителя?*» Первая стрела была направлена по адресу сатирических картин разложения нравов дворянства; Карамзин как будто бы не хочет понять, против кого направлена сатира «Зрителя». Вторая стрела — по поводу последовательных нападок «Зрителя» на «Антирихардсона», т. е. П. Ю. Львова, автора «Российской Памелы», идиллического дворянского сентименталиста.

В июньском номере «Зрителя» Клушин поместил рецепты от бессонницы. Между ними — такой: «Не забудь присоединить к сему редких и избранных изображений, какие например помещены в... О инструмент моей печали! — О магнитная сила моих удовольствий! — прибавь к сему рифмопрозаическое творение *Вахмистр,* рассуждение о *поэмах,* помещенное в примечание на К. и Г — сверни все это в кипу, положи поближе к сердцу; но берегись продержать более

пяти минут. Ибо первый опыт усыпляет только на двое суток, а переход за семь охлаждает кровь навсегда».

Клушин имеет в виду карамзинский «изящный» салонный стиль, затем стихотворение Дмитриева «Отставной вахмистр» («Московский журнал», 1792, ч. V) и рецензию Карамзина на «Кадма и Гармонию» Хераскова (там же, 1791, ч. I). Итак — «Московский журнал» и «Зритель» оказались врагами.

18 июня того же 1792 года Карамзин пишет Дмитриеву: «Что принадлежит до зрителей, мой друг, то я столько уважаю себя, что не войду с ними ни в какой бой. Пусть они уничтожают примечания на Кадма и Гармонию и все, все, что им угодно! Qu'est ce qu'il y a de commun entre nous? — скажу я с одним французом. — Твой *Вахмистр* в Москве гораздо счастливее, нежели в Петербурге. У нас его хвалят, и очень хвалят... Впрочем я думаю, что Коклюшкин не есть петербургская публика...» и т. д. — все в том же духе аристократического презрения к людям, с которыми он не хочет даже считаться (характерно пренебрежительное калечение «плебейской» фамилии Клушина).[1]

Напал на Клушина и Дмитриев. На оду Клушина «Человек»[2] он написал эпиграмму:

О Бардус, не глуши своим нас лирным звоном;
Молвь просто: человек — смесь Бардуса с Невтоном.

В «Чужом толке» он говорит о «стихотворителе»,

Которого трудов Меркурий наш и Зритель
И книжный магазин и лавочки полны, —

т. е. скорей всего — о Крылове или, может быть, о Клушине.

Неправильно было бы думать, что «Зритель» (и потом «Санктпетербургский Меркурий») был врагом Карамзина и его журнала потому, что он был против сентиментализма; но он был против сентиментализма

---

[1] См. также в письме № 16 по «Письмам Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», 1866: «Между тем, да будет тебе известно, что Дмитревский вместе с Плавильщиковым и Клушкиным, или Кукушкиным, или Кулушкиным, издает в Петербурге журнал *Зритель*, который еще до меня не дошел». Н. В. Рождественский исправляет дату этого письма: март — апрель 1792 г. («Сборник Моск. Главного архива министерства иностранных дел», вып. 6, М. 1899).

[2] «Спб. Меркурий», 1793, № 2, стр. 3.

пассивного, умиротворенного по отношению к крепостничеству, воспевающего природу из окон барского дома, стремящегося к салонному изяществу, занимающегося вопросами морали в первую очередь, создающего «средний»», гладкий, отвлеченно-музыкальный стиль, идеализирующего быт, — словом, дворянского сентиментализма. Эстетика феодальной иерархии, эстетика высокого искусства и рафинированной культуры, салонной отделки стиля и рефлексированной эмоциональности уступает в нем место эстетике практики жизни и откровенного разглядывания ее противоречий.

Сентиментализм «Зрителя» общественно активен: он полон разрушительных элементов, приближающих его к его французскому прообразу; он окрашен в отчетливые тона национального самопонимания и демократизма. И вот именно за барский эстетизм, «формалистический» подход к литературе, за бессодержательность (с точки зрения Крылова), за модничанье, за аристократический космополитизм и «западничество», за изысканность языка обрушивается Крылов на Карамзина.

«Зритель» нисколько не отказывается от западного воинствующего сентиментализма. Крылов находится под влиянием Стерна. Он несколько раз апеллирует к авторитету сочинителя «Новой Элоизы» — Руссо.[1] «Зритель» уважает Ричардсона. Он зависит от традиции предромантической «поэзии ночи», переплетенной у него с предромантической иронией:

«Тебе, о нощь! бывает часто должен он [мудрец] произведением своих мыслей; и когда одéешь ты небеса мрачным покровом и усыпишь природу, он тогда вверяет тебе размышления свои. Не видя вокруг себя ничего, кроме рассеянного мрака, производящего слабоумному сон, а мудрецу размышление, делает он суд над человечеством: кажется, что он один остался тогда во вселенной, и что гордость, насильствие не дерзают налагать оковы на его мысли, которые только тогда нравоучительны без подозрения, когда следуют они своему собственному стремлению, не управляемые ни страхом, ни пресмыкающеюся ле-

---

[1] Ср. также статью Плавильщикова (?) — «Зритель», **1792**, № 2, стр. 31.

стью; иначе нравоучитель есть скопец, проповедующий девство, коего скованные насильством чувства не подражание, но посмеяние себе производят.

«Но когда ты, мрачная спутница размышлений, ночь, бываешь свидетельницею, что не корыстолюбие и лесть заставляют его рождать славу героев, но добродетель и премудрость их; тогда нравоучение его, извлекаемое из великих дел их, чисто и свободно; тогда возбуждает он сердца удивляться себе, и подражать добродетели воспетых им героев; тогда. .

«Вдруг отворилось окно в моей комнате, и женщина лет под сотню, сидевшая на серебряной рогатой луне, спустилась по воздуху ко мне в комнату. Я тотчас узнал, что это ночь, для того, что раза три видел ее на театре в Амфитрионе, комедии Мольера, где она точно также спускается; с тою при том разницей, что там ее с небес спускают на веревках, которые часто видны и заставляют нередко меня трепетать, чтоб госпожа богиня не раскроила себе череп и не убилась бы до смерти. Что до той ночи, которая посетила меня, то машинист ее кажется был исправнее театрального.

«Я лежал в постеле, и как я не привык принимать толь знатных гостей в таком беспорядочном положении, то посещение сей госпожи очень меня встревожило». [1]

В стихотворении А. Бухарского «Письмо к другу» дается список писателей-образцов — и в первую очередь сочувственная характеристика Геснера, Арно, «Рихардсона», Мильтона, причем они показаны именно в плоскости идеологической, а не только эстетической, как это было у карамзинизма, против безидейности которого направлено все послание. Элегия И. Варакина «Долина» написана в духе «Сельского кладбища» Грея. В журнале помещены пространные переводы из Оссиана (И. Захарова), затем — подражание Геснеру («Утренняя песнь») и перевод поэмы Захарие «Четыре возраста женщины» — прославление буржуазного идеала женщины в семье.

Писатели из «Зрителя» принципиальны в своем неприятии карамзинизма, как и всей дворянской литературы. Клушин писал: «И теперь еще могут быть толь

---

[1] *Крылов,* Ночи — «Зритель», № 1, стр. 78—80.

великие люди [писатели], ежели истребят ложных меценатов, которые не покровительствуют, но подавляют науки».[1] Образ свободного поэта прославляет А. Бухарский в «Оде на день моего рождения»:

Ужели жаждущие славы
Одни герои лишь кровавы
На лирах стоят петы быть?
Иль смертные одни венчанны,
И их дары златосиянны
Жар в музах могут возбудить?

Нет, музы, так мы не умалим
Талант свой в разуме людском.
Явим, что коль кого мы хвалим,
То человека хвалим в нем.
Когда кто льстивым фимиамом
Пред знатным дышит истуканом,
Без всех той статуи заслуг,
Им вы во зло употребленны;
И сквозь стихи его надменны
Корысти виден низкий дух.

Меня не будет совесть грызти,
Не станут люди упрекать,
Чтобы ласкал я для корысти,
И чтобы пел я только знать...

Далее развивается почти пародия на Державина (ср. его «Оду на рождение порфирородного отрока»), заостряющая проблему перестройки державинского искусства на службу радикализма группы Крылова.

В статье, может быть принадлежащей Плавильщикову,[3] дается резкая отповедь культуре салонов «высокого тона», где слова «милый» и «любезный» — высшая похвала и где забыт культ добродетелей. А ведь эти «милые» и «любезные» — это и есть культура Карамзина. Формализм, безидейность Карамзина-критика (автора примечаний к стихам в «Московском журнале»), который замечает только пустые грамматические мелочи и «не касается досматривания авторовых мыслей, плана сочинения, характеров действующих лиц, ума и способностей», высмеяны Клушиным.[4]

Примиренчество дворянской сентиментально-идиллической литературы разоблачил Крылов в «Каибе»:

---

[1] «Зритель», № 1, стр. 43.
[2] Там же, стр. 204—205.
[3] Там же, стр. 19.
[4] «Зритель», № 2, стр. 163.

«Каиб продолжал свой путь!

«Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостию посмотреть сельских жителей. Давно уже читая Идиллии и Эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в Идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком.

«Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. «Великий Магомет, — вскричал он, — я нашел то, чего давно искал» — и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку́ так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных, и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметенное грязью. Калиф было усумнился: человек ли это; но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден.

«Скажи, мой друг, — спрашивал его калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?» — «Это я», — отвечало творение, и в то же время размачивал в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. «Ты пастух! — вскричал с удивлением калиф. — О! ты должен прекрасно играть на свирели». — «Может быть; но голодный не охотник я до песен». — «По крайней мере у тебя есть пастушка: любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?» — «Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было ей чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». — «Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?» — «О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас». — «Признаюсь, что я много верил Эклогам и Идиллиям, — сказал калиф. — Фея, слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною.

Но такую гадкую холстину, — продолжал он, смотря на пастуха, — такую негодную холстину разрисовать так пышно: это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастии моих любезных мусульман». — И калиф пошел дальше».

Карамзин продолжал линию приспособления западного сентиментализма к навыкам русской дворянской культуры, начатую Веревкиным и Херасковым. Крылов и Клушин соприкасались с тем революционным сентиментализмом, высшим достижением которого в России было «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, — и вместе с Радищевым выковывали первые образцы русского реализма.

В отношении литературном редакторы и главные сотрудники «Санктпетербургского Меркурия» (1793) продолжают линию «Зрителя»; в поэзии они, в особенности Клушин, идут путями Державина (Клушин нередко попросту копирует его) и в то же время создают легкую поэзию живого, острого рассказа, философической болтовни и т. п. В основах своего эстетического мышления вообще — они радикальные сентименталисты. Памфлет против Карамзина заключает статья Крылова «Похвальная речь Ермалафиду». Клушин поместил в журнале свою повесть «Несчастный М-в» — опыт русского Вертера с резко бьющей в глаза тенденцией социального протеста в мелкобуржуазном духе. «Вертер» и «Новая Элоиза» — книги, которые питают душу героя. «Чтение первого увеличивало движение души его и делало несносными его несчастия». Крайний, доведенный до предела сентиментализм характеризует эту замечательную повесть Клушина, так же как, например, его «Российский анекдот — Чувствительный солдат».

«Санктпетербургский Меркурий» посвящает специальную восторженную статью Ричардсону, в которой высоко оценен также Руссо — и именно как учитель общества (статья переведена с французского Ф. Пучковым). Особая статья посвящена также «Английской комедии». Характерны и переводы из Геснера,[1] сенти-

---

[1] «Спб. Меркурий», № 3, стр. 144 и сл.

ментальна песня Николева «Полно сизинькой кружиться» или, например, такой прозаический отрывок, напоминающий Карамзина:

«Солнце уже играет в перлах безмолвной росы; увядающие цветы подъемлют томные головки, и тихие зефиры, друзья утра, потрясают легкими своими крыльями. — Милые друзья утра! какие места будете вы в сей день прохлаждать бальзамическими своими веяниями? Благовоние роз, конечно, привлекает вас больше, нежели желтеющие ивы и тяжкое дыхание елей. Вы оставите сии скучные места. Но скажите мне: куда вы полетите искать сладчайшей для себя работы, в чьих цветниках будете собирать приятные благоухания?» — и т. д.

Ультрасентиментальный (вернее — предромантический) характер имеет и переводная статья «Ночная прогулка» (пер. Н. Яновский) и др. (см., например, «София над гробом М-ва» — стихи Клушина, как бы дополнение к повести «Несчастный М-в»).

Характерно выступление против Вольтера с руссоистических позиций в переводной статье «Портрет г. Вольтера» (впрочем, еще раньше напечатаны статьи Вольтера).

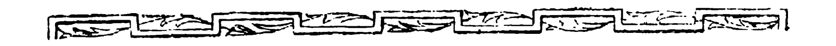
Среди проявлений сентименталистического уклона «Меркурия» обращает на себя внимание как бы диссонирующий факт: Клушин специально посвятил заметку-примечание вопросу о новой немецкой драматургии (примечание к статье из Вольтера «Рассуждение об аглинской трагедии»), в которой с ожесточением напал на «сих безобразных выродков литературы, в которых нет никаких правил. . .» и т. д.; при этом он назвал произведения Шиллера («Разбойники»), Лессинга («Сара Самсон», «Эмилия Галотти»), Коцебу («Ненависть и раскаяние»).[1] Это кажущееся противоречие объяснимо. Прежде всего необходимо отметить, что высказывание Клушина — не случайность. Еще в «Почте духов» Крылова защищались правила «для драматических произведений». Дело в том, что, выступая против германской буржуазной драматургии, Клушин и Крылов боролись прежде всего с

---

[1] Ср. с этим его же замечания о правилах эпопеи в рецензии на поэму И. Завалишина «Героида» («Спб. Меркурий», № 2, стр. 136).

теми русскими драматургами, которые усвоили традицию германцев и отчасти буржуазной драмы Западной Европы вообще. Херасков, Веревкин и т. п. создали русскую традицию сентиментальной драмы, формально зависящую от уроков Запада, но по существу целиком перестраивающую западную систему. У Хераскова, Веревкина или любого из авторов их толка слезная драма служит консервативным задачам помещичьей культуры, — и это изменяет весь идейный и художественный состав русских дворянских сентиментальных пьес по сравнению с радикальной буржуазной драмой Запада. Только в конце XVIII века появляются в России первые подлинно *буржуазные* сентиментальные драмы (если не говорить о не до конца проясненных тенденциях творчества Лукина). Среди них виднейшее место занимают произведения Плавильщикова, товарища Клушина и Крылова по типографии и «Зрителю». Очевидно, что и Клушин и Крылов не против *таких* драм. Но они против увлечения немецким театром в том виде, как им увлекались учителя Карамзина и прежде всего сам Карамзин. Именно Карамзина имеет в виду Клушин в последнем абзаце своего примечания о драме, и этот выпад против него объясняет запальчивость всего примечания.

Между тем Плавильщиков же написал и «правильную» трагедию «Тахмас Кулы Хан»; он же защищал сумароковские трагедии. Государственная тематика, прямая политическая насыщенность классической трагедии, видимо, говорила в ее пользу с точки зрения радикалов из «Зрителя», особенно на фоне политического примиренчества карамзинского германизирования.



У ИСТОКОВ РУССКОГО СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

I

При изучении литературы и в частности поэзии начала XIX столетия, — времени, когда Пушкин был мальчиком и готовился к выступлению на поэтическом поприще, — мы постоянно сталкиваемся с одной проблемой, разрешение которой представляется необходимым для уяснения целого ряда кардинальных вопросов историко-литературного процесса данного периода. Я имею в виду на первый взгляд стилистическую проблему так называемого «легкого стиха». Всякий, кто читал стихи поэтов сентиментально-романтического круга 1800—1810-х гг., кто знаком с творчеством Жуковского и Батюшкова, кто заглядывал в журналы того времени и читал множество элегий и посланий, писанных совсем в тоне Жуковского или в тоне Батюшкова, всякий, хоть сколько-нибудь соприкоснувшийся со стилистическим характером поэзии начала века, — знает хорошо по общему впечатлению эту манеру «легкого стиха» предпушкинской плеяды. На фоне величественной и грубоватой поэзии Державина, на фоне традиций радищевской гражданственной поэзии, на фоне затрудненной стилистической практики Боброва, или Ширинского-Шихматова, или сумароковского эпигонства поэтов типа Д. И. Хвостова, — совершенно специфичен весь стилистический облик дру-

жеских посланий так называемых «карамзинистов», или их элегий или альбомных стихотворений. Много подбирали и много можно подобрать еще эпитетов и определений для этого общего стилистического облика, и эти эпитеты и определения верны, хотя, как мне кажется, чаще всего не уточняют самой проблемы, а лишь намекают на нее более или менее метафорически. Так, справедливо, что стих Батюшкова и его окружения — прозрачный, изящный, салонный, изысканный, гармоничный, уравновешенный, — но требуется уточнить, что все это значит. Было бы справедливо распространившееся в последние годы представление о том, что карамзинисты культивировали средний слог, если бы стилистическая система «карамзинистов» (допустим на минуту этот неточный термин) не снимала представление о высоком, низком и среднем стилях вообще и с достаточной определенностью.

Между тем именно эта искомая в смысле научного своего изучения поэтическая манера, этот слог и склад стиха был той технической базой, на которой вырастало мастерство мальчика-Пушкина; это был тот типологический признак стиля, который объединял ряд поэтов пушкинской плеяды еще на протяжении 1820-х гг. Это был тот поэтический канон, который породил в альманахах и журналах 1820-х гг. массовое блестящее и гладкое эпигонство, разбить который стремились в 1830-х гг. с разных концов разные поэты, пародисты, критики — от Полевого до Бенедиктова и от Пушкина до Тютчева и Баратынского.

Трилунный, Щастный, Ободовский, еще раньше — Склабовский, Филимонов и многие, многие эпигоны — все они писали очень хорошие, необыкновенно гладкие, остроумные, легкие стихи. Механизм стиха и слога свелся к сумме штампов. Повторяемость поэтических мотивов привела к волне бессмысленного, хотя не лишенного эффекта эпигонства. Но дело в том, что эта повторяемость, эта «штампованность» элементов стиля сама по себе вовсе не была результатом упрощенческой работы эпигонов. Наоборот, она была органически свойственна самому стилю в целом, она была задана всей совокупностью стилистического характера поэзии Батюшкова и еще ранее Дмитриева. Конечно,

и здесь разница между мастерами, у которых система «штампов» была осмыслена в самой своей узости, и эпигонами, которые за повторяемыми схемками ничего не видели, — была огромна. Поэтому не следует видеть в возможности эпигонского опошления суть самого стиля, образованного плеядой крупнейших поэтов, отметившего одну из наиболее ярких страниц истории русской поэзии, наложившего печать своего воздействия на Баратынского, Языкова, Веневитинова, подготовившего стиховую культуру русского языка в ее самых высших проявлениях.

Как и в других случаях, и здесь проблема стиля, стиха, поэтической манеры, поэтического слога — это проблема мировоззрения. Мне кажется, что перед нами стоит задача реализовать это общее утверждение, в данном случае — на указанном выше конкретном примере. Я нисколько не думаю, что смогу хоть в малой мере разрешить проблему стиля поэзии предпушкинской эпохи, хотя бы даже применительно к одному писателю. Моя задача заключается только лишь в том, чтобы наметить путь, на котором, как мне кажется, можно будет прийти к решению вопроса.

Стилистическая манера Жуковского и Батюшкова была создана не ими впервые и не на пустом месте. Они завершили движение, складывавшееся еще с 1770-х гг. Мне представляется полезным наметить хотя бы в общих чертах истоки этого движения стиля в русской поэзии.

2

Литературно-идеологические течения конца XVIII и начала XIX столетий в России вообще как правило берут свои истоки в более раннее время и, в частности, в 70-х гг. Радищев выступает впервые в литературе в начале этого десятилетия и уже с 1772 г. готовится к «Путешествию», Державин формируется как поэт с 1774—1779 гг.; наконец, русский дворянский сентиментализм возникает в начале этого же десятилетия.

70-е годы XVIII столетия — время большого перелома, разрушения укрепившихся в прежние годы устоев мировоззрения дворянства. Основным, решаю-

щим событием, определившим и причину и характер этого перелома, было пугачевское восстание. Оно не только привело к правительственному зажиму либеральной мысли в среде дворянства, но и к глубоким деформациям самой этой либеральной дворянской мысли. Отсюда и кризис литературы и дальнейшее преобразование ее.

Года за два до начала восстания Херасков, глава и наиболее характерный представитель дворянской либеральной поэзии 60-х—70-х гг., приступил к созиданию «Россиады». Это было время наибольшего расцвета сумароковской школы, торжества русского дворянского классицизма. «Россиада» должна была стать демонстрацией и доказательством крепости и побед не только русского оружия, но и школы поэтов круга Хераскова. В период первых правительственных репрессий против дворянской фронды Херасков сделал все возможное, чтобы создать огромный художественный памятник, способный наиболее полно выразить идеи его группы. Самый объем его труда был невидан в русской литературе. Самый жанр ее должен был импонировать: героическая эпопея считалась по правилам классицизма высочайшим достижением искусства; еще Тредиаковский так начинал свое предисловие к «Телемахиде»: «Ироическая, инако эпическая Пиима и эпопиа, есть крайний верх, венец и предел высоким произведениям разума человеческого» (1766).

«Россиада» в самом деле — венец литературы, созданной передовыми слоями дворянства, как она сформировалась до восстания Пугачева. Здесь дело было не только во внешнем следовании правилам общеевропейского классицизма, но и в самом понимании природы художественного слова, рационалистическом и объективистском в специфических механистических формах. За стилем Сумарокова и Хераскова (до «Россиады» включительно) стоит идея о незыблемых и объективно существующих категориях, истинно, логически концептируемых поэтической речью. Слово в стиле «Россиады» — плоскостно, терминологично, однозначно и точно. Оно *значит* в меру точно определенного своего логического значения. Самый принцип высокости славянизма не является признаком эмо-

ционального ореола вокруг данного слова (так было отчасти у Ломоносова), а является результатом детальной классификации точных значений. Реальность изображаемого мыслилась не как эмпирическая реальность конкретных предметов, а как концептуальная реальность вечных и объективно данных идей. «Молодость», «баран», «смотреть» — эти слова были не просто словами иного эмоционального звучания, чем «младость», «агнец», «зрети», а обозначали другие объекты; «молодость» относилась к фактам личной жизни отдельного человека, «младость» была общим понятием. Иерархия высокого и низкого в данной системе мысли и творчества была не столько иерархией выражений, сколько иерархией выражаемого; это была не столько классификация слов, сколько классификация понятий. В конце концов синонимика, лингвистическая (славянизм — руссизм) или стилистическая, исключалась; недаром Фонвизин, писатель той же культуры, с таким интересом и в «Недоросле» и в специальной работе «Опыт российского сословника» занимался уточнением разделения смысла синонимов. Всякое слово крепко связывалось с отдельным, к нему прикрепленным объектом, и эта связь должна была оправдываться не психологическими ассоциациями, а внеположной для поэта системой классификации понятий. Характерно, что свои семантические опыты о синонимах русского языка Фонвизин мог переводить с французского. Специфики национального сознания для него почти не существовало. Слова равнялись в логическом смысле объектам, существовавшим вне языка, переживания, психологической данности, личной или национальной. Весь мир распадался на множество понятий, и каждое из них требовало условного знака — слова. Атомизм миропонимания отражался в атомизме стиля.

Словесный состав в «Россиаде» формирует объективную действительность, как она понималась рационалистом и дворянским либералом Херасковым, т. е. прежде всего действительность «общечеловеческих» идей. Поэзия школы Сумарокова — Хераскова идеологична по преимуществу. Она всегда открыто устанавливает и утверждает «абсолютные» идеи и тем самым

она всегда направлена на объективное идеологическое и политическое бытие. Для нее мир поэта — не в его индивидуальном сознании, а вне его, в объективно предстающем ему мире абсолютных идей. «Россиада» изображает идею идеального государства и, конечно, тем самым содержит критику государственных порядков, противоречащих этой программе. Теоретическая поэтика классицизма нормативна; она требует, порицает и награждает; нормативны в рационально-механическом плане все мышление и вся поэтическая практика русских классиков. Даже элегия давала аналитическую формулу нормы любовных переживаний идеального человека (дворянина) и тем самым осуждала все конкретные и фактические уклонения от этой нормы. Тем более относится это к непосредственно идеологическим жанрам классицизма: сатире, оде, басне и, конечно, эпической поэме.

Героическая поэма в классическом ее облике была жанром, сугубо ответственным в идейном и политическом смысле. И «Россиада» содержала отчетливое выражение взглядов ее автора. Это поэма дворянская, но не поэма слуги деспотии Екатерины II. Херасков прославляет мощь и величие дворянской монархии: его царь — не бесконтрольный самодур-самодержец, а лишь первый среди равных, лишь вождь дворян, и только дворянские доблести и дворянская инициатива делают его политику плодотворной. Героика войны феодалов и пафос свободного обсуждения государственных дел дворянскими главарями движут поэму. Добрые старые времена феодальной независимости аристократов (так представлял себе изображаемую эпоху Херасков) он рисует восторженно. «Россиада» — поэма феодальных воспоминаний, поэма дворян, идеалом которых является человек, многозначительно названный «Стародумом». С другой стороны, «Россиада» — это поэма с современной автору проблематикой, изображавшая борьбу России с магометанским государством. «Россиада» была начата Херасковым в самый разгар первой турецкой войны и закончена перед захватом Крыма, когда российское государство вновь готовилось к схватке с Турцией ради распространения влияния России на Черном море и ради возмож-

ности захвата Польши. «Россиада» в образах прошлого пропагандирует и прославляет политику русского дворянства. Конечно, эта идея, присущая поэме, могла примирить с нею все слои дворянства и правительство. Наконец, с этой же идеей связана и пропаганда христианства, пронизывающая поэму.

Этот идеологизм замысла поэмы, рациональная построенность и нормативность ее реализуются в каждом отдельном слове, выражении, элементе стиля. Синтаксис, порядок слов непосредственно и точно должны выражать иерархию и соотношение идей. Получается своего рода математичность схематической семантики речи, приводящая к микроскопической детальности анализа мира, общества, человека в выражении. Перестановка слов уже есть сразу же изменение мысли. Всякое слово, всякий оборот ответственны, и ответственны именно в логическом смысле. В одиннадцатой песне «Россиады» Херасков описывает трудный момент боя русских с татарами:

Россияне уже склонялись отступить,
Но силы новые пришли их подкрепить:
Вельможи с мудрыми приспели к ним речами;
Сам царь влиял в сердца им храбрый дух очами.

Это — не общее место. Для Хераскова важно то, что он сначала упоминает вельмож, а потом царя; кроме того, вельможи руководят при помощи мудрых речей, а царь — только символическая фигура, и его дело — не столько реальное руководство, сколько патриотическое моральное воздействие. Каждая деталь точно и «разумно» соответствует единой концепции всей поэмы, концепции дворянского конституционализма. Что мое толкование не произвольно — видно из последующей переработки Херасковым приведенного места. Я процитировал его по первому изданию поэмы.[1] Тот же текст дает в данном месте и второе издание.[2] Но вот наступила французская революция, панически повлиявшая на Хераскова. Он окончательно отказывается от фрондерства, от либерализма, он видит в самодержавии спасительный оплот от ката-

---

[1] «Россиада», 1779, стр. 242.
[2] Там же, 1786, стр. 233.

строфы. «Россиада» перерабатывается и стилистически и в плане идейно-политическом. И в третьем издании ее, 1796 г., указанное место звучит так:

Россияне уже хотели отступить,
Но силы новые пришли их подкрепить,
Бог волею своей, царь бодрыми очами,
Вельможи твердыми и мудрыми речами.[1]

Итак — реальную помощь против «неверных» оказывает бог; царь упомянут сразу после него, как его представитель на земле, а затем уже — вельможи, впрочем сохраняющие свои мудрые речи; однако эти речи в новой иерархии уже лишены в значительной мере своего принципиально-политического значения; вельможи в данном тексте выглядят как исполнители воли и силы бога и царя.

Слово в руках Сумарокова, Хераскова и их учеников рассчитано на одно-единственное и притом отвлеченное понимание. Оно не должно допускать соотношения себя с единичной (и потому в концепции дворянского рационализма неразумной) конкретной вещью, личностью, — с эмпирией. С другой стороны, оно не должно допускать в своем понимании кривотолков, «страстей», т. е. осложнения своего смысла эмоциональными и вообще лично-психологическими ассоциативными комплексами. Оно чуждается эмпирической или вообще материальной объективной исторической действительности, видя объективную действительность в категориях общечеловеческих, идейно-разумных норм и понятий. Оно чуждается и субъективно-психологического восприятия действительности, полагая принцип искусства в выражении именно общеобязательных и по-своему объективных форм логической мысли. Таким образом реализму и материализму (хотя бы механистическому) система Хераскова противостоит как идеалистическая; субъективизму и сенсуализму, а затем объективному идеализму она противостоит как рационалистическая и прежде всего объективистская. Однако враждебность ее по отношению к Шекспиру и Гоббсу более непреодолима, чем по отношению к мистике. Там — невозможность принять,

[1] «Россиада», 1796, стр. 285.

понять и оправдать действительность плебеев, народа, здесь — зыбкая убежденность в незыблемости «разумной» схемы общества — по Монтескье. Этой убежденности нанесло страшный удар пугачевское восстание. Потом ее уничтожит французская революция.

5

«Россиада» вышла в свет через пять лет после пугачевского восстания, когда ее величественный классицизм становился уже анахронизмом. В пугачевскую пору и в первые же годы после нее русский дворянский классицизм стал разрушаться. Снизу и сверху скопились силы, разбивавшие классицизм в самом корне, в его социально-идеологической основе. Дворянская фронда, несшая его как свое литературное знамя, подверглась ударам потемкинского режима, также связанным с «уроками» восстания. Страх перед ним заставил правительство активно выступить против крамолы и в среде дворянства. Страх крестьянской революции заставил многих из среды фрондеров сдать свои позиции. Ясность, целеустремленность, законченность, самоуверенность мировоззрения Сумарокова не могли сохраниться после испытания 1773—1775 гг. О пугачевском восстании не говорили в печати; воспоминание о нем было слишком страшно. Да и правительство запрещало писать о нем. Но за плечами всей литературы, начиная с 1774 г. и до «Путешествия» Радищева, все время стояла мысль о катастрофе, чуть-чуть не поглотившей дворянскую монархию. Эта мысль явственно проступает в «Недоросле» Фонвизина. Она мучила всякого дворянского мыслителя того времени. В 1783 г. Фонвизин послал свои «Вопросы» в журнал почти правительственный, в «Собеседник». Последний, 21-й вопрос гласил: «В чем состоит наш национальный характер?» Екатерина II ответила официальной декларацией: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных». М. М. Щербатов заготовил ответы на ответы царицы, от лица якобы некоего деревенского помещика; его раздражала

между прочим ложь в утверждении «послушания» русского народа помещикам и царю. Он писал по поводу последнего ответа царицы: «Лестно и для нас, деревенских пентюхов, такое объяснение, желательно, чтобы оно было правильно; а я боюсь, чтобы кто не написал; *я видел,* а мне нет двадцати *лет*».[1] Я видел пугачевщину, — это был урок всякому, кто хотел верить в равновесие, гармонию, целесообразность крепостничества и на основе его хотел строить «рациональную» систему государственной теории.

В результате социальной катастрофы одни из бывших фрондеров переметнулись к правительству, — как Богданович. Немногие сумели извлечь из нее уроки обратного порядка, еще более активно стали бороться с властью реакции, — как Фонвизин. Большинство повернуло к мистике, нашло себя в масонстве, — как Херасков. И те, и другие, и третьи покидали рационалистическую схему сумароковской и панинской школы, а в литературе преодолевали сумароковский классицизм. В частности Фонвизин в пылу борьбы принужден был спуститься с высот абстракции на земную почву реалистической сатиры, и «Недоросль» оказался произведением, утверждающим конкретный, подлинный быт как ад современной российской действительности и утверждающим понятие личности как живой индивидуальности. Для писателей типа Хераскова глубокое разочарование в действительности их прежних идеалов становится глубоким разочарованием в реальности земных идеалов вообще, разочарованием в объективности бытия схемы, оправдывавшей их практику. «Но где же нет мечты? Вся наша жизнь — мечта!» — пишет Херасков в самом начале своей поэмы «Пилигримы, или искатели счастия» (1795). Они замыкаются в идеях самоусовершенствования, отказываясь от социальной активности, и уходят в сферы мистических прозрений, отказываясь от рационализма.

Самый принцип стиля сумароковского классицизма рушился. Объективность и точность значения слова оказались проблематичными вместе с утверждением сомнительности самой объективности понятийной системы, из которой дедуцировались словесные знаки.

---

[1] *Кн. М. М. Щербатов,* Неизданные сочинения, 1935, стр. 127.

Раньше дворянский поэт-классик мог с высот своего Парнаса презирать практическое, бытовое, неупорядоченное логической абстракцией слово плебея. Теперь резкая народная и вполне практическая речь зазвучала в пугачевских манифестах и произвела чудеса, двинула огромные массы в бой, не прибегая к правилам Буало и Сумарокова. Эта же речь звучала в древней исконной народной поэзии «Плача холопов», «челобитных» солдат и крестьян в небесные канцелярии, в пугачевском фольклоре, во всей поэзии низов, на которые нельзя было не обращать внимания после восстания.

В 1779 г. — в самый год появления «Россиады» — были напечатаны первые замечательные самостоятельные оды Державина. В 1782 г. была написана «Фелица». Державин радикально рушил каноны и принципы дворянского классицизма.

И в словесном творчестве восставших низов и в поэзии Державина грозно для дворянских либералов зазвучала подлинная жизнь, катастрофическая, враждебная, конкретная и несомненно объективная. Эта жизнь проносилась мимо них, сметая их со своего пути. Битвы пугачевцев с полками Михельсона — это, для людей типа Хераскова, были битвы дикарей. Вопли замучиваемых пугачевцев в 1775 г., как и пожары помещичьих усадеб в 1774-м,— все это было для них ужасной реальностью, разбившей их схемы. Гром победы потемкинских молодцов над повстанцами, а заодно и над дворянскими фрондерами был также слишком явной реальностью. Можно было либо принять эту реальность — и тогда итти с ней, или же бороться с ней реальными средствами, или, наконец, уйти от нее. Для того чтобы итти с ней, нужно было отказаться от классовой морали; для того чтобы бороться с ней, надо было преодолевать классовую ограниченность политических и социальных идеалов. Ни того ни другого не мог сделать Херасков. Он не мог подличать, как Богданович, не мог увидеть в рабе Еремеевне человека, личность, как Фонвизин. Для него был открыт только путь бегства в мечту, признаваемую уже не объективной идеей, а индивидуальной, морально-психологической стихией. Эмоция стано-

вится как бы законодательницей мысли. Объективный механический идеализм уступает в поэзии субъективному идеализму. Рождается русский дворянский сентиментализм, первый этап русского дворянского романтизма. Учеником Хераскова окажется Карамзин, воспитанник московских масонов.

Было бы, разумеется, наивностью думать, что дворянский сентиментализм родился в России в определенный короткий момент, а именно в 1774 г. Не это имею я в виду. Я полагаю только, что рождение этого крупного литературного движения связано с крушением мировоззрения фрондеров-классиков, и в то же время, что это движение выросло из традиции фрондерского классицизма путем самоотрицания ее. С другой стороны, я полагаю, что указанный перелом произошел в глубочайшей связи с пугачевским восстанием, т. е. и со всей социальной ситуацией 1770-х гг., начиная с предпугачевского чумного бунта в Москве и до первых агрессивных действий Потемкина. И именно с начала 70-х гг. проникают в русскую литературу веяния сентиментализма, — в облике ли передовой буржуазной драмы Запада, в облике ли идейно-аморфной умиленной идиллии. В дальнейшем — активные, радикальные элементы драматургии типа Мерсье в России остались достоянием передовой радикальной и явно внедворянской мысли. Русский дворянский сентиментализм и в творчестве Руссо усмотрел не разрушительное мировоззрение, а интимную лирику.

В 1770 г. Сумароков был возмущен успехом «Евгении» Бомарше в Москве. В 1773 г. напечатана пьеса В. И. Веревкина «Так и должно», — в сущности в значительной мере — слезная драма; в 1774 г. написана его же драма «Точь в точь» (изд. в 1785 г.), действие которой происходит в пору пугачевского восстания (события восстания составляют основу сюжета пьесы). В 1774 г., в самый год восстания, появилась первая «слезная драмма» Хераскова (так сказано прямо в заглавии ее) — «Друг несчастных». За ней последовали «Гонимые» (1775), также «слезная драмма», затем «драмма с песнями» — «Милана», «Школа добродетели», «Извинительная ревность»; сюда же следует отнести комическую оперу Хераскова «Добрые солдаты» (1782).

В 1772 г. впервые был представлен знаменитый «Беверлей», переведенный И. А. Дмитревским из Сорена (а этим последним переделанный из английской пьесы Э. Мура).[1]

В 1773 г. появилась драма П. С. Потемкина «Торжество дружбы».

В 1774 г. — слабая попытка также написать нечто «слезное» на реакционнейшей основе — «Воспитание» Д. В. Волкова. В том же году — «Добродетель, увенчанная верностью» М. Прокудина..

В 1775 г. — драма «Английская сирота» в переводе кн. А. Голицына (в 1787 г. вышел перевод той же пьесы П. Вельяшевой-Волынцевой).

В 1776 г. — «Училище дружества», подражание Нивель де ла Шоссе кн. Бабичева; «Лондонский фабрикант» Фенульо де Фальбера в переводе кн. Алексея Шаховского.

В 1777 г. — «Сестры-соперницы» — К. П. Ч.

В 1778 г. — «Женневал, или французский Барневельт» Мерсье в переводе И. В. (И. И. Виноградова? или И. Виноградского?), а в 1783 г. — та же пьеса в переводе А. Пушкина.

В 1779 г. — «Ложный друг», подражание Мерсье.

В 1780 г. представлена была (напечатана в 1781 г.) драма А. Т. Болотова «Несчастные сироты».

В 1781 г. написана (издана в 1782 г.) драма «Друзья-соперники» П. О. (П. П. Острогорского, переделка романа де Саси). В том же году появилась «гражданская трагедия» «Бедство, произведенное страстью, или Сальвиний и Адельсон» В. Колычева (переделка повести Арно, изданной в русском переводе в 1779 г.).

В 1783 г. написана пьеса «Торжествующая добродетель» (см. «Росс. феатр», ч. IX).

В 1784 г. появился перевод знаменитого «Беглеца» («Дезертира») Мерсье. В том же году — переведенная с немецкого К. Г. Ф. драма «Благородный поселянин». В том же году — «Эмилия Галотти» Лессинга в переводе Г. А. (Гавр. Апухтина, переводчика «Писем Иорика» Стерна); в 1788 г. «Эмилия Галотти» вышла

[1] О впечатлении от этой пьесы говорит А. Н. Радищев в «Дневнике одной недели».

в переводе Карамзина. В том же году представлена драма Мерсье «Неимущие» в переводе гвардии офицера Д. Кошелева.

В 1785 г. — «Фанелия, или заблуждения любви», переделка романа Бартелеми «Les égarements de l'amour» Ф. Г. Карина (?). В том же году — «Увольнение» де ла Фит в переводе В. Воейкова. В том же году «Уксусник» Мерсье в переводе К. Н. Г.

В 1786 г. — драма Я. Благодарова «Матерняя любовь».

В 1787 г. — «Братская любовь» в переводе с французского Н. Перского; «Торжество любви» В. Левшина; «Чувствование благотворений»; «Награждение добродетели» («Росс. феатр», ч. IX); «мещанская трагедия» «Гарстлей и Флоринчини» В. Левшина.

До 1787 г. была поставлена «Мисс Сара Самсон» Лессинга в переводе В. Левшина (см. «Драматический словарь» 1787 г., стр. 80—81).

В 1788 г. — два перевода «Побочного сына» Дидро, один из них — И. Я[ковлева] (эта же пьеса была издана в переводе С. Глебова уже в 1766 г.); «Судья» Мерсье в переводе А. Лабзина, и т. д. В том же году была представлена впервые драма Д. Ефимьева «Преступник от игры, или братом проданная сестра».

В этом списке, который можно было бы увеличить, объединены, конечно, различные произведения: и переводы из радикала Мерсье и собственные сочинения русских писателей различного толка, обратившихся к сентиментальным темам в 70-х гг. Тем не менее очевидно, что умиления добродетелью, сентиментальные мотивы и самый драматургический метод «драммы» укрепился на русской сцене вполне прочно, начиная с 1770-х гг., а это значит, что общеобязательность классического канона даже для литераторов дворянского интеллигентского круга потеряла свою силу. Между тем лишь полная, безусловная и исключительная нормативность классического канона наполняла его жизнью. Только убеждение в том, что вне классического канона нет истины в искусстве, что отклонение от него неизбежно приводит к лжи, к утере ценности мысли и красоты, — только такое убеждение могло обосновать практику творчества «по правилам» как ценную. Допустить, что могут иметь право на су-

ществование различные формы и методы творчества, означало подорвать в самой основе эстетику и идеологию русского классицизма. Классицизм Сумарокова не терпит компромиссов. Но вот, начиная с 70-х гг. Херасков пишет одновременно и «слезные драммы» и «правильные» классические трагедии: «Борислав» (представлена в 1772 г., издана в 1774 г.), «Идолопоклонник, или Горислава» (1782), «Юлиан Отступник» (1790-е гг.), «Освобожденная Москва» (1798), наконец «Зареида и Ростислав» (написана в 1805 г., издана в 1809 г.). Здесь важно подчеркнуть не просто утерю принципиальности, а появление новых качеств. Классическая трагедия, пока она есть единственный жанр серьезной драмы, пока незыблемы устои классицизма, есть точное выражение объективно (для автора и зрителя) существующих идей, аналитических представлений о «способностях», образующих человеческий интеллект, норм поведения человека и норм социальных. Трагедия классической формы, которая пишется поэтом одновременно с слезной драмой, есть одна из возможных — и, следовательно, субъективных — форм восприятия действительности. Объективная реальность единична сама по себе, и адэкватное выражение ее обусловлено ее законами; объективная реальность мира понятий и идей — по принципам классицизма — диктовала формы классической трагедии как единственные соответствующие ей в данной ее сфере (ведь мышление классицизма механистично). Наоборот, совмещение различных и в сущности противоречивых методов у Хераскова, начиная с 70-х гг., указывает на то, что для него уже разрушается представление об объективном обосновании метода, форм и элементов художественного произведения. Классическая схема трагедии становится просто формулой определенной эмоциональной тональности, высокого строя мыслей и чувств, так же как «слезная драмма», — столь же законный вид творчества, — выражает иной строй настроений и идей. У Хераскова 70-х гг. этот перелом только лишь намечается; он все-таки еще пишет «Россиаду». Но перелом уже есть в потенции, и он неизбежно прояснится впоследствии. Критерии ценности и даже истины переносятся в субъективную сферу.

Это приведет в данной исторической среде к своеобразному релятивизму в идеологии и к пассивности в идеологической практике.

Вне вопросов драматургии русским дворянским сентименталистам был ближе умилительный, идиллический, аполитичный и нимало не бунтующий Геснер, чем разрушительный Руссо. И вот именно в 1770-х гг. начинается волна геснеризма в русской литературе. Переводы из Геснера появляются обильно в журналах. Начинается своего рода культ Геснера. Карамзин и в отношении к Геснеру был вовсе не первым, а лишь продолжал и завершал давнее накопление, так же как он не был новатором в драме своей «София».

В 1774 г. была издана отдельно в переводе прямо с немецкого идиллия Геснера «Лемех и Цилла». Еще раньше, в 1772—1773 гг., в журнале салона Херасковых «Вечера» были напечатаны переводы пяти идиллий Геснера («К Дафнии», «Милон», «Идас, Микон», «Дафнис» и еще одна, без названия). Затем, в «Спб. Вестнике» с апреля 1778 г. по август 1780 г. было помещено двенадцать переводов из Геснера (из них не менее двух — Княжнина). Геснер появляется в «Утреннем свете», в «Модном ежемесячном издании» и т. д. В 1780-х, а затем в 1790-х гг. ряд переводов из него был издан отдельно,[1] вплоть до полного собрания сочинений в переводе И. Тимковского в 1802—1803 гг. Одни и те же произведения переводились не один раз, переиздавались, среди переводчиков найдем и А. С. Шишкова, и Карамзина, и В. Левшина, и И. Захарова.

Херасков был одним из первых корифеев литературы, который был готов сменить вехи и сдать сумароковские позиции во имя будущих карамзинских. Когда новое течение оформилось, он вошел в него органически. Уже стариком он идет к молодежи, смущая тем своих сотоварищей по масонству.[2] Он участвует

[1] *В. С. Сопиков,* Опыт российской библиографии, №№ 8626, 4294, 3118, 4312, 5874, 8695, 3083, 4349, 2075, 8628 — в хронологическом порядке.

[2] А. М. Кутузов был недоволен тем, что Херасков стал сотрудником «Московского журнала» и тем самым поддержал Карамзина — см. его письмо к Н. И. Трубецкому — *В. В. Сиповский,* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», Спб. 1899, стр. 55 (приложение).

в «Московском журнале»[1] и в «Аонидах» Карамзина и потом в «Вестнике Европы». Карамзин пишет почтительную и сочувственную рецензию на «Кадма и Гармонию» и печатает ее в «Московском журнале». Он же в письме к Лафатеру писал, что Херасков — «первый и лучший из русских писателей».[2] Херасков в нравоучительно-мистическом романе «Полидор, сын Кадма и Гармонии» помещает Карамзина («любимец муз, русский путешественник К.»), тогда еще писателя спорного, новатора, вовсе не канонизированного, так же как «приятного певца» Дмитриева, в число образцовых русских авторов наряду с Ломоносовым, Державиным, Богдановичем и др.[3] Херасков и как прозаик и как поэт подпал к 1790-м гг. определяющему влиянию своих молодых учителей. На путях карамзинизма он подошел к созданию капитального труда своей старости, «Бахарианы», оказавшей не случайное воздействие на Пушкина при написании им «Руслана и Людмилы».

Херасков смог стать «карамзинистом» лишь после того, как новое течение создали другие, более молодые. Создавал его не только Карамзин и даже не впервые Карамзин, хотя именно в его творчестве оно кристаллизовалось с наибольшей законченностью. Новое течение было настолько органическим и естественным проявлением судьбы русской дворянской интеллигенции в последнюю четверть XVIII века, что оно возникало в сознании ряда писателей как новая задача литературы. Оно вызревало, начиная с 70-х гг., в творчестве М. Н. Муравьева, Н. А. Львова, затем у И. И. Дмитриева, Карамзина, Капниста, Хованского, Нелединского-Мелецкого и многих других, менее значительных поэтов (если говорить именно о поэзии).

Характерной фигурой в этом ряду представляется мне Муравьев, более или менее учитель всех литераторов 1790-х, а в особенности 1800-х гг., связанных с Карамзиным.

---

[1] См.: *Н. М. Петровский,* Библиографические заметки о русских журналах XVIII века — «Известия ОРЯС Академии наук», 1907, т. XII, кн. 2, стр. 341—342.

[2] *В. В. Сиповский,* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», Спб. 1899, стр. 475.

[3] «Полидор, сын Кадма и Гармонии», М. 1794, ч. II, стр. 188.

В начале XIX столетия, еще до официализации культа Карамзина, а потом одновременно с нею, в кругу карамзинистов был принят как обязательный культ Муравьева, наставника в жизни, морали и литературе. Благоговейное отношение к Муравьеву и к памяти его (Муравьев умер в 1807 г.) со стороны Батюшкова, его родственника и отчасти воспитанника, засвидетельствовано значительным количеством высказываний Батюшкова не только в письмах, но и в печати. Карамзин, которому Муравьев устроил звание историографа и с ним казенное содержание, издал в 1810 г. две книги сочинений Муравьева («Опыты истории словесности и нравоучения») со своим предисловием, полным восторженной хвалы ему. Жуковский должен был вслед за тем издавать другие произведения Муравьева, но потом этим занялся Батюшков. Даже Гнедич, человек лишь отчасти сблизившийся с Батюшковым и его кругом, отозвался о Муравьеве и его произведениях с величайшим уважением.[1] В самом деле, было бы трудно отрицать воздействие Муравьева на Карамзина, на Жуковского, на Батюшкова как в вопросах стиля,[2] так и вопросах общего и литературного мировоззрения. Самый облик Муравьева, как он был создан еще им самим в его произведениях (см., например, «Обитатель предместия», «Эмилиевы письма» и др.), стал каноническим образом мудреца и поэта, принятым в кругу Карамзина; это

---

[1] Описание торжественного собрания Имп. Публичной библиотеки, бывшего генваря 2 дня 1814 года, Спб. 1814, стр. 93.

[2] Л. Н. Майков в примечаниях к сочинениям Батюшкова (1885, т. II, стр. 426) пишет о Гнедиче, что он с похвалою отзывается о прозе Карамзина, «но рядом с нею ставит и прозу М. Н. Муравьева — очевидно, не подозревая, что тот же Карамзин выправлял ее для издания 1810 г.». Л. Н. Майков, который, повидимому, стремится здесь уменьшить роль Муравьева по сравнению с Карамзиным, не совсем прав в данном случае. Слог Муравьева, как это установила Л. И. Кулакова, исправлял не Карамзин, а Жуковский; при этом исправления все же не могли изменить весь характер этого слога. Экземпляр двух книжек Муравьева, изданных им самим в 1790 и 1795 гг., с рукописными исправлениями Жуковского, известный и комментаторам Батюшкова (см. там же, стр. 421—422), хранится ныне в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

был образ мирного, тихого человека, обожающего добродетель и отечество, кроткого и умиленного, который в своей голубиной чистоте видит весь мир, общество и людей в розовом свете добродетельных эмоций, который кротко наслаждается в тиши изящными искусствами и чтением умных книг и без честолюбия и страстей, но вблизи трона, ведет спокойную ровную жизнь на лоне дружбы, природы и поэзии и кротко поучает юных друзей правилам своей мирной морали. Вскоре после смерти Муравьева роль носителя этого образа мудреца принял на себя Карамзин. Впоследствии, после смерти Карамзина, роль должна была перейти к Жуковскому, который, казалось, имел для этого все данные; он даже был воспитателем наследника престола, как еще Муравьев был наставником будущего Александра I и его брата Константина (он обучал их русской словесности, русской истории и нравственной философии). Но Жуковскому не удалась миссия, ему почти предписанная. Времена были уже не те, и Жуковский был другом Пушкина. Он оказался в конце концов почти фрондером при дворе, а молодые писатели слушали не его наставления, а Белинского.

Если Муравьев оказался учителем поэтов 1800-х гг. круга Карамзина, то он был в свое время сам учеником поэтов школы Сумарокова. Он учился в гимназии Московского университета в 1768—1769 гг., в то время, когда Херасков был директором университета. Да и позднее, когда Муравьев был уже студентом и когда Херасков переехал в Петербург, Муравьев был окружен той же литературно-общественной средой. С Херасковым он сохранил самые добрые отношения до конца жизни. В Москве он встречался дружески с В. И. Майковым.[1] С И. П. Тургеневым, представителем второго поколения этого же круга, он был дружен всю жизнь (еще в 1774 г., т. е. семнадцати лет отроду, он обратился к нему с посланием в стихах). Литературное воспитание молодой Муравьев получил именно в сумароковской школе, в качестве одного из

---

[1] С которым, быть может, познакомился в Петербурге еще до переезда Майкова в Москву в 1775 г. — см.: *Л. Н. Майков,* О жизни и сочинениях В. И. Майкова (Соч. и перев. В. И. Майкова, Спб. 1867, стр. XXXVII).

открытых адептов ее. Это заявлено с полной определенностью в «Сонете к Михаилу Никитичу Муравьеву» В. И. Майкова (1775):

Когда ты, Муравьев, пленен той гласом лиры,
С которою свою учился соглашать,
Последуй ей и пой: места не будут сиры,
Которые по мне ты будешь утешать.
  Москва под сению монаршия порфиры
  Здесь будет пение сугубое внушать,
  Когда, виясь над ней, прохладные зефиры
  Со нашим тоном тон твой будут соглашать.
И бог Невы хоть нас, как мню, не позабудет,
Но более скорбеть о пении не будет,
Когда ты тщание свое употребишь,
  Чтоб был подобен слог певцов приятных слогу,
  Как Сумароков всем к тому явил дорогу,
  То пением своим, поверь, не согрубишь.

Здесь Майков приветствует юного восемнадцатилетнего поэта как ученика Сумарокова, как ученика его самого, Майкова, как нового участника «нашей» группы. И Муравьев вполне принимает советы и приветствия учителя: он напечатал сонет Майкова в сборнике своих од.[1] В том же 1775 г. первому тому перевода Майкова «Превращений» Овидия было предпослано «Краткое описание жизни Публия Овидия Насона, выбранное из разных писателей». Статья эта, как установил Л. Н. Майков, была написана молодым Муравьевым.[2]

В 1775 г. Муравьев принялся за трагедию «Болеслав», так и не оконченную им. В своих заметках дневникового типа он писал: «Я решился или совсем не писать стихов или кончить Болеслава. Сим сочинением хочу я быть известен. Хочу итти тою же стезею, какою шли Сумароков, Херасков, Майков, Княжнин, и отрицаюсь от всего другого».[3] О Сумарокове Муравьев писал как о поэте, не подвергнутом сомнению, и в других местах и позднее. В конце 70-х гг., а в особенности в 80-х и 90-х гг. потеряли какую бы то ни было актуальность воспоминания о литературной борьбе Сумарокова и Ломоносова. Муравьев

---

[1] Оды лейб-гвардии Измайловского полка сержанта Михаила Муравьева, 1775, стр. 27.
[2] Соч. и перев. В. И. Майкова, Спб. 1867, стр. 568.
[3] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1820, ч. III, стр. 270.

чтит и того и другого. Впрочем, отношение его к Ломоносову сложно. Хераскова Муравьев превозносит много раз в своих прозаических отрывках и статьях, считая его великим поэтом.

Таким образом Муравьев (и не он один) оказался и в личной и в литературной биографии связующим переходным звеном, соединившим сумароковскую школу с карамзинизмом — и в то же время разъединившим их. Муравьев мог еще считать и Сумарокова, и Хераскова, и Клопштока, и Мильтона, и Геснера, и Руссо великими писателями — вперемешку. Карамзин уже исключит Сумарокова из этого круга, да и к Хераскову не будет относиться так восторженно. А Мерзляков, связанный со следующим этапом того же движения, ниспровергает кумир Хераскова совершенно откровенно. [1]

Социально-политическое мировоззрение Муравьева в своих основах мало чем отличается от мировоззрения Сумарокова — Панина — Хераскова 1760—1770-х гг. Но, конечно, в вопросах реализации и применения этих основ произошли существенные изменения. Мышление Муравьева характерным образом ограничено дворянски-помещичьим кругозором. Понятия «благородства», «чести», постановка вопросов культуры дворянина, его прав и обязанностей — во всем этом Муравьев следует общим принципам русских дворянских либералов. Он и в конкретных вопросах политики может иной раз солидаризоваться с панинцами. Так, в статье «Войны с турками» (из цикла «Письма к молодому человеку о предметах, касающихся истории и описания России») он говорит о Румянцеве как о великом человеке — по поводу первой турецкой войны — и ни словом не обмолвился о Потемкине, хотя статья, судя по содержанию ее (см. последнюю фразу ее), написана во время второй турецкой войны. [2] В следующей затем в том же цикле статье «Сношения России с Немецкою землею» Муравьев достаточно прозрачно указывает на прочность привязанности Пруссии к России после

---

[1] См. его статью: «Россиада, поэма эпическая, г-на Хераскова (письмо к другу)» — «Амфион», 1815, кн. 1—9.

[2] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1819, ч. II, стр. 135.

1762 года, на пользу «согласия» Пруссии, Австрии и России. В пору антипрусской и проавстрийской политики Потемкина, я полагаю, это было высказыванием в пользу необходимости считаться с постоянной панинской политикой «северного аккорда».

В оде «Храм Марсов» Муравьев дает перечисление русских военачальников, побеждавших турок, причем опять указаны только те генералы, которые были в той или иной степени близки панинской группе:

Вождей там вижу ополченье!
Румянцов рати сей главой...
Готовит *Панин* стен проломы;
Репнин, Каменской бранны громы;
Суворов быстротой орел.[1]

Потемкин демонстративно не включен в список.

В 1770-х гг. Муравьев сблизился с Новиковым. В 1777 г. он писал своему приятелю Карманову: «Я имею здесь счастие обращаться со многими из тех, которые наиболее делают чести письменам нашего отечества... Известный вам издатель российской древней вивлиофики пригласил меня к изданию одного ежемесячного сочинения, которое будет по большей части из переводов, касающихся вообще до нравоучения и истории, и которого первый месяц будет печататься в сентябре».[2] Дальше в письме идет речь о беседах с Новиковым.

Традиции либерализма его учителей не умерли и для Муравьева. Однако те же либеральные суждения, которые были активны и целеустремлены у Сумарокова, Новикова или — из старших современников Муравьева — у Фонвизина, — включались в систему умиления, всепрощения, в конечном счете — политического безразличия у самого Муравьева. В сущности, такой же характер имеют и либеральные декларации у молодого Карамзина, оставшегося до конца дней «республиканцем в душе», но именно только в душе.

Муравьев, в статье «О дворянском состоянии» (в том же цикле «Письма к молодому человеку»), начи-

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1819, ч. II, стр. 139.

[2] Летоп. русск. литерат. и древн., т. IV, М. 1862, стр. 70. Здесь письмо датировано 1776 годом, — повидимому, неверно, так как речь в нем идет о новиковском журнале «Утренний свет», выходившем с *сентября 1777 г.*

нает пассажем, из которого явствует, что он считает крепостное рабство крестьян фактом для русской истории наносным и даже может быть ненормальным, так же как родовое наследственное владение помещиков землею и крепостными. «Рабство домашних, — пишет он, — было в России, так как и в других народах, следствием войны и плена. Нечувствительным похищением помещиков земледельцы, прежде вольные люди, и только к земле приписанные государственным законом, по завоевании Казани и Астрахани, сравнены с домашними рабами»[1] и т. д. О дворянстве он пишет совершенно то же, что писали Сумароков и другие люди панинского круга: «Приобретено заслугами и любовью отечества, благородное звание должно быть сохраняемо честью. Все противные оной поступки уничтожают характер сей существенно... Многие воспитательные учреждения установлены в пользу дворянского общества, и другие полезные состояния не позавидуют отличиям дворянского, если оно достойным образом исполнит должности свои и произведет способных достойных чиноначальников».[2] Муравьева возмущает «сей недостаток уважения вышнего состояния людей к нижнему и трудолюбивому, сии изъявления рабского почтения, унижающие человека, обращение к правосудию с приношением даров», — черты, которые он замечает в Московской Руси, но «которые, заглаждаяся в последующие времена, уничтожены совершенно преобразованием государя Петра I».[3] Вот в этом характерная черта самого Муравьева. Он утерял ощущение социального зла, он готов не замечать его на практике, сохраняя уже лишь в отвлеченном виде идеалы своих предшественников, болезненно и остро реагировавших на эту практику, которую они-то воспринимали как неудовлетворительную. Именно ужас пугачевского восстания заставил либералов второго призыва не видеть ужаса режима, защищавшего их от пугачевщины. Муравьев в своих центральных произведениях в прозе — «Обитатель предместия» и «Эми-

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1819, ч. II, стр. 194.
[2] Там же, стр. 196.
[3] Там же, стр. 252, «Краткое начертание российской истории».

лиевы письма» — сплошь говорит о своих социальных идеалах: об идеальном помещике, благоразумном, кротком, вежливом со своими крепостными, благотворителе, делающем жизнь своих крестьян раем. Этот идеал разделяли и Сумароков и Фонвизин, но они с негодованием говорили о реальных помещиках, не похожих на их идеал. Муравьев же наслаждается идеалом, тешась в своих произведениях мечтой о том, что идеал этот вполне соответствует типической реальности. Отсюда у Сумарокова, у Фонвизина основная стихия творчества на социальные темы — сатира; у Муравьева — сатиры нет совсем: основная его стихия — трогательное умиление добродетелью. Бесконечные восторги Муравьева по поводу добродетели российских помещиков и правителей связаны с его уходом в мир сладостной мечты. Он не столько примирился с действительностью, сколько преодолел отрицание ее, прикрыв ее «покрывалой Майи» (по Карамзину). Оптимизм Муравьева — функция его эстетики более, чем его политического оптимизма. Неприятие жизни одно лишь способно оправдать в такой мере фиктивную оценку ее.

В «Обитателе предместия» (как и во многих других произведениях Муравьева) дана формула социального благоволения: «Возвращаяся из Никольского, я имел случай видеть по дороге людей разного состояния и наблюдать их вблизи. Какое движение одушевляет целое общество! Земледельцы, рассеянные по полям, наполняют житницы государства. Обозы с товарами идут медлительно к месту назначения своего. Сокровища стекаются в города и питают рукоделья и художества; между тем как правление, устремляя все части к пользе целого общества, дарует всем покровительство законов».[1] Все прекрасно в России, — таков вывод и из статьи Муравьева «Право лиц».[2] Идеал либерального истолкования роли дворянства и силы законов, искомый и не осуществленный с точки зрения Фонвизина, признается Муравьевым фактом, причем идеален или реален этот факт — этот вопрос для него как бы отсутствует. Его программа с легкостью

[1] Полн. собр. соч. Н. М. Муравьева, 1819, ч. I, стр. 96.
[2] Там же, ч. III, стр. 67—69.

изображается как реальность, потому что он глубоко проникся мыслью о том, что умиляться добродетелью — это и значит реализовать ее, что, мечтая о благе, он создает его.

Здесь, у Муравьева, уже намечено социальное мировоззрение Карамзина в основных его очертаниях. Это мировоззрение имеет иллюзорные черты гуманного либерализма. В статье «О благосостоянии земледельца» Муравьев говорит, что идеальные помещики должны заботиться о медицинской помощи крестьянам, об учении их, конечно в скромных дозах.[1] Сострадание и благотворительность — для него сладкие добродетели. «Помни, что бедный теперь голоден» — такой афоризм записал Муравьев.[2] Но суть его отношения к делу в том, что благотворить приятно, и благотворительность — помощь бедным — способ доставить себе моральную утеху более, чем реальный способ социальной активности. «Должность господина состоит не в том только, чтоб слугам облегчать бремя их. Кротость без благоразумия, без истинного попечения о нравах их, не есть еще добродетель. Часто бывает она участницею злодейств их и несчастий. Надобно иметь твердость выговорить ревность и красноречие сердца, чтобы порок представить ненавистным и добродетель прелестною. Домоводство, самое малейшее, не есть корабль без кормчего. Свободный и просвещенный человек столько делает заблуждений с прямого пути; люди, коих душа уничтожена жестокостью невольничества, приведенные почти к единому движению, могут ли в жизни их всегда выбирать прекрасное?»[3] Итак, задача заключается в том, чтобы освободить не людей, а их добродетели, их мораль. Муравьев считает, что только это и важно, поскольку моральная, душевная и духовная жизнь куда реальнее внешних человеческих отношений. Карамзинский Фрол Силин предрешен в умозрениях Муравьева. Трагизм реаль-

[1] Полн. собр. соч. Н. М. Муравьева, 1820, ч. III, стр. 210—214.

[2] Там же, стр. 290.

[3] Бумаги Муравьева в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. XVII, л. 159. Ср. Полн. собр. соч., 1820, ч. III, стр. 272. Все тексты Муравьева, где это было возможно, сверены по его рукописи Л. И. Кулаковой. Там, где текст рукописи расходится с посмертным печатным, даю ссылку на рукопись.

ного бытия он сам преодолевает в моралистических мечтах; эту же способность он видит и в крепостном рабе — и тем самым снимает проблему социального неравенства. Так обосновывается помещичий руссоизм навыворот.

Муравьев писал: «Человек состояния низкого и полезного посвящает необходимо труду все мгновения жизни своей. Земледелец, рукомесленник, работник едва находит довольно времени для совершения трудов своих, беспрестанно возобновляющихся, которыми он снискивает пропитание себе и семейству. Тяжкая работа спасает их от скуки, сего мучения праздных и богатых».[1] Что же касается несчастных богачей, избавленных от труда, то лишь мечты искусства заполняют их тяжкую жизнь (статья «Забавы воображения»). Социальное неравенство для Муравьева иллюзорно. Он описывает в «Обитателе предместия» пышного и невежественного помещика, а затем — добродетельного крестьянина. «Меня поразила мысль, что в тот же самый день простый крестьянин внушил в меня почтение, когда я взирал с презрением на знатного, не достойного своей породы. Я почувствовал всю силу личного достоинства. Оно одно принадлежит человеку и возвышает всякое состояние».[2]

Что же касается культуры, то она, по Муравьеву, не обязательно связана с добродетелью. Добродетель свойственна всем «состояниям», культура, наука и искусство — только дворянству или вообще высшим слоям.[3] «Люди, озабоченные скудным доставлением

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1820, т. III, стр. 113.

[2] Там же, т. I, стр. 101.

[3] Муравьев принужден уступить «веяниям времени» и признать право крупного купечества на известное положение в обществе. В «Обитателе предместия» он выводит культурного и честного купца, который приносит автору-герою «полезную книгу Адама Смита «О народном богатстве». — Читайте ее [говорит купец], чтоб постигнуть важность торговли. Ею соединяются государства, насаждаются искусства и нравы в грубых народах; природа обращается к благополучию вселенной. Несправедливое предрассуждение унижает купечество перед другими состояниями. Я не могу думать о себе с пренебрежением, когда повеления мои исполняются в Лондоне и когда я получаю донесения от приказчика моего в Уналашке; когда вижу, что трудолюбием моим и расчетом обращение денег в государстве ускоряется» и т. д. (Полн. собр. соч., 1819, т. I, стр. 109—110).

себе ежедневного пропитания, не чувствуют охоты теряться в ощущениях нежных и возвышенных, которые требуются для упражнения в прекрасных искусствах, или углубляться в отвлеченных размышлениях, которые предполагаются в точных науках и испытании естества. В составе государства, так как в необъятном округе природы, невидимая нить соединяет отдаленнейшие части оного и из различных состояний и упражнений составляет одно целое. Таким образом ученый служит земледельцу и земледелец ученому... Целый народ ученых или предводителей не может существовать нигде, кроме в воображении». [1]

Нет нужды доказывать консерватизм, даже реакционность всей политической концепции Муравьева. Но для меня важно указать, что это не тупоголово-

---

Ср. с этим переводную статью «О коммерции» в журнале «Невинное упражнение» (1763 г., февраль, стр. 86—89), где говорится о могуществе английских купцов: «Все сие дает справедливую гордость английскому купцу и причиняет, что он некоторым образом праведно осмеливается уподоблять себя римскому гражданину. Меньшой сын вельможи английского не презирал купечество, так же Милорда Висгенда, шотландского министра брат, довольствовался быть мещанином в городе. В то время, как Милорд Оксфорд управлял Англиею, меньшой брат его был фактором в Алепе... Во Франции... купец сам слышит часто говорящих с презрением о его ремесле и иногда бывает столько глуп, что того стыдится. Однако, я не знаю, кто больше нужен государству, господин ли щегольски напудренный и знающий точно, к которому часу король просыпается, к которому часу ложится почивать, и приемлющий на себя величавый вид, исправляя должность невольника в передней у министра; или купец, который, обогащая свою землю, посылает из своего кабинета повеления в Сурат и Каир и вспомоществует благополучию света».

Ср. с этим у Ф. А. Эмина в «Письмах Эрнеста и Доравры» (1766 г.): «В Париже хотя купечество гораздо в лучшем, нежели у нас почтении, однако и там знатные господа купцов презирают. Придворный кавалер стыдится без нужды с купцом говорить, но я не знаю, кого из них предпочесть: того ли, который одевшись великолепно, распудривши свои волосы, прохаживается во дворе, знает, в которое время король встал, в который час обедает и в который ложится, или того, который разумом своим и искусством торгуя, обогащает свое отечество, из конторы своей посылает приказы в Англию, в Константинополь и во многие государства и всему свету полезным становится» (ч. II, стр. 41—43).

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1820, ч. III, стр. 58—59— «Пользы и затруднения государственного знания».

реакционное, агрессивно-реакционное мировоззрение потемкинских слуг. Бороться со злом Муравьев не может более, и он предпочитает примириться с ним — в утехах воображения, в морали. Он принципиально отходит от политического разрешения проблем, подменяя его морально-эстетическим разрешением. Это было бегство от действительности, но не просто капитуляция перед ней. Муравьев не стал писать похвальных од, не стал отстаивать практику помещичьей власти в жестокости ее побед. Он смирился и ищет услад души там, где иных услад уж не найти. Вот статейка Муравьева, представляющая, по моему мнению, квинтэссенцию всего грядущего склада мыслей наследников Муравьева — и Карамзина, и Жуковского, и Батюшкова; и по стилю и по поэтическим мотивам — это типическое выражение всего направления. И главная мысль статьи: не ищи счастья в земных благах, не стремись ни к чему, ибо счастья нет; ищи блаженства лишь в своем субъективном переживании. Розовая умиленность Муравьева всеми порядками в жизни и в России оборачивается своей изнанкой — глубоким пессимизмом и разочарованием. Субъективный мир как реальность — как бы в укор катастрофическому и иллюзорному объективному миру — эта уже романтическая тема вырисовывается из лирической медитации Муравьева, построенной еще из осколков стоических рассуждений поэтов группы Хераскова:

«БЛАЖЕНСТВО

Блажен, кто мог вещей исследовать причины, и страхи все и гнев несытыя судьбины и Ахерона шум подверг ногам своим.

Виргилий.

Верховное благо, за которым мы гоняемся столь далеко, может быть ближе к нам, нежели думаем. Оно в недрах природы. Чего ради было вселить в сердце каждого человека беспрестанное желание блаженства, ежели бы надлежало искать его далеко от нас самих, и ежели бы оно заключалось только в таких выгодах, которые Судьба немногим дарует? Благополучие есть произрастение каждой страны и каждого климата. Ни-

где все совсем, но везде присутственное, оно является под тысячею различных видов, соединяется с каждым состоянием и существует само собою. Оно не состоит ни в веселии, ни в пышности, ни в сиянии. Веселье есть существо убегающее, которого не можно остановить; богатство ничего не сказывает сердцу; самая слава, кумир великих душ, слава имеет свои несчастия, дарование — свои мучения. Благополучие есть чувствование сердца, которое жило всегда в послушании природы и сохранило неповрежденную способность наслаждаться красотою ее. Простота, незлобие, приятное ощущение жизни, беспрепятственное наслаждение естественных благ, мало нужд, мало страстей, но тем более чувствований нежных и тихих, священные союзы родства, дружбы и человечества; столько труда, чтоб заставить желать спокойствия: таковы вообще понятия, которые пробуждаются во мне при слове блаженства. Но ежели бы мне надобно было представить очевидное изображение благополучного человека, я сказал бы: Блажен обитатель спокойной сени, на уединенном лугу, близ источника тихой и прозрачной речки, под деревом, им самим насажденным, и которого благотворный лист защищает его от свирепости ветра! Уединение и бедность ограждают его от нападения нечестивых. Путь жизни его есть тайная тропинка, которую любит находить приятная задумчивость чувствительного человека. Никогда не сиял он на седалище чести и власти, и прах военный не покрывал легкой одежды его; но часто отирал он слезы праведника, утесняемого жестокосердым губителем, и возвращал добродетель и раскаяние в сердца грешных. День и ночь поучается он в великой книге природы, и душа его возвышается неизмеримостию творений господних. С благодарностию вкушает он благодеяние жизни и воображает без трепета, что он должен некогда сокрыться от лица земли. Он имеет сладостное уверение, что душа его не погибнет, и надеется воскреснуть в странах несравненно прекраснейших. Сии величественные размышления делают нрав его важным, но не угрюмым. Он не отметает от себя нежного человечества, и никогда строгий суд не исходит из уст его. Человек слабый любит слушать со-

веты его за тем, что они пользуют, не оскорбляя, и бремя угрызений совести отпадает по его утешительному гласу. Желая изобразить счастливого человека, не знаю, изберу ли черты самые сильные и выразительные: но я доставляю себе приятное мгновение мечтать о благополучии».[1]

Замечателен конец статьи: мечтать о благополучии, — этим занимался Муравьев в «Обитателе предместия» и в «Эмилиевых письмах», где он скопил целые груды описаний идеально добродетельных людей, и вообще — во всех своих произведениях. «Мгновение» мечты — ради этого он пишет.

Характерно также новое понимание самой деятельности писателя у Муравьева. Время понимания миссии писателя как деятеля общественной жизни, как интеллектуального руководителя своего класса и всего государства в целом, время претензий Сумарокова именно в качестве поэта направлять политику страны — для Муравьева прошло. В своих «Записках» он писал о своей деятельности переводчика: «Все, чему я подвергаюсь, наконец, есть неудовольствие худо переодеть великого писателя. Да никто не помешает, чтоб и не оставить сии опыты под тройными замками. Мои сочинения будут, как дела человеколюбия, тем лучше, чем неизвестнее! — не взирая на все то, что злоба ни разглашает о смиренномудрии Авторов».[2] В самом деле, смиренномудрие ни в теории ни в практике не входило в число добродетелей Сумарокова или его учеников. Творить для себя казалось им делом бессмысленным, ибо они верили в социальную силу художественного слова. Муравьев не верит в возможность улучшить мир. Как один из родоначальников русского романтизма, он разделяет романтический отказ от утилитаризма в искусстве — и становится на позиции отказа от воздействия на объективную действительность вообще, в конце концов уходя от нее. «Мудрец единого мгновения, лучшее, может быть, что я способен был сде-

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 51—54.

[2] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 158; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 271.

лать в жизни моей, это то, что я читал».[1] И это не была фраза. Если еще в 70-х гг., точнее — до 1775 г., Муравьев печатал не мало (он выпустил с 1773 по 1775 г. семь своих произведений: «Переводные стихотворения», 1773; «Басни в стихах», 1773; «Военная песнь», 1774; «Слово похвальное Ломоносову», 1774; «Петрония арбитра Гражданская Брань, поэма», 1774; «Оды разные», 1775; «Ода на мир с Портою», 1775), то с этого времени до конца своих дней — в течение двадцати двух лет — он опубликовал сравнительно немногое из написанного им. Он не стремился к публичности, он не надеялся исправить мир, он замыкался в свои мечты, в среде своих друзей и единомышленников. Также и Н. А. Львов, поэт, близкий Муравьеву и его приятель, почти не печатал своих произведений, удовлетворяясь «домашним» их успехом и самоуслаждаясь своим творчеством.

Такое отношение к делу писателя сочетается с новым и характерным отношением к самой литературе, к содержанию литературного произведения. Отчетливый идеологизм понимания искусства эпохи литературной активности дворянской фронды сменяется антиидеологическим пониманием его, «аполитизмом», безразличием к содержанию в глубоком смысле. Именно в это время и в этой среде устанавливаются навыки формалистической, чисто стилистической критики и теории литературы. В этом отношении характерны работы даже такого «светила» критики и литературоведения, воспитанного той же средой, которая воспитала Жуковского, — как Мерзляков.

Мерзляков не видит идейной направленности поэмы; он не видит ее агитационного смысла — и, конечно, поэтому не понимает и художественного смысла ее; отсюда и осуждение им «Россиады». Таким же образом и в своем «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии» (1812, «Труды О-ва любителей росс. словесности», ч. I) и в своем «Кратком начертании теории изящной словесности» (1822) он с величайшим безразличием ставит на одну доску, называет рядом, перемешивает друг с другом писа-

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 160; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 274.

телей, враждебных друг другу по всему своему мировоззрению, политических и литературных врагов.

Это же, в сущности, мы видим и у Карамзина даже в «Письмах русского путешественника», где Вольтер, Геснер, Расин, Стерн, Руссо, Шекспир, Коцебу, Херасков и Ричардсон — как будто бы эклектически — все помещаются в пантеон терпимейшего литератора. Все они вполне устраивают его, все вместе, — и в этой терпимости кроется безразличие к тем активным стремлениям, которые одушевляли их, каждого в свое время. А в этом безразличии — скепсис, неверие в эффективность, осуществимость всех этих и всяких других активных стремлений. Убеждения автора, идеи его произведения воспринимаются не как объективная сила в обществе, а лишь как субъективное переживание этого автора, прекрасное в силу подъема, волнующего автора и уносящего его в мир возвышенного. «Дурной человек не может быть хорошим автором», — провозглашает Карамзин; хорошему автору «надобно иметь и доброе, нежное сердце»; и, следовательно, для него и Вольтер, и Херасков, и Лессинг, и Расин одинаково «добрые люди», и это их объединяет, а то, что их разделяет, — не важно. Их объединяет убежденность каждого в своем, и этот *субъективный* факт ценен, что же касается *объективных* различий в убеждениях, то не в них дело.

Релятивизм, разочарование в объективности истины — смысл всей этой концепции. Но в ней есть и другая сторона. Она — не только результат распада и отказа от былой борьбы и былой веры. Она строит новый идеал. Конечно, идеологическое безразличие и здесь, как всегда, иллюзорно. Конечно, за этим «аполитизмом» стоит консерватизм, превращающий Руссо в сентиментальную овечку. Но Руссо не прошел даром для мировоззрения Муравьева и Карамзина, как он прошел мимо Шишкова. Новый идеал искусства, строящийся уже Муравьевым, видит в произведении искусства его творца как личность; в этой, романтической и человечной, для той эпохи передовой точке зрения — сила эстетики Муравьева, как и эстетики Карамзина. Они видят в произведении искусства только личность, в этом их ограниченность, но они видят личность, и в этом их сила. Потому что проблема лич-

ности, человека не как особи рода homo sapiens, а как конкретного субъективного единства, как высшей ценности — была одной из проблем эпохи в ее всемирно-историческом значении. Утеряв надежду власти над объективной действительностью, бывшие дворянские либералы отринули ее, утеряли ее самое. Но тогда же они попытались приобрести взамен ее новое осознание субъективной реальности. Объективный мир предстоял их учителям как схема, как норма, как система понятий, конкретную же объективную действительность и они изгоняли из своего кругозора. От этого именно понятия нового мира отказались Муравьев, Карамзин и их ученики и друзья. Но они обрели в субъективном — пусть идеалистическом — миросознании конкретную живую личность, и эта личность заслонила перед ними весь мир. И все-таки это был огромный шаг, и шаг вперед. Это был первый этап завоевания конкретной действительности. Субъективное переживание Пушкин потом объективирует в качестве социального и исторического факта, реального и ощутимого извне, — и тогда возникнет подлинный реализм как мировоззрение. От классического рационализма прямого пути к нему не было.

Для Карамзина и Расин и Лессинг интересны и значительны именно как личности и еще более — как материал для питания его собственной личности, в конце концов единственно для него реальной. В этом именно смысле они и важны для него и примиряются в его сознании друг с другом. В этом смысле мышление Карамзина, автора «Истории государства Российского», принципиально антиисторично.

Такое же отношение к писателям прошлого характерно уже для Муравьева. «Руссо, Невтон, Гомер, Вольтер должны быть святы от всякого нападения во святилище вкуса», [1] — пишет он, ставя в один ряд без различия столь разные явления литературы, как Руссо и Гомера. В другом месте дано такое перечисление писателей, имеющих «права на сердца наши»: «Декарт, Расин, Виланд, Гомер, Руссо». [2] Или такое место: «Мои

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 160; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 275.

[2] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 304.

образцы — Виргилий, Тасс, Расин, Творцы Аделаиды и Россиады», и далее упоминаются Клопшток и Виланд, Руссо и Геснер.[1]

Вообще говоря, список писателей, неоднократно упоминаемых Муравьевым в качестве наиболее любимых, почти полностью совпадает с тем, который хорошо известен по произведениям Карамзина, в частности по «Письмам русского путешественника». Клейст, Клопшток, Геснер, Галлер — этих четырех поэтов называет и восторженно характеризует Муравьев, говоря о добродетелях высоких певцов.[2] В других местах он говорит о Мильтоне, Томсоне и Стерне как о превосходных писателях.[3]

5

Эстетика Муравьева строится на основе его нового субъективистского мировоззрения. Прекрасное для него — не дедукция чисто логической, разумной, объективной истины, как для Сумарокова и вообще русских классиков, а эманация высокого строя души индивидуального человека и уклада ее. Объективные критерии красоты, как и истины, уступают место субъективно-эмоциональным. Еще в своей работе «Рассуждение о различии слогов, высокого, великолепного, величественного, громкого, надутого», напечатанной в 1783 г.,[4] Муравьев делает шаг в сторону от классического построения теории стиля, хотя внешним образом он связан навыками классицизма, из недр которого он вышел. Но ведь это вообще характерно для Муравьева; в статье «О пастушеском стихотворстве» он дает очерк этого жанра на основе античных образцов и в классическом как будто бы духе, — но в конце выводит, что «ничто не может сравняться с сельскими картинами Томсона» и далее — «Геснер в

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 171; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 310.

[2] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 273; ср.: там же, ч. I, стр. 139 и 194.

[3] Мильтона он ставит выше Вольтера; см.: Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. I, стр. 194.

[4] «Опыт трудов Вольного росс. собрания при Моск. университете», ч. III, 1783.

трогающих Идиллиях и пастушеских поэмах достиг или превзошел Феокрита».[1] Томсон и Геснер взрывают классическую оболочку статьи. В «Рассуждении о различии слогов» Муравьев говорил вначале о стиле совсем в духе теории и практики молодого Хераскова: «Мы хотим, чтобы выражение не только представляло мысль, но чтобы оно представляло точно ее и не приличествовало бы никакой другой, кроме оной; чтобы представляло ее живо и только с той стороны, с которой хочет писатель», и ниже: «Известно, что слог приемлет различные изменения и свойства менее словами, нежели самим содержанием дела».[2] Но тут же он дает такое истолкование проблемы стиля, которое уничтожает концепцию классиков; он выводит качества слога не из норм объективной истины, а из личных свойств индивидуальной души; отсюда — неизбежно — и отрицание подражания, одного из кардинальных и принципиальнейших положений эстетики классицизма. «Я прежде сказал: образ размышления определяет слог: есть нечто, напечатанное в душе нашей, которое и выражением нашим владеет. Природа ли или привычка его образует, но всякой имеет свой собственный слог. Пусть кто-либо и тщится разумным подражанием присвоить себе слог другого, однако же все будет что-нибудь такое, которое одному ему принадлежит».[3] И далее — характеристика творческого состояния, сознания художника, в которой Муравьев формулирует мысль о том, что изображаемый художником мир создан в душе самого художника: «Между тем как мы наиболее кажемся заняты, душа наша, уединенной наблюдатель, замечает в молчании все вне ее происходящее, а из собранных понятий составляет себе как бы картину целого мира».[4] Таким образом основные положе-

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 23; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 158.

[2] «Опыт трудов Вольного росс. собрания при Моск. университете», ч. III, 1783, стр. 2—4.

[3] Там же, стр. 3.

[4] Там же, стр. 10. В конце жизни и старик Херасков пытался усвоить новые установки. В «Бахариане» он писал:

Каждая имеет нация
Свой климат, — у всех обычай свой:
Так имеет каждый человек

ния эстетики романтизма уже заложены в этой статье, якобы трактующей о классической классификации стилей.

Основа эстетики Муравьева, — как и эстетики всего русского предромантизма, — прежде всего заключена в определенных гносеологических и далее — метафизических взглядах. При этом не так уже существенно, были ли эти взгляды осознаны данным писателем как продуманное и принятое философское убеждение, или же мы имеем дело с органическими формами отношения к бытию и сознанию, пронизывающими все мышление и творчество данного писателя, но не уточненными им самим в наукообразной формулировке. Впрочем, следует отметить, что, например, Муравьев, а затем и Карамзин были людьми, привыкшими осмыслять философски факты жизни и творчества. В их школе — уже у Дмитриева — философские интересы падают, хотя Жуковский не был чужд увлечений немецкими идеалистами; Батюшков, по примеру Муравьева, пытался философствовать и читал кое-кого из философов, но он уже утерял навыки философии как науки, и его размышления, как они ни выразительны в качестве литературно-идеологического документа, примитивны, даже наивны по мысли. Философские интересы в данной традиции воскреснут у любомудров.

Вся сумма высказываний Муравьева о человеке, о бытии, об искусстве, как и вся его литературная работа вообще, показывают, что для Муравьева рухнули все опоры абсолютных критериев мысли. Крушение социальной веры в незыблемость схемы, созданной «разумом» дворянских либералов, сопровождалось крушением веры в незыблемость, т. е. в общеобязательность схем и вообще построений разума. Разум, логика как основы, дедукция как метод подвергаются сомнению. Сомнение в истине того, что казалось отцам

Свойство, голос и черты лица
Особливые, несходные;
Также каждый истинный Поэт
Собственные выражения,
Собственные вображения,
Собственный в стихах имеет слог...
и т. д.

(«Бахариана», 1803, стр. 127—128).

единственно истинным, — это исходный пункт мироощущения и мировоззрения школы Муравьева — Карамзина. Скепсис, релятивизм — вот опасности, поджидающие их. Неверие в истину построений рационалистического характера связано у них с сомнением в реальности реального мира, — и за всем этим стоит глубокое сознание того, что реальная социальная почва уходит у них из-под ног, что история — высшая социальная реальность — враждебна им, за этим стоит глубокое чувство неприятия мира, желание отчуждения от него. И вот — единственная реальность, обретаемая ими в зыбком окружении катастроф, среди фантазий, прежде казавшихся истинами, — это личное *я*, субъективное переживание, эмпирическая данность индивидуальной психологии самого носителя мышления. Его мысли — теперь более не эманация абсолютной рациональной истины; они только конкретный случай, только личное дело, но они несомненны, так же как и его эмоции, — и здесь, в личностном переживании, они ищут спасения от крушения всего остального. Скепсис и релятивизм приводят с неизбежностью к солипсистскому миропониманию. В конечном счете писатель и мыслитель ставит самого себя в центр мира. Мироздание формируется для него не по законам логической схемы, а по законам его собственного восприятия именно как личного переживания.

Характерно то, что это движение от механического и рационалистического мировоззрения к индивидуалистическому солипсизму органически связано с общим движением европейской мысли в эпоху буржуазной революции конца XVIII — начала XIX века. Человек, личность, индивидуальность — вот идея, формирующая мышление эпохи и у Руссо, и у Канта, и у Карамзина, — человек, разбивающий оковы схем классической поэтики, механической дедукции. У Руссо эта идея человека, высшей ценности личных стремлений и чувств, стремится разбить оковы феодального строя. Его идеал — свободная личность, и он проповедует принципиальную свободу человеческих личных стремлений Идея личности для Муравьева и потом Карамзина — это трагический результат крушения феодального мировоззрения, это попытка уйти от социальной проблематики, от социальных связей. Руссо и Му-

равьев — люди враждебных лагерей, и все же Муравьев считает Руссо одним из учителей его эпохи, и все же они связаны единым движением мысли и чувства их времени, — и в этом сила и значительность и Муравьева и Карамзина. Они были консерваторами. Революция приводила их в ужас. Но они не могли и не хотели закрыть глаза на великие переломы в жизни и сознании людей их времени, — они хотели по-своему примениться к новым условиям, освоить новые задачи человечества. Солипсизм и скепсис были выражением их чувства собственной социальной гибели, грядущей и неизбежной, были в сущности отказом от участия в истории. Но оборотной стороной того же мировоззрения было признание личности в ее не логическом, а лично-психологическом понимании, — ценностью, мерилом истины, высшей реальностью, — а за этим шла проблема человека — такая, как ее создала и как ею руководилась культура XIX столетия.

Муравьев не верил в абсолютную истину. Он писал: «В пустыне только сотворяется мудрец, стихотворец и вспыльчивый защитник истины, то есть собственных своих мыслей».[1] Эта оговорка глубоко знаменательна. Она вскрывает основу мышления Муравьева. Она немыслима для Сумарокова, считавшего, что истина вовсе не заключена в «собственных» мыслях отдельного человека, а существует над всеми людьми в сфере чистой разумности. Для Муравьева иной истины, кроме личных взглядов данной индивидуальности, не существует.

Если истина, как категория гносеологическая и онтологическая, сведена к индивидуальному мнению, то и мораль для Муравьева обосновывается не общеобязательными логическими законами, а эмоционально, личным переживанием. Он пишет: «Сердце человеческое, позорище страстей и желаний, представляет искусному наблюдателю тьму зрелищ любопытных. Целая жизнь наблюдений не довольна для изучения сокровенных его движений. И для того *Нравоучение, не смея возвыситься к точности геометрического способа, вместо доказательств заимствует внутреннее и нежное чувствование,* которое всемогущая рука создателя вло-

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 265.

жила в перси каждого. Чтоб удостовериться в превосходстве благородного предприятия, великодушного дела, довольно только вопросить собственное сердце. Какое благополучие, ежели чисто и спокойно, как весеннее утро, не порицает оно нас унижением к пороку, каким-нибудь поступком гнусным и бесчестным! Сии *естественные понятия добра и зла — ощущения приятные или неприятные,* которые оставляют по себе в душе нашей свободные наши действия, приводит Нравоучение в порядок полной и подробной».[1] И тут же мы видим, что перед Муравьевым как перед писателем стоит великая задача изображения всей сложности конкретной психологической жизни человека, вовсе не стоявшая перед писателями-классиками.

Человек для Муравьева — не механический конгломерат, а живая чувствующая личность, и особенность его деятельности или поступков он склонен объяснять его психологической, эмоциональной сущностью, а не логикой себялюбия. Отсюда интерес Муравьева к книге Адама Смита «Теория нравственных чувствований», в которой действия людей выводятся из врожденного инстинкта сочувствия; эта книга, по словам Муравьева, «изобилует чертами простыми и величественными, которые открывают тонкого и верного наблюдателя Природы».[2] Книгу А. Смита проповедывал его ученик, профессор Московского университета С. Е. Десницкий, который, вероятно, и научил ценить ее Муравьева.

Муравьев — антирационалист. Чувство для него — единственная основа бытия, истины, морали. Это была большая и, конечно, передовая идея эпохи. Эту идею нес на своем знамени Руссо, и, хотели того или не хотели русские дворянские сентименталисты, они втягивались в круг тех же проблем ценности человеческого переживания, ценности человеческого достоинства в конце концов, которые заставили женевского философа демонстративно заявить идеалом добродетели

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 27; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 2. Ср. с этим учение Давида Юма о том, что мораль — дело не разумения, не рационального обоснования, но чувства, о роли в человеческой жизни чувства добра, аналогичного чувству красоты, о моральном чутье, инстинкте.

[2] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 21.

павшую девушку Жюли и оправдать судом высшей морали мадам де Варан, жившую со своими лакеями. Ибо страсть для Руссо — высшее проявление личности, следовательно она — добродетель. Муравьев восклицает: «О проклятая мудрость, которая уничтожает счастие чувствований».[1] Это — проклятие мудрости Сумарокова, мудрости, разумность которой ниспровергнута жизнью.

Новая мораль для Муравьева является основой новой эстетики. Он проповедует то же, что скажет и Карамзин о единстве гения и доброты (гений и злодейство две вещи несовместные): «Тот, который восхищается красотами поэмы или расположением картины, — не в состоянии полагать благополучия своего в несчастии других, в шумных сборищах беспутства или в искании подлой корысти. Нежное сердце и просвещенный разум услаждаются возвышенными чувствованиями дружбы, великодушия и благотворительности».[2] В основе эстетического переживания — услаждение, эмоция, сладостное переживание добра, а не императив разумной нормы.

В связи с этим меняется самое понятие вкуса как основы художественного творения и восприятия. Вкус — это для Муравьева безотчетное чувство. «Отличное чувствование. Вкус доставляет нам понятие о прекрасном. Он распространяет владычество свое над искусствами и письменами... Красоты поэмы или картины *убегают* [курсив Муравьева] от строгости доказательства».[3] Мало того: «Вкус должен располагать почтением и судом философа»,[4] т. е. опять — эмоция, вкус — критерий истины.[5]

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 320.

[2] *М. Муравьев,* Опыты истории, письмен и нравоучения, 1796, стр. 119; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 123.

[3] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 131.

[4] Там же, стр. 275.

[5] Ср. у Мерзлякова: «...Произведения изящных искусств, *как предмет чувствования и вкуса,* не подвержены строгим правилам и не могут, кажется, иметь постоянной системы или науки изящного. Самое понятие о прекрасном... чуждо всяких законов. Только *критика вкуса* имеет здесь свой голос, более или менее определенный»... «Вот где система» — говорил он своим слушателям об эстетике, указывая на сердце» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Моск. университета, ч. II, М. 1855, стр. 66, 67, 72).

Отсюда конкретное представление Муравьева о назначении искусств: они культивируют эмоции. Но специфическая историческая судьба дворянских интеллигентов в период великих исторических катастроф характерно формирует их представление о ценности эмоций, подлежащих эстетическому культивированию. Это — эмоции, уводящие от практики, это — тихая пристань от ужаса подлинной жизни. Муравьев оставил замечательную запись, с исключительной энергией передающую его понимание искусства и действительности.

«Елаг. . . . , сказывают, не чувствует прелести музыки. О отчаяние! — быть погружену, так сказать, в бездне восхитительных красот природы, и сохранить еще при загрубелых чувствиях тусклое мерцание разума, твердящее хотя воспоминанием и против собственной воли, что окружающее тебя есть то, *что создал бог для украшения пустой вселенной*».[1]

Эта пустая вселенная напоминает «Сумерки» Баратынского. Отсюда вырастет трагизм, пессимизм, меланхолия поэзии Жуковского и Батюшкова. Отсюда и представление о поэзии как чудесном видении, посетившем мир, характерное для Жуковского. Здесь вскрывается социальный смысл муравьевского солипсизма.

«Шумные веселья, всегда те же, оставляют пустоту, которой ничто наполнить не может: они делают душу тяжелою и неспособною к ощущениям нежным и возвышенным. В таком-то случае *забавы воображения* [курсив Муравьева] представляют приятную свою помощь».[2] Вот — определение цели искусства и определение самого искусства. Сама терминология Муравьева при высокой оценке им произведений искусства характерна: достоинство поэзии — соединение «чистоты вкуса с *волшебством* слога»;[3] «прелесть искусств»;[4] «соплетенное ими [греками] баснословие столь *нежно*. . »;[5] «*Чувствительное и нежное* воображение гре-

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 157; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 303.

[2] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 115.

[3] Там же, ч. II, стр. 26.

[4] Там же, стр. 29.

[5] Там же, стр. 30.

ков украшало все, к чему ни прикасалось. Законодатели заимствовали *прелесть стихотворства,* чтоб впечатлеть в сердцах сограждан строгие свои наставления. Музыка употребляема была средством воспитания и приведения страстей в *приятное согласие*».[1] Волшебство, прелесть (нельзя забывать, что слово «прелесть» имело тогда еще смысл — прельщение, обольщение, так же как слово «обаяние»), чувствительное и нежное выражение, приводящее душу в приятное согласие, — вот идеал искусства Муравьева.

6

Вместе с новым пониманием жизни и искусства, ведущим в дальнейшем к Карамзину и Жуковскому, Муравьев создавал и новый стиль поэзии и прозы, закладывал основы того стиля, который станет общим для всего круга литераторов, объединенных именем и авторитетом Карамзина. В творчестве Муравьева — не только как мыслителя, но и как практического художника слова — происходила коренная ломка самого принципа стиля, самой сути отношения к слову, к языку, выражающего глубокие основы мироощущения поэта.

Муравьев начал писать стихи в качестве ученика сумароковской школы. Его ранние стихотворения, оды, басни, эпистола к В. В. Ханыкову и др. следуют во всех отношениях образцам поэзии русского классицизма. Это то же рационалистическое мышление, то же сухое, разумно-понятийное, наукообразное, плоскостное истолкование семантики слова, принципиальный антиметафоризм, примеры которых дал Сумароков и которые были канонизованы Херасковым, В. Майковым и их собратьями по школе. Устойчивый мир четких разумных сущностей стоит за этим стилем, как убеждение автора. Но уже в 1770-х гг. эта система стиля дает трещины в творчестве Муравьева, и начинается выращивание новой. Нет необходимости в данной работе останавливаться на стихах Муравьева ста-

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. II, стр. 34.

рого классического стиля; в них он — только лишь один из представителей школы, притом один из поздних учеников ее в ту пору, когда система этой школы уже окостеневала, теряла свою идеологическую активность.

Гораздо значительнее те несколько стихотворений (до сих пор опубликовано вообще мало стихотворений Муравьева), в которых он — новатор; важнее также наблюсти ростки сентиментализма в стихах сумароковского толка, наблюсти первые элементы будущего поэтического канона в стихотворениях, как будто бы принадлежащих еще прежней традиции. Именно об этих новых элементах и новых по стилю стихотворениях будет итти речь дальше. Речь Сумарокова и его учеников формулирует точно и плоскостно объективную по отношению к писателю как личности и творцу *мысль*.

Речь Державина, современника Муравьева, как и он, разбивавшего классические схемы, формулирует объективный мир эмпирических и разрозненных предметов, вещей, среди которых самая личность поэта является одним из эмпирических и объективных фактов.

Муравьев строит речь, формулирующую *отношение* к вещам и мыслям, причем мысли и вещи сами по себе, как объективное бытие, становятся проблематичны и получают якобы подлинное и притом эстетическое бытие лишь в эмоции красоты и благости, перцепирующей их. Объективно-идеалистическая концепция действительности, как она выразилась в самом принципе семантики русского классицизма, уступает место субъективно-идеалистическому погружению в собственную психологию.

Муравьев осуществляет первые подступы к созданию особого специфически-поэтического языка, суть которого не в адэкватном отражении объективной для поэта истины, а в эмоциональном намеке на внутреннее состояние человека-поэта. Поэтический словарь начинает сужаться, стремясь ориентироваться на особые поэтические слова «сладостного» эмоционального характера, нужные в контексте не для уточнения смысла, а для создания настроения прекрасного самозабвения в

искусстве. Формируется тот поэтический словарь, который характеризует поэтику Жуковского и Батюшкова.

В тот день, как солнцева горяща колесница,
Оставив область Льва, к тебе, небесна Жница,
Стремится перейти в *прохладнейший* предел,
Как ратай точит серп и желтый клас созрел,
И солнечны лучи вселенну освещали,
А над главой моей *сны легкие летали,*
И вдруг мне виделась *прекрасная* страна,
Где вечно царствует *прохладная* весна:
Где *извиваются* между холмов долины
И смотрятся в водах *высоких* древ вершины...»

(«Видение»)

«Прохладный», «прохладнейший», «прекрасный», «легкие сны», — в контексте этих слов и «высокие древа» звучат не конкретным указанием на их величину, а эмоциональной высокостью темы и настроенности. В этом ведь и заключается суть новой семантики; «прохладная весна» — не точное логическое определение; как таковое оно могло быть нелогично, неверно. Но прохлада — не только температурное определение; это слово связано со старинным значением своим — в смысле услады, — и оно звучит так же, как слово «сладостный», т. е. обозначением эмоционального отношения говорящего к объекту. Сумароковская суховатая логичность вообще предается Муравьевым. Долины у Муравьева извиваются; Сумароков писал полемически: «дорога никогда не шатается, но шатается, что стоит или ходит, а что лежит, то не шатается никогда» (по поводу стиха Ломоносова «Сомненный их шатался путь», — статья «Критика на оду»). То же можно было бы сказать с данных позиций и об извивающихся долинах. В самом деле, сами долины извиваться не могут. Но сознание человека, воспринимающего пейзаж, может стремиться оживить его своими ассоциациями, впечатлениями. Изгиб долины может родить в сознании поэта образ извивающегося движения, и в этом сущность муравьевского словоупотребления в данном случае. Ему видится движение там, где его нет и быть не может; это — его восприятие природы, а не сама природа, образ которой тонет в субъективном переживании; это — движение взгляда поэта, а не то, что он видит. В то же время это слово с поэтическим ореолом, эмоциональ-

ной насыщенностью, потому что оно — не деловое, «практическое» слово и потому что оно несет в себе оттенок настроения, эмоции, связанных с самим движением, им изображенным. Слова начинают значить эстетически не столько своим привычным словарным значением, сколько своими обертонами, эстетически-эмоциональными ассоциациями и ореолами. «Прекрасный», «легкий», «прохладный» — эти слова характеризуют не предмет, а лирическую тему. «Легкий сон» — не значит в данном контексте ничего подобного, скажем, легкому перу; здесь слово «легкий» осмысляется только эмоциональными ассоциациями с чем-то очаровательным, лишенным земных тягот.

Характерно, что большинство слов новой семантики у Муравьева — эпитеты, прилагательные. Позднее эта система выдвинет эпитет на ведущее, определяющее стиль место, а еще позднее Пушкину придется бороться против засилья эпитета, которому он сам отдал дань в 1810-е гг. Эпитет «украшающего» типа, — а таковы именно эпитеты, вводимые Муравьевым, — преодолевает внешность предмета. «*Багряна* ветчина, *зелены* щи с желтком, *Румяно-желт* пирог, сыр *белый,* раки *красны*» у Державина — все это именно вещественно-предметные эпитеты, обозначающие зримые элементы эмпирической действительности; они конкретизируют предметно свое существительное. Эпитеты типа «сладостный», «прекрасный», «резвый» и т. п. в словоупотреблении Муравьева — Батюшкова возводят предмет к эмоции, стремятся снять предметность своих существительных, выделить в составе их те признаки, которые воспринимаются поэтом как его отношение к предмету. Слово «дар» обозначает некий предмет, подарок; уже сочетание слов «природы драгоценный дар» меняет облик самого слова «дар»; субъективные категории в слове «*драгоценный*» — не в смысле ведь: дорогой по цене, а в смысле: драгоценный для меня, — превышают объективное в слове «дар», и оно само значит уже более — счастье, радость, удовольствие, чем тот предмет, который вызвал все эти переживания. Вообще ведь существительное более всего предметное, «объективное» слово, и возможность субъективизации прилагательного более широка.

Я полагаю, что семантическая переакцентировка слова в новой системе Муравьева, так же как его тяга к сладостной лексике глубочайшим образом выражают новое в его мировоззрении по сравнению с устоями сознания русского дворянского классицизма. Замечательно в этом смысле стихотворение Муравьева «Ночь».

К приятной тишине склонилась мысль моя:
Медлительней текут мгновенья бытия.
Умолкли голоса; и свет, покрытый тьмою,
Зовет живущих всех ко сладкому покою.
Прохлада, что из недр прохладныя земли
Восходит вверх, стелясь и видима в дали
Туманов у ручьев и близ кудрявой рощи,
Виется в воздухе за колесницей нощи,
Касается до жил и освежает кровь.
Уединение, молчанье и любовь
Владычеством своим объемлют тихи сени
И помавают им согласны с ними тени.
Воображение, полет свой отложив,
Мечтает тихость сцен, со зноем опочив.
Так солнце утомясь пред западом блистает,
Пускает кроткий луч и блеск свой отметает.

и т. д.[1]

Здесь эмоциональная лексика сладостного скопляет целые фаланги слов определенного, заданного настроением типа, и само лексическое определение этих слов образует подлинную лирическую тему стихов более, чем предметное содержание описания.

«Приятная тишина», «мгновенья», «сладкий покой», «прохлада», «стелясь», «туманы», «кудрявая роща», «виется», «освежает», «уединение, молчанье и любовь», «тихи сени», «помавают», «согласны тени», «воображение» (и его «полет»), «мечтает», «тихость», «опочив», «утомясь», «блистает», «кроткий луч» — вот лейтмотивное сочетание слов-символов эмоции, которые строят лирическую волну, составляющую основу стихотворе-

[1] Я разбираю это стихотворение по тексту, извлеченному из рукописей Муравьева и любезно предоставленному мне Л. И. Кулаковой. В издании 1819 г. стихотворение дано в тексте, переправленном Жуковским либо Батюшковым. Любопытно, что в нем устранен ряд характерных стилистических эпитетов, наиболее отчетливо подготовляющих стилистическую систему Жуковского, наиболее романтических в своей основе. Приведенный выше отрывок из стихотворения «Видение» дан также по рукописи (текст сообщен мне Л. И. Кулаковой).

ния. Это все — слова того типа и той функции, которые будут канонизированы в качестве поэзии чувства и сердечного воображения в начале XIX столетия. В сущности, логико-синтаксическое построение разрывается характером поэтического использования этих слов; в сущности, они перестают быть только грамматическими элементами предложения; они начинают воздействовать как музыкальные тональности, как сумма мелодий или цветов. Каждое из них — в ряду других аналогично звучащих слов более насыщается смыслом, как эманация настроения, чем складывает логическую фразу. Они соотносятся друг с другом не столько методом грамматического согласования или подчинения, сколько методом нагнетания настроения, прикрепленного к последовательно повторяемому намеку разных оттенков. «Уединение, молчанье и любовь» — это отдельный стих; и не так существенно эстетически ощущение связи этих трех слов со следующей строчкой, связи трех подлежащих с сказуемостной группой, сколько самое сочетание этих трех волн единой эмоции, трех слов-звуков одного ряда, хотя и разных оттенков, как бы самих по себе, как единства лексики, семантики и «стихового» ряда. Таким же образом и самый логический порядок раскрытия темы преодолевается. Эмоция, — подлинная тема стихотворения, — едина, цельна, нерасчленима и, для Муравьева, иррациональна. Она выражается последовательностью словесных групп в порядке компромисса, уступки необходимости языка. Но поэт стремится преодолеть эту объективную рациональную стихию языка. И последовательность словесных групп, образов, тематических элементов мотивируется не логикой или последовательностью изображаемых событий в объективной действительности, а лишь условной последовательностью все более углубляемого и усиливаемого музыкального звучания. С точки зрения «смысла», логики, объективной темы классицизма, — строки, фразы, слова в данной системе могут быть представлены в любом порядке, удалены, изменены и т. д., — и ничего не изменится. Слово отрывается от сферы логической прикрепленности, и рождается новая замкнутость его, новый принцип метафоризма. Основа его — ощущение полисемии слова, недоступное классицизму. И именно

на вторичных, ассоциативных значениях слова строится его осмысление в новой метафоре, по романтическому принципу.

В приведенных строках стихотворения «Ночь» мы на каждом шагу встречаемся с алогическими, с точки зрения сумароковского классицизма, сочетаниями слов, которые становятся возможными именно благодаря отрыву слова от своего непосредственного предметного значения. Муравьев не боится сказать, что «прохлада восходит вверх», что она «видима», что она «вьется»; «прохлада» сливается у него с «туманами». Температурное значение слова «прохлада» здесь преодолено окончательно. Впоследствии, идя по путям, открытым Муравьевым, Жуковский напишет изумительный стих:

Как слит с прохладою растений фимиам.
(«Вечер»)

Здесь прохлада (температура) сливается с фимиамом (запахом), — и это столь же абсурдно, если подходить к тексту по-сумароковски. Но это нисколько не абсурдно в поэтике романтизма, потому что у Жуковского (как некогда у Муравьева) *прохлада* не означает температуру, а *фимиам* не означает запах, а и то и другое слово означают настроение, восприятия, оттенки переживания вечера (а не самую картину природы вечером), и в этом смысле эти слова, выражающие явления одного ряда, могут быть сопоставлены, и обозначаемые ими объекты могут сливаться. Так и у Муравьева *туманы* — это не столько объективный факт пейзажа, сколько туманное переживание; это те самые *туманы,* о которых в 1824 г. писал Кюхельбекер, нападая на поэтов школы Жуковского, у которых — «бледные, безвкусные олицетворения *Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же *туман:* туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя» («О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие»).[1] С таким туманом может сливаться прохлада, которая может также «виться» (см. выше о слове «извивающийся»).

---

[1] «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 38.

Ниже — то же самое: уединение и молчанье (как будто бы внешние факты) вдвинуты в один ряд с любовью — фактом переживания, потому что и первые два слова здесь — символы переживаний; и затем — любовь и уединение «объемлют тихи сени». Здесь сени вполне субъективированы, поскольку они объемлются любовью, т. е. лирической темой авторского состояния, или же объемлют ее. Далее — то же самое: тени «помавают» им, т. е. любви, молчанью и уединению, тени «согласны с ними», т. е. с любовью, молчаньем и уединением; объективный пейзаж превращен в «пейзаж души». «Тени» согласны с чувством и настроением; они становятся тенями настроений; тень — не пятно на картине природы, а меланхолическая нота.

Наконец, может быть, шедевр этого замечательного отрывка — второй стих его:

Медлительней текут мгновенья бытия.

Это — стих Батюшкова, почти что стих молодого Пушкина — по всей своей мелодической и лирической структуре, по этому ощущению лирической стихии слова; здесь важно и удлиненное слово «медлительней», и отсутствие звука «р», и отвлеченность, эмоциональная зыбкость вообще всех слов. Но, может быть, самое принципиальное в этом стихе — это утверждение субъективности времени как философской категории. Время становится формой восприятия мира, а не объективным фактом. Здесь — в свете этой философской проблемы — стиль Муравьева определен, может быть, наиболее остро.

Я привел начало стихотворения «Ночь». Мы встретимся в нем и дальше с теми же элементами. Вот в конце стихотворения:

Не сходят ли уже с сих тонких облаков
Обманчивы мечты, и между резвых снов
Надежды и любви, невинности подруги?
    Уже смыкаются зениц уставши круги,
Носися с плавностью стыдливая луна:
Я преселяюсь во темну область сна...
                                        и т. д.

«Тонкие облака», «мечты», «резвые сны», «плавность», «стыдливая луна» — все это готовые формулы поэтики Жуковского и Батюшкова; потом они будут постоянно повторяться. Однако важно подчеркнуть, что вовсе

не в руках многочисленных эпигонов Жуковского и Батюшкова эти и подобные формулы стали штампами. Они были штампами с самого начала, еще у Муравьева и его младших современников. Уже Муравьев повторяет сам эти формулы, и они у него — именно формулы. В этом характерный признак семантики всего этого «сладостного» словаря поэзии. Потому что сама психологическая среда, сфера эмоций, выражаемая этим словарем, субъективна, но не индивидуальна. Она возникает на основе идеи человека и человечности, но вне осмысления этой идеи буржуазно-индивидуалистическим сознанием. Человеческая психика, даже в ультрасубъективном ее истолковании, мыслится Муравьевым, как отчасти и Жуковским, — как единая и сама себе всегда равная. У Муравьева, стремящегося передать свое *переживание*, а не внешний мир, самое *я* — «общечеловечно», устойчиво в своих функциях, не отличается от других *я*. В этом существенная разница муравьевского субъективизма от, скажем, байроновского. В этом также — связь Муравьева с рационалистическим методом, еще не преодоленная, может быть, и Жуковским, и во всяком случае Батюшковым. Отсюда повторяемость формулы, выражающая повторяемость общечеловеческого *я*. Если искать аналогий в философии, то этот тип мышления и мировосприятия — в данной плоскости ближе к кантовскому, чем к гегелевскому. Впоследствии у Жуковского представление о единстве душевной жизни всех людей будет условно мотивировано религиозной идеей души человека как эманации божественного духа, единой во всех людях.

С другой стороны, повторяемость формул новосоздаваемой поэтической речи связана с конструируемым вновь метафизическим представлением о поэтическом как надэмпирической стихии (стихии субъективных переживаний), также самозамкнутой и общеобязательной. И здесь — рецидивы рационализма, и здесь некоторая близость к винкельмановскому идеалу красоты, античной и единственной. Утилитарный характер идеи прекрасного, свойственный классицизму, как и объективистское понимание ее, преодолены. Но идея красоты как индивидуальной выразительности, намеченная Радищевым и даже Державиным, чужда Муравьеву.

Устойчивость его сознания и понимание прекрасного как благодушия придают его эстетике достаточно отчетливый консервативно-дворянский смысл.

В приведенном отрывке есть формула:

Надежды и любви, невинности подруги...

Это перифрастическое приложение крайне характерно для стиля, впоследствии канонизированного Батюшковым и Жуковским. Оно усиливает метод украшающего эмоционального эпитета. Оно топит предметное слово в ассоциациях, в волнах эстетизированных и зыбких настроений, в «красивых» и логически ненужных добавлениях. Впоследствии Пушкин, который в лицейскую пору сам отдал дань этому стилю, будет бороться с писателями, «которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут *дружба,* не прибавив: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру, — а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба...» (1822).

Тот же перифрастический характер — в иных грамматических формах — имеет стих «Я поселяюся во темну область сна» — вместо «я засыпаю». Это — типическое для всей возникающей школы стремление избежать прямого называния вещей, говорящих о неприятной, страшной действительности, это — бегство от действительности в мир эстетических фикций. Это — то же самое, что заставляло Карамзина бояться слова «парень», что заставляло его так говорить о смерти: «Вся жизнь ваша [швейцарцев] есть, конечно, приятное сновидение, и *самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу,* не возмущаемую тиранскими страстями» («Письма русского путешественника». Письмо «В карете дорогою» из Швейцарии); и еще молодой Пушкин в арзамасском стиле писал о смерти так:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем...

(«Кривцову»)

Я привел и постарался разобрать один пример образования нового стиля в стихах Муравьева. Нет необ-

ходимости столь же подробно останавливаться на других примерах, но привести некоторые цитаты кажется мне полезным. Вот стихотворение «К Музе».

На крыльях времени мои *прекрасны* дни
С собой похитили и смехи и забавы,
И *нежные мечты*, и *обещанья славы:*
Ты, *Муза скромная,* урон их замени.
  Вернее их в своих щедротах,
Отдай мне суеты ребячества; доставь
Еще мне счастье зреть старинны басни вьявь
И воздыхать еще о Нимфах и Эротах.
Кому ты в юности сопутницей была,
  Того и в охлажденны леты,
Когда суровой ум дает свои советы,
Ты манием зовешь волшебного жезла
  В страны роскошны и прелестны,
  Страны одной тебе известны,
Послушные тебе где *льются ручейки,*
  Где *сладостной твоей улыбкой*
Яснеют небеса, вздыхают ветерки
И вьется виноград с своей лозою гибкой...
...От греков уклонясь, *Ионии роскошной,*
От сени тайныя, где твой Гораций пел,
Ты посещаешь днесь край западной, полнощной
И зиждешь Граций там удел...[1]

Я выделил лишь наиболее явные, наиболее заметные элементы стиля. Ведь здесь заложен весь Батюшков, ведь это его словарь, его — и Жуковского — строение и мелодия стиха, его мифология. В самом деле, мифологический словарь, например, Батюшкова и по подбору имен и по стилистической функции иной, чем у Ломоносова, Сумарокова, чем у русских поэтов-классиков вообще. Уже Муравьев подбирает мифологические имена специально поэтические, эстетические, опять-таки «сладостные», притом часто непривычные. У него не просто Греция, а Иония; Нимфы, Эроты, Элизий — вот его античный словарь, а не Минерва, не Юпитер, не Алкид-Геркулес. Муравьевские античные имена — эстетические замены прямых слов; они овеяны настроением красоты, оторваны от злой для него реальности, и в этом их смысл. Ветер, даже ветерок для него — факт реальности; зефир — настроение, мечта, поэзия. Благоденствие культуры, жизни — это политика; удел Граций — это опять поэзия. Вновь мы встречаемся с проблемой семантических обертонов,

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. VIII, л. 3.

с проблемой построения субъективного языка, и опять социально-политическая суть проблемы проступает вполне явственно.

Дело в том, что уже Муравьев всем объективным смыслом новаторских элементов своего творчества ставил вопрос о новом отношении к языку в целом. Русские классики видели в языке условную систему знаков, порождаемую в своей структуре структурой «разумной», логической истины. Впоследствии Пушкин совершит великий перелом, поняв, что язык данного народа — это объективный для поэта мир воплощенной истории и воплощенного характера этого народа. Предшественником его в этом направлении был Крылов и лишь в малой степени Радищев. Крылов и в особенности Пушкин не сочиняют свой язык, а исходят в своем языкотворчестве из задач кристаллизации, нормализации стихии речи, данной им народом и — у Пушкина — историей народа. Строй языка, семантические принципы, сумма словесных образов зрелого Пушкина построены на крепкой основе речевого мировоззрения русского языка, который для Пушкина является фактом действительности, изменяющимся, но несущим свою собственную традицию; отношение к этой традиции — дело поэта-человека, наилучше выражающего тенденции, мысли и речи остальных, — народа.

Наоборот, для Муравьева, потом Карамзина, Жуковского, Батюшкова, язык поэзии предписан в своей специфичности не столько жизнью народа, сколько идеалом эмоционального движения, сколько субъективным переживанием прекрасного, а именно благостного, мечтательного, отрешенного от материи. Создавая произведения на русском языке, они хотят вступить в борьбу с «материальной», общей, объективной стихией этого языка. Они хотят создать свой, особый язык, язык высоких и прекрасных переживаний, недоступных, по их мнению, толпе. Понимание этого лингвистического субъективизма существенно для понимания всей литературной поэзии данной школы. Они хотели воплотить в своем языке не народные судьбы, а воображаемую душу человеческую, в тех ее проявлениях, которые они считали ценными. Карамзин писал о том, что русскому писателю неоткуда взять доста-

точные источники для образования его слога. «Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов, давать старым словам новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения».

И несколько ниже: «Французы пишут, как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом» («Отчего в России мало авторских талантов», 1803). В 1825 г. Вяземский писал о Жуковском, что он должен был *«покорить самый язык»* русский (в статье: «Жуковский — Пушкин. — О новой пиитике басен»).[1] Батюшков, недовольный «чухонскими» звуками русской речи, стремился перестроить ее на лад итальянский, т. е. — для него — эстетический, оперно-певучий по преимуществу.

В том же стихотворении Муравьева «К музе» мы и далее найдем те же эстетические формулы: «*резвое дитя мечты*» (это Шекспир!), «гордый певец», «*влажные*» берега Архангельского града», «муза *сладостно* водит» в окрестностях Москвы Карамзина, «Почто ж *печальная распространилась мгла* И *ясной* полдень мой своей покрыла тенью?..» и т. д.

То же и в стихотворении «К Феоне»:

Предмет нежнейшего союза,
Природы драгоценный дар.

или:

Под свод небесной, голубой,
И сладостных своих уроков
Меня в сем замке удостой.

То же в стихотворении «К Хемницеру»:

...Примите вы меня тогда, сладчайши Музы!
К горящим солнцам их согласно устремленны,
Колеблются катясь,
Я буду петь в свирель у сей волны священной...

или:

Когда ж со Львовым вы пойдете мимо оба,
И станут помавать цветочки сверху гроба,

---

[1] Полн. собр. соч. П. А. Вяземского, т. I, Спб. 1878, стр. 181.

Поколебавшись вдруг;
Я заклинаю вас: постойте, не бегите!
И в тихом трепете обнявшися скажите:
Се здесь лежит наш друг.[1]

Это уже набросок к «Бедному певцу» Жуковского, заключению его «Сельского кладбища» и другим аналогичным мотивам у него.

Эти же формулы поэтичности, эта же эмоциональная музыкальность строят стиль наиболее известного (из-за пушкинской цитаты) стихотворения Муравьева «Богине Невы»:

...В недре моря Средиземна
Нимфы славятся твои:
От Пароса и до Лемна
Их промчалися струи..
..Между тем, *как резвых Граций.*
...Я люблю твои купальни,
Где на *Хлоиных* красах
Одеянье *скромной спальни,*
И Амуры на часах.[2]
Полон вечер твой *прохлады*,
Берег движется толпой,
Как *волшебной серенады*
Глас приносится волной.
Ты велишь сойти *туманам,*
Зыби кроет тонка тьма...
..*Тонким паром* ты восходишь...

Жуковский, давший немало иллюзорных пейзажей в стихах, сказал: «Красота не в природе, а в душе человека».[4] Его пейзажи оправдывают это изречение. Его манеру и в этом отношении предсказывает Муравьев. В программном стихотворении Жуковского «Невыразимое» читаем:

Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката,
Сии столь яркие лучи...
и т. д.

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. VIII, л. 36.

[2] Этот стих, как известно, повторен Батюшковым в стихотворении «Ложный страх».

[3] «Аониды», 1797.

[4] *А. Н. Веселовский,* Жуковский, 1918, стр. 446.

У Муравьева в стихотворении «Размышление»:

Сие отверстое пространство ясно неба,
В котором плавают прозрачны облака,
Озлащены лучем вечерня Феба;
Сия кристальная покоящась река,
Сии кустарники, ее что осеняют,
И словом все черты и тон картины сей
Тогда лишь нас пленяют,
Когда мы счастие храним в душе своей.[1]

Не только пейзаж, стиль, метр, но и мысль стихотворения Муравьева — преддверие к Жуковскому.

Есть в стихах Муравьева и квиетистская мысль о том, что несчастье — благо, множество раз на все лады повторенная Жуковским, основная для него («Теон и Эсхин», «Элегия на смерть королевы Виртембергской», письма и т. д.). Вот стихотворение Муравьева «Несчастие»:

Единым манием вселенну управляет
Источник правды, бог, всесильной, всеблагой;
Но добрых иногда несчастье оскорбляет
И злобою своей корыствуется злой.
Кто знает, может быть, в руках твоих, содетель,
Несчастье — способ есть возвысить добродетель.[2]

Вообще Муравьев начинает культивировать поэтические темы, характерным образом связанные с основами нового мироощущения и впоследствии ставшие ходовыми у его преемников. Может быть, одно из самых типических явлений тематики поэзии эстетической субъективности — это обилие стихов о стихах, поэзии о поэзии, о вдохновении, о мечте. Это было действительно замкнутое творчество о самом себе, где субъективная тема формулировалась не как выражение индивидуальности поэта-человека, а сужалась — и тем самым обобщалась — до выражения настроенности творческого подъема поэта. В то же время это был уход поэзии в мир фантазии, оправдание и прославление этого мира. Мир творчества, мир поэзии, мир мечты — это тема стихотворений Муравьева «К Музе» и «Видение».

Поэтика вечера, ночи, луны, таинственности и меланхолии ночного пейзажа, расцветшая у Юнга, Грея и т. д. и впоследствии развернувшаяся у Жуковского,

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. VIII, л. 39.
[2] Там же, л. 29.

уже дана у Муравьева. Я цитировал уже стихотворение «Ночь» и отчасти — «Богине Невы». Укажу еще «Приглашение»:

В спокойствии природы
Луны приятен свет,
Когда молчат погоды
И туч на небе нет.

Теперь утихли страсти,
Движение людей:
Душа одной лишь власти
Покорствует своей:

Приди, в сии явленья
Со мною пренесись,
Эмилий, *размышленья*
Мгновеньем насладись.[1]

Тема блаженства души, освобожденной от жизненных оков, сочетается здесь типически с темой лунной ночи. Может быть, шедевром Муравьева, высшим достижением его поэтического дарования, является превосходное стихотворение «Роща», напечатанное им в 1778 г.[2] и помещенное Батюшковым в собрании сочинений Муравьева лишь в отрывке, притом с искалеченным текстом.

«Роща» написана гекзаметром. Величавость античного размера накладывает на стихотворение особый отпечаток, сочетающийся со всей совокупностью стилистических элементов, поддерживающих в стихотворении атмосферу высокой, отвлеченной и вдохновенной настроенности. При этом сама эта настроенность и ее стилистическое выражение имеют лишь отдаленное отношение к тому, о чем говорится в стихотворении непосредственно. Описывается в нем роща и поле и затем пашущий крестьянин и жена его, принесшая ему обед в поле, — в общем кусочек деревенского русского быта. Однако в стихотворении Муравьева, собственно говоря, ничего этого нет. Вся тема дана лишь очерком, контуром, легкими ампирными линиями, изменяющими совершенно облик явления. Муравьева нисколько и не интересует изображение русской природы и русского мужика, как и природы и крестья-

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. VIII, л. 7.

[2] «Опыт трудов Вольного росс. собрания при Моск. университете», ч. IV, 1778, стр. 295—298.

*

нина вообще; его интересует лишь словесное формирование *стиля* поэзии полей и рощ, поэзии вдохновления природы, — и самый этот стиль, обволакивая изображаемую действительность, поглощает ее, становясь воображаемой реальностью для поэта.

С самого начала Муравьев вводит читателя в «сладостный» стиль поэзии, как он ее понимает:

> Дашь ли *свободный* мне вход под *тихо колеблющись тени,*
> *Роща*... *Святыни твоей* стихотворец нарушить не может.

Затем — тема вдохновения в духе Жуковского:

> Дай лишь в лоне своем убежище мыслящей Музе;
> Скрой в себя ты ее в те полны чувства мгновенья,
> В кои с небес дарованье снисходит и душу колеблет.

Затем — пейзаж души, элегический музыкальный пейзаж, — опять предсказывающий Жуковского:

> Месяц спускается ниже и, кажется, падает с неба;
> Свет вливается в воздух; волны востока зарделись.

Эти два стиха, великолепные в своем стиле, конденсируют признаки стиля; см. «алогизмы»: «свет вливается», «волны востока». Все стихотворение пронизано формулами данного эмоционально-эстетического типа:

> В темной прохладе здесь бодрствовать буду.

> Тихая светлость объемлет мою умилившуюсь душу,
> Так, как прозрачное облако, в коем покоится солнце.

> Кажется, ветви беседуют, кажется, некая влага
> Воздух собой проникает и землю покоящусь будит:
> Землю, котора дремала, сенью своей покровенна,
> Се содрогается чистой росой пробужденна.

Наконец, появляется крестьянин, его жена, его плуг, его конь; стилистическая подготовка делает свое дело; Муравьев дает не столько описание жизни, сколько вводит в симфонию утра ноты бодрого труда и любви, — опять лишь в значении их субъективно-лирического звучания, а не конкретного изображения бытия как реальности. И все это у Муравьева тем более ощутимо, что он парадоксально описывает — как будто — и плуг, и дымящегося коня, и то, как крестьянин утирает пот, и то, как конь катается по траве, и т. д.

Но как это написано!

> Зри, как, луч отметая, ральное блещет железо, —

«блещет», «луч», «рало» — эти слова преодолевают конкретность темы у Муравьева.

Се ярмо совлекает со дмящась коня земледелец;
Сам уклоняется к зыблемой тени сучистого дуба.
Платом с чела своего отирает струи потовые;
Шляпу бросает и грудью ложится, к земле прижимаясь;
А между тем, как покоится плуг на ниве вонзенный,
Конь, свободен от ужищ, катается преобращаясь,
Гриву свою на траве расстилая...

и далее детальнейшее описание коня. Здесь и торжественно-медлительный распев гекзаметра, и величественная лексика, и эмоционально-насыщенные поэтические формулы убивают натуральность пота, плуга, шляпы и т. п. Величественное «преобращаясь» в гекзаметрическом ритме снимает простоту со слова «катается» и как бы «поднимает» его.

Наконец, появление крестьянки:

. Какая меня ожидает
Там картина вдали? Бугорок, освещенный лучами,
Вдруг покрывается облаком тихо носимого праха.
Или сюда кто-нибудь, отдаленного города житель,
Тенью прельщенный заходит почить в мгновение зноя?
Пусть он придет, сей путник уставший: здесь мягкие травы,
Здесь и журчащий ручей вливает сон в очи. Здесь нимфы
Шопотом тихим весь вечер прохожего слух удивляют.
Нет, не прохожий идет: это ратая нежна супруга,
Ествы полдневны несущая, ествы варенные ею,
К этому смуглому юноше, коего первые взоры,
Первы похитить умела желания хитрою лаской, —
Узы его на себя наложила она своевольно, —
Ставши супругой, быть хочет рабою любимой им только.
Зрите умильные очи ее устремленны к супругу,
Столь вображающи живо все то, что сказать она медлит.
Нежность в них изъявляется с робостью, с этим смущеньем,
Кое тем сладостней зреть, чем более скрыть она хочет.
Ах, сей взор награждает его за труд его с лишком
И наперед наслажденье дает его собственну сердцу;
Будто взошли семена, как будто поспела уж жатва;
В черные очи его проникает пламень внезапно,
Руки простерты его: единое их прикасанье
Млеющу вержет на перси к нему: ах! он ощущает
Сердца биенье, которым его ответствует тотчас. [1]

Здесь своеобразное соединение классики с Мильтоном (о котором Муравьев говорит в конце стихотворения), с любовной метафизикой и даже полуэротиче-

---

[1] «Опыт трудов Вольного росс. собрания при Моск. университете», ч. IV, 1778, стр. 295—298.

ской игривостью французов XVIII века, — и все это эстетизировано в субъективном плане, все объединено в сложности психической жизни поэта, заменяющей для него реальность страшного для него мира.

Жанровый состав поэзии обновляется у Муравьева. Вначале он пишет оды, басни и т. д. Затем жанры теряют четкие очертания. Единство потока переживаний, являющееся подлинной темой стихотворений нового типа, разбивает жесткие рамки жанровой классификации. Эмоциональная лирика Муравьева — это не элегия, не ода и не эклога. Классическое понятие жанра падает. В 1780—1790-х гг. это понятие было радикально расшатано и затем разрушено Державиным, — с иных позиций, чем Муравьевым, Карамзиным и другими поэтами их лагеря. С разных концов росли антиклассические тенденции. Схематизм классификации жанров как отражение понимания схемы жизни, разделенной на логические не смешиваемые сферы идей и понятий, падал под напором новых идей — идеи свободы человека, идеи личности, человека как реальности. В новой системе творчества, создаваемой Муравьевым, жанров в том смысле, как они понимались системой русского классицизма, вообще нет. Характерно, что Муравьев все стихотворения пишет одним и тем же слогом, без всяких различий; это — слог поэзии, это — поэтический склад души, о чем бы ни шла речь, потому что важно для него не то, о чем говорится, а то состояние говорящего, которое выражается.

Однако условно можно говорить о жанрах поэзии Муравьева, как и поэзии Жуковского, который свои сборники стихотворений строил именно по жанровым группам. При этом надо только понимать, что различие жанров у Муравьева не предопределяет, как у Сумарокова, различия всего внутреннего и внешнего строя разножанровых произведений, а определяет лишь различие оттенков эмоциональной темы и — прежде всего — внешнее соотношение элементов эпических, лирических и т. д., или выбор *внешней* темы, *внешней* потому, что всё равно суть не столько в ней, сколько в смутных волнениях, вызываемых стихами и вызвавших их.

Муравьев намечает жанр дружеского послания (образцы его давал и Карамзин и — в другой среде —

Крылов и Клушин) — «К Феоне». Муравьев пишет балладу «Болеслав, король польский». Здесь и романтика былых рыцарских времен, и любовь, и сраженье, и убийство брата братом, и раскаянье невольного братоубийцы, и «обители святые», и «коней ржанье, гласы трубны, рати бой!», и «полн любовныя тоски» — словом, обильный подбор будущих ходовых балладных мотивов.

Наконец, Муравьев, как и другие современники его на подступах к XIX столетию от Державина до Радищева, отдал дань увлечению оссианизмом в сочетании с попытками воскресить романтически русскую древность. Батюшков высоко оценил неоконченную повесть Муравьева «Оскольд», один из ранних романтических опытов русской литературы в духе макферсоновского Оссиана, во многом предопределивший тип романтической новеллы 1800—1820-х гг.; даже имена из «Оскальда» были характерны: в повести есть и Людмила и Радмир.

Типическая сентиментальная новелла с высокими чувствами, умилением, художником и т. д. дана Муравьевым в очерке «Симпатия».[1]

Множество черт сближают прозу Муравьева с прозой Карамзина. Муравьев ищет ритмичности в прозе. В переведенной из Клейста идиллии «Соболезнование к страждущим» он достигает почти стихотворного ритма прозы: «Однако же Филинт не долго жил... Ему смоковница плодов не приносила. И слезы лил над ним Цефис и сам желал так беден умереть и так же честен, как Филинт. Он предал труп его земле под деревом его и памятник соорудил, увенчанный кругом и розами и томным кипарисом».[2]

Изысканные перифразы, ритмичные периоды, эстетизированный словарь, вся сложная и тонкая искусственность лирической и иногда несколько жеманной прозы Карамзина и его учеников есть уже в прозе Муравьева.

Он говорит: «Ненасытное честолюбие *возжигает* между ими *пламенник ненависти*».[3] Он не скажет, что

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. III, стр. 243—245.
Там же, ч. I, стр. 236.
[3] Там же, ч. II, стр. 33.

северные воины передвигаются на лыжах, а так: «Зимою *на легких дсках,* прикрепленных к подошве ног, *прелетают моря и пустыни».*[1]

Вот «историческая» картина у Муравьева:

«Возмужав в сильных варваров, Галлы ужасали зверообразным видом тел своих победоносный Рим. Две тысячи лет спустя потомки их в сияющий век Людовика XIV стали образцами вежливости, красноречия и искусств. Честолюбие государя сего, сильное покровительство, которым он письмена удостоивал, личная его слава и благородство более, нежели в какой другой земле послужили к установлению и очищению вкуса. Явились великие дарования в стихотворстве и заимствовали все приятности и тонкости учтивейшего двора».

Или вот нравоучительный отрывок, осуждающий пьянство:

«Родитель радости, веселое чадо Семелы имеет только мгновенную власть хищника над многочисленным семейством скуки, страхов и уныния. Они дщери ада и паче ожесточившись прилетают овладеть сердцем несчастного, отъятым на мгновение от алчной их свирепости. Они умеют отмстить ему бессильные желания похитить себя из их мучительства. Любезной собеседник Вакх истощает сладостный сок свой между улыбающихся юношей, сверстников своих, и изливает на уединение страждущего единые только остатки чаши своей, никогда не приносимые к устам счастливого, содержащие в себе горестные струи, струи мрачных мечтаний и отметания самого себя. Ненавидящая Аета[3] подносит их и злобно осклабляется на обманчивые восторги вкушающих отравленное питие за чистый дар Лиея. Сон не удостоивает восприять в свое владычество укрощенных таким образом. Отчаянное забытие, средственное состояние между бдения и сна и нарушающее оба, приемлет в беспокойное свое лоно сии жертвы, на мгновение отъятые от мстительниц фурий и, усыпляя их суровыми видениями, пробуждает их ежечасно. О если бы чистая дщерь неба, юная Надежда, спустилася в лоно несчастливых! О если бы

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. I, стр. 278.

[2] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 94; ср.: Полн. собр. соч., ч. II, стр. 25.

[3] Аета, или Ата, — обида, пагуба.

раздвинула она мрачные завесы ложа их и возбудила дремлющих! Если бы возвратилися они к сладостному ощущению дневного света, почувствовали бы в сердце их возрождающееся чувствование бытия, отрясли с очес своих накинутое чарование уныния и неудовольствий; ах! я бы совокупился с беседою несчастливых и отер бы первые слезы, которые пролиют они, опамятовавшись, и преклоня колена мои с ними, возжег бы первое курение на жертвеннике чистыя дщери неба, юныя надежды». [1]

Проза Муравьева по всей своей стилистической структуре, по семантическим, синтаксическим, лексическим признакам весьма и весьма близка к стихам, — его же, Муравьева, стихам, — а вслед затем и к стихам его учеников и наследников. Это заметно сразу при первом знакомстве с произведениями Муравьева. Ограничусь одной иллюстрацией. Известное послание Батюшкова «К творцу Истории Государства Российского» (1818) написано, можно сказать, по Муравьеву; при этом примечательна близость не только замысла стихов Батюшкова к прозе Муравьева, но близость, тождественность стилистического рисунка *стихов* ученика и *прозы* учителя, характерная для последней. Проза Муравьева требовала лишь размера и рифмы, чтобы превратиться в стихи батюшковского стиля. У Батюшкова сказано:

Когда на играх олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушил, —
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид,
Любимый отрок Аонид,
Надежда крови благородной!
С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты,
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

---

[1] Бумаги М. Н. Муравьева, т. XVII, л. 156—157; ср.: Полн. собр. соч., ч. III, стр. 300—302

Муравьев пишет об этом эпизоде трижды: «*Когда* Геродот *читал историю* свою *на олимпийских играх,* тогда все *несчетное множество* греческих народов в глубоком молчании упоевалось слушанием, и гром плесканий увенчал оное. Каждая из девяти книг его удостоена именования Музы; а юный Фукидид, в числе слушателей, *проливал слезы* соревнования и полагал в душе своей обещание разделить некогда с Геродотом пальму Истории»;[1] «Геродот, *отец Истории читал* творения, которых сладость заслужила им носить на себе имена Муз, и будущий его последователь и соперник, младый Фукидид, смешан в *несчетной толпе* слушателей, *проливал слезы соревнования;*[2] «Славное отражение Персов Греками заключает достойным образом сочинение его, разделенное на 9 книг, каждой из которых удивление Греков приложило наименование Музы. Свидетелем восторга, произведенного чтением Геродотовых творений на Олимпийских играх, был юной Афинеец Фукидид, и слезы соревнования ознаменовали в нем преемника и соперника Геродотова».[3]

7

В конце XVIII века, к поре, когда произошла революция во Франции, в русской литературе оказались сконцентрированными силы всех действовавших в ней группировок. Около 1790 г. наступила кульминация, высший пункт напряжения и борьбы. На 1789—1792 гг. падает расцвет журнально-сатирической деятельности Крылова, и в конце 80-х — начале 90-х гг. был на вершине своих творческих открытий Державин; в 1790 г. было напечатано «Путешествие из Петербурга в Москву», а в 1791 г. начали печататься «Письма русского путешественника» Карамзина. Карамзин был выдвинут дворянской культурой в качестве противоядия против революционной «заразы», шедшей с Запада и свившей себе гнездо в России, против тех классовых групп и идейных течений, которые подняли голос в книге Радищева.

---

[1] Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. I, стр. 171.
[2] *М. Муравьев,* Опыты истории..., 1796, стр. 81.
[3] Там же, стр. 26.

Карамзин получил первое литературное и идеологическое воспитание в масонских новиковских организациях 1780-х гг., в кругу Хераскова. Преемственная связь его мировоззрения и творчества с традициями Хераскова и его школы совершенно очевидна. Но Карамзин воспринял эти традиции уже тогда, когда былая активность поэтов «Полезного увеселения» давно выветрилась, когда под ударами правительственной клики и под угрозой крестьянских восстаний былые либералы ушли в подполье, и политическое и интеллектуальное; и именно новиковская активная политическая и организационная деятельность была тем, что заставило Карамзина уйти от масонов.

Отказ от борьбы, успокоение, забвение внутриклассовых споров — вот исходный пункт политической системы молодого Карамзина. Он сохранил воспоминания о либеральных идеалах, но он — фаталист и примиренец. История напугала его учителей и предшественников; она представляется и ему страшной, враждебной и безликой силой, пред которой надо склонить голову и бежать от участия в ней.

Страх перед пугачевским восстанием загнал многих дворян-либералов в мистику. Французская революция загнала Карамзина в фатализм и исторический скептицизм. Карамзин был европейски образованным человеком; он был воспитан в атмосфере брожения умов второй половины XVIII столетия. Он не мог уже думать, что устои феодального абсолютизма, устои крепостничества вечны и незыблемы. Он в 1790 г. наблюдал вблизи, в самом Париже, великую буржуазную революцию. Над ним, над его миром дворянского благополучия, над его культурой «избранных» нависла опасность; враг был у ворот, и враг страшный, беспощадный, вооруженный. Старый феодальный мир разваливался на глазах у Карамзина, и он не мог не замечать этого, не мог не видеть силы новой, еще крепкой буржуазной культуры, расправлявшейся с остатками феодального строя. В 1790-х гг. Карамзин у себя в Москве чувствовал себя на острове, окруженном враждебной стихией; крепостническая страна отсиживалась в этот период потрясения основ во всей Европе, но то здесь, то там раздавались как бы подземные толчки, дававшие знать, что и здесь, дома, не все

благополучно. То это было выступление Радищева, то польское восстание, переносившее лозунги французской революции почти на территорию российской империи, то новый подъем волны крестьянских «бунтов». Отмахнуться от всего этого было нельзя. Отнестись к французской революции как к случайности, к бунту «черни», который, мол, можно и следует подавить — и дело с концом, — Карамзин не мог. Его сознание сформировалось в годы американской революции, в годы французской революции; для него революция не была временной заминкой в ходе дел, а великой катастрофой. Были в его время старики-реакционеры, заматерелые в своей вере в незыблемость феодальных устоев, люди типа Шишкова, которые считали, что революцию надо задавить — и все пойдет по-старому; они в самом деле ничему не научились и ничего не забыли. Иное дело — Карамзин и молодые дворяне его круга. Они по-своему поняли значение революции, и в этом была их относительная сила. Они поняли, что в лоб революцию не возьмешь, что надо приспособляться к новым условиям, что их позиция — это позиция помещиков, удерживающихся на последних укреплениях против натиска истории. Они надеялись, что эти укрепления сильны, что они устоят еще надолго, но о полной победе над силами буржуазной революции они уже не мечтали. Карамзин в известном смысле действительно европеец; он хочет жить одной жизнью с Европой, включиться в европейские литературно-идеологические течения, но включиться так, как включился ученик республиканца Лагарпа Александр I в историю Европы.

В 1797 г. Карамзин напечатал за границей по-французски статью о русской литературе, главным образом о себе самом, о своих «Письмах русского путешественника». Здесь он привел цитату из этой книги, отсутствующую в ее окончательном тексте: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха; я вижу это, а Руссо это предвидел... События следуют друг за другом, как волны в бурном море; а думают, что революция уже кончена. Нет! Нет! Мы увидим еще поразительные вещи; крайнее возбуждение умов предсказывает это» (привожу

цитату в переводе с французского).[1] Эти слова Карамзина вовсе не означают, что он сочувствует французской революции. Нисколько. Но он знает ее силу и видит ее размах, боится ее и не может не втягиваться в орбиту ее воздействия. В тексте «Писем русского путешественника», по первому изданию их, пятый томик (1801) начинался письмом о революции:

«Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты. Следственно происшествие вам известно. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов, которые славились своею любезностию и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Страсбурга: .Для любезного народа Счастье первое есть царь?

«Не думайте, однакож, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».

Карамзин, говоря о революции, не бранится, не вопит в диком припадке реакционного изуверства, как это делали многие дворянские литераторы его времени. Он принимает позу объективного историка, хотя тут же проводит свою линию неодобрения революции.[2] Но он смотрит на вещи достаточно трезво, видит слабость феодализма и силу тех, кому «потерять нечего». Он хотел бы предохранить Россию от их силы, от их влияния, которое проникает повсюду. Даже влияние мод французской буржуазии кажется ему показателем слабости противодействия этой буржуазии со стороны русских дворян. В 1802 г. он написал ста-

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, Спб. 1866, стр. 480.

[2] Ср. с этим в «Переводах» Карамзина — «Историю французской революции, избранную из латинских писателей», целиком направленную против революции.

тью «О легкой одежде модных красавиц девятого-надесять века», в которой напал на моды эпохи Директории и Консульства. Он писал: «Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников. Мы гнушаемся ужасами революции, и перенимаем моды ее. Знаем, что нынешний парижский свет состоит из людей без всякого воспитания, без всякого нежного чувства, и, следуя старой привычке, хотим соглашаться с его новыми обыкновениями... Какие женщины дают ныне тон в Париже? Роскошные супруги банкиров и подрядчиков... обогащенные народною казною, — женщины низкого состояния...» и т. д. «Но мудрено то, что в государстве благоустроенном, где есть нравы, воспитание и правила, женщины, вообще любезные, следуют моде парижских мещанок...»

Французская революция во многом определила собой оформление мировоззрения Карамзина. Она произвела на него потрясающее впечатление. Он воспринял ее как крушение всех светлых надежд, как срыв в исторический пессимизм, в безнадежность, из которой он тщетно будет искать закономерного выхода. Для Радищева, для Крылова, для многих близких к ним людей весть о революции была кликом победы; для Карамзина она была погребальным звоном. Характерно отношение Карамзина, еще почти мальчика, к американской революции и войне за независимость. В «Письмах русского путешественника» он вспоминал: «С каким восторгом, будучи пансионером профессора Шадена, читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов. Родней, Гоу не сходили у меня с языка; я праздновал победы их, и звал к себе в гости маленьких соучеников моих...» Вспомним отношение к этим же событиям Радищева. Рейналь же писал об американцах, воюющих против Англии, о том, что «все души, не исключая и рабских» принимали участие в «благородных усилиях нации, которая подвергалась самым ужасным бедствиям, чтобы стать свободной. Имя вольности столь сладостно, что все те, кто сражается за нее, уверены в том, что они возбудят сочувствие. Их дело —

это дело всего человечества; оно становится нашим. Мы отмщаем нашим угнетателям, свободно выражая хотя бы нашу ненависть к чужим угнетателям. При звуке ломающихся цепей нам кажется, что и наши скоро станут более легкими; и мы как будто дышим несколько мгновений более свободным воздухом, узнав, что на свете стало одним тираном меньше».[1]

О той растерянности, которая владела Карамзиным именно в результате развития событий революции на Западе, говорится в исключительно интересной статье его, «Письмах Мелодора к Филалету и Филалета к Мелодору». О том же, о силе крушения, испытанного Карамзиным, говорится и в его стихотворениях, в посланиях к Плещееву и к Дмитриеву. Вообще французская революция стоит за многими произведениями Карамзина и как угроза и как предупреждение. И все же дело было не только, далеко не только в ней. Дело было даже не только в том общеевропейском вихре событий, за которым следил Карамзин в 1790-х гг. Дело было в том также, о чем Карамзин никогда не писал, но, без всякого сомнения, помнил всегда, — в крестьянских «волнениях» в самой России, волна которых поднялась в 1790-х гг., в том тяжком кризисе, тупике, в который зашла императорская Россия в это время.

Карамзин не мог не чувствовать неустойчивости положения, хотя он и был вполне консервативно настроен. А он был настроен именно так с самого начала своего творческого пути. Фрондерские традиции, уже сильно выветренные, воспринятые им от московских масонов, дали ему некоторый отвлеченный и «прекраснодушный» либерализм его молодых лет и приучили его ощущать свою литературную деятельность как путь общественного учительного служения. Карамзин в двадцать лет — восторженный юноша, мечтающий о счастье человечества и верующий в то, что оно вот-вот наступит, даже уже наступает. Несмотря на масонское воздействие (или благодаря ему), он рационалист, как и все его учителя — и Херасков и — через него — Сумароков. Ему кажется, что умные теории умеренных философов-публицистов Запада уже разрешили дело истории, и умные государи и умные и

---

[1] Révolution de l'Amérique, par M. l'abbé Raynal, 1781, p. 174.

добрые дворяне прекрасно справятся с делом насаждения рая на земле только путем добродушия в отношении к своим подданным. Впоследствии он убедился, что история делается не так просто, что народы Европы хотят иного счастья, чем его помещичье счастье, что розовые надежды были только мечтой. Но эти розовые надежды с самого начала вовсе не были проявлением сколько-нибудь демократических взглядов или настроений Карамзина. Он начал свою литературную деятельность как консерватор и кончил ее консерватором же. Менялись — в связи с ходом политических событий — конкретные политические или тактические суждения, но основа была неизменна и достаточно явна, несмотря на столь же неизменную мягкость Карамзина, его ласковую вежливость по отношению к врагам; цена этой вежливости хорошо известна истории тех времен.

Профессиональная литературная деятельность Карамзина началась в журнале «Детское чтение» (1785—1789), редактором которого был его друг А. А. Петров, а издателем — Новиков. Журнал посвящен «*Благородному* [т. е. дворянскому] российскому юношеству», наполнен мистикой и необычайно сусальной нравоучительностью. В первом же номере журнала поставлен вопрос о «неравенстве состояний» в обществе. Некто Добросердов, резонер, представляющий точку зрения редакции, беседует с детьми. Он говорит: «Дети! имея все, что вам нужно, не можете вы представить нищету, которая часто царствует в хижинах братий наших, таких же человеков, как и мы. Я советовал бы вам иногда смотреть на нее в самом деле. Тогда при вкусных ваших кушаньях стали бы вы вспоминать о том, что они часто и простого хлеба не имеют; в теплых комнатах думали бы вы, как они терпят стужу; на мягких постелях приходила бы вам на ум солома, на которой они валяются; при хорошем вашем платье представляли бы вы себе их рубище, и — не стали бы вы тогда их презирать?

«Лизанька: Ах нет! конечно нет! Мы стали бы о них сожалеть и помогать им, если бы могли.

«Добросердов: Так, Лизанька. Собственное наше счастие должны мы почитать за божие благодея-

ние, которого мы не заслужили. Все мы имеем одного отца, который каждого из нас разно наделяет временными благами так, как потребно для благополучия всех вместе.

«Алексей: Это правда. Если бы все мы имели равные участи, это было бы не хорошо. Тогда никто бы не стал обрабатывать поля, никто не стал бы делать для других то, что им необходимо.

«Добросердов: Таким образом все мы терпели бы голод, нужду и не любили бы один другого. Итак, посредством неравного разделения участи бог связывает нас теснее союзом любви и дружбы».

Эта апология эксплоатации человека человеком была отправной точкой развития взглядов Карамзина и всего его круга.

Несчастье Карамзина заключалось в том, что ему не за что было бороться. Он хотел противостоять напору антифеодального переворота, но во имя чего? Он видел, что его феодальный мир не является силой, способной побеждать, по крайней мере в Европе. Шишков, другие ультрареакционные деятели дворянской политики и литературы, — те боролись с запальчивостью, агрессивно нападали на врага. Карамзин не имеет силы нападать; он исторически пассивен, он может только удерживать то, что есть; «те, которые могут всего лишиться, хотят спасти что-нибудь» — эта его формула годна не только для дворянства Франции, но и для него самого. Социальное, историческое мировоззрение Карамзина окрашивается в тона глубокого пессимизма. Карамзин, подобно многим западным писателям его времени, но по-своему, в особых условиях русской дворянской культуры, создает культ меланхолии, печали, резиньяции, готовности нести крест страданий. Бесперспективность, безнадежность его мировоззрения приводит его в сущности к безразличию, к историческому скептицизму. Он не может настаивать на правоте своих консервативных идеалов, ибо знает, что они нереальны, что они умирают. Он не может признать идеалов революции, хотя знает, что они реальны. Он убеждается в том, что в истории то и право, что побеждает. Никакого другого реального критерия ценности исторических событий он не видит.

И он ищет иных критериев ценности, прежде всего эстетических. От жизни, где сильный прав своей силой, он замыкается в круг сладостных эмоций, очень личных, очень нравственных, по его мнению, но смысл которых лишь в создании фикции спасения от истории. В конце концов за всеми проявлениями нравственной умиленности, эстетической чувствительности, исторической учительности Карамзина стоит неверие ни во что. В конце концов Карамзину хочется только сохранить свой внутренний мирок переживаний, которые кажутся ему и высокими и прекрасными.

Но что же нам, о друг любезный!
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю,
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и Рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно.
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Во век дороги не нашли,
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком,
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь,
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних,
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах,
И юный огнь погас в глазах.

Карамзин — умывает руки; он не желает принимать участия и в угнетении народов:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали,
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха;

Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,[1]
И Ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.

(«Послание к И. И. Дмитриеву», 1794.)

Все в мире — государственное устройство, жизнь и смерть, любовь и нищета, героизм и подлость — все становится для Карамзина предметом эстетического преображения (конечно, это не значит, что он теряет черты отчетливого социального мировоззрения); он эстет и скептик, для которого «красивое» и «умилительное» прекрасно — якобы само по себе. Он умиляется и даже восторгается счастливой жизнью свободных швейцарских крестьян в «Письмах русского путешественника», но это вовсе не обязывает его к мысли о желательности или необходимости перенесения соответственных порядков в Россию. Он никого не хочет судить; как сложились условия, жизнь, пусть так и будет всегда, — вот чего он хочет. В Швейцарии победила свобода, — пусть «счастливые швейцары» живут свободной жизнью; в России победили помещики, — пусть они блаженствуют и испытывают сладостную жалость к беднякам по рецепту «Детского чтения». Все по Карамзину хорошо, если только нет переворотов, которых он не любит все-таки, — все одинаково хорошо, а может быть и одинаково плохо. Поэтому не стоит стремиться к новому; лучше не будет, а любоваться есть чем при всяких порядках; ведь можно любоваться даже горем, даже социальным злом, как это прекрасно показал Карамзин в «Бедной Лизе».

Обращение Карамзина к прошлому, к истории, приведшее его в конце концов к отходу от литературы и к официальному званию историографа, имело также специфический характер. Первая историческая повесть Карамзина — «Наталья, боярская дочь»; это — умиленный гимн добрым старым временам доброго старого феодализма, чуждого еще потрясений. Эта повесть со-

---

[1] Древние поэты говорили, что златая Фебова стрела приносит смерть человеку. *(Прим. Карамзина.)*

держит скорее утопию, чем историю. Поэтому нет в ней ни в малой мере стремления воссоздать прошлую жизнь такой, как она была. И в этом отношении Карамзин крепко связан еще с старой классической традицией дворянской литературы. Историзм его повести фиктивен в такой же, в сущности, мере, как историзм трагедий Сумарокова или Княжнина. Карамзину, несмотря на то, что он хорошо был знаком с литературой раннего западного романтизма, не был свойствен глубокий историзм, возникавший в этом литературном течении. Это сказалось даже в «Марфе Посаднице», повести, написанной уже тогда, когда Карамзин всерьез занимался изучением русской истории. Эта повесть на первый взгляд удивляет. Карамзин с большим подъемом изображает республиканские доблести Марфы и ее сторонников. Реакционный тупица П. И. Голенищев-Кутузов счел нужным сделать донос на Карамзина как на якобинца и при этом ссылался именно на «Марфу Посадницу». Но Голенищев-Кутузов был не прав. Повесть Карамзина нимало не революционна. Лишь релятивизм позиции Карамзина привел его к возможности восторгаться республиканцами. Прежде всего здесь следует оговорить, что новгородские герои у Карамзина внеисторичны; они построены по рецепту княжнинского «Вадима»; это — античные герои в духе классической поэтики, и классические воспоминания явственно тяготеют над повестью. Недаром рядом с «вечем» и «посадниками» у Карамзина фигурируют «легионы». Не случайно также подчеркивание воспоминаний о Вадиме в «Марфе Посаднице». И сама Марфа, как и Вадим Княжнина, — представительница аристократического свободолюбия, а вовсе не демократических идей. Но дело не только в этом. Карамзин, описывая республиканские доблести, восхищается ими в эстетическом плане; отвлеченная красивость героики увлекает его сама по себе.

Проявления человеческой деятельности, которые оформились в чертеж определенной законченной культуры, — пусть она будет несколько экзотичной для Карамзина, — все они подкупают его. Сила замкнутого стиля культуры, воспринятого эстетически, импонирует Карамзину, может быть именно вследствие того, что

он чувствует слабость своей собственной культуры, аморфность ее. И еще одно: среди чуждых Карамзину, но прельщающих его своей эффектностью исторических образов больше всего его привлекают образы сильной власти, подчиняющей себе народ, власти диктаторского характера, беспощадной и прямолинейной; по такой власти тосковал Карамзин в эпоху великих катастроф конца XVIII — начала XIX столетия. Эстетические критерии — это одна сторона оценки Карамзиным исторических фактов; согласно этим критериям он прославляет то, что эмоционально действует своей характерностью, яркостью, своеобразием и т. п. С этим связаны и его романтические мотивы, — и испанская экзотика «Сиерры-Морены», и таинственная романтика ужаса, старинных замков и т. д. в «Острове Борнгольме». Внешне — эти произведения входят в традицию ранней романтической прозы в русской литературе; это — произведения большого мастерства, в которых учтен опыт западного, в частности английского раннего романтизма. Но в сущности Карамзин дает экзотический и «ужасный» материал не всерьез. В сущности он и не собирается ставить проблему национальных культур, исторически понятых, ту проблему, которая возникала у настоящих романтиков. Чужда Карамзину и идеологическая нагрузка, антиклерикальная или иная, но острая и смелая, свойственная наиболее ярким произведениям традиции ужасов и тайн, от которых зависит «Остров Борнгольм». Да и самая настроенность этой повести далека от мрачного сгущенного тона скорби и отчаяния, который делает книги Льюса или Матюрена, даже помимо их непосредственной идейной нагрузки, значительным фактом в развитии романтического мироощущения. Карамзин и в своей романтике строит красивые фикции, меланхолические, но погружающие душу читателя в состояние томного сна, забвения подлинных трудностей, подлинного социального бытия.

Критерий красоты, эффектности был основным для Карамзина как художника; критерий силы решал дело для него как историка и политического мыслителя. Нет нужды доказывать и беспринципность, и слабость, и механичность обоих этих критериев. Марфа Посад-

ница вызывает восхищение Карамзина-эстета; но она побеждена. Сила монархии в лице Ивана III сокрушила ее, и Карамзин-политик осуждает ее. Победителей не судят, — вот лозунг Карамзина. И другой: горе побежденным. И еще в «Истории государства российского» едва ли не основной аргумент в пользу самодержавия, убедительный для Карамзина, — это то, что самодержавие победило. В конце концов уже в «Марфе Посаднице» мы видим двойственную форму отношения писателя к своей героине и к своей теме вообще: Карамзин посылает Марфу на казнь, повинуясь силе и исповедуя право этой силы, и в то же время любуется эффектностью гибели Марфы. Но это любование не обязывает Карамзина к сочувствию ей или аналогичным явлениям в его современности.

Нужно оговориться: Карамзин лично, как «человек», был и честен и даже независим политически. Он умел открыто сказать царю то, что он думал, даже тогда, когда его мысли заключали осуждение деятельности царя. Но дело ведь было не в личной «порядочности» Карамзина, а в сущности его мировоззрения, и мировоззрение это было бесперспективным.

Основные идеи западного передового сентиментализма (предромантизма) выветрились у Карамзина. Индивидуализм как провозглашение превыше всего ценности человека, — одна из идейных пружин буржуазной революционности XVIII века, орудие ниспровержения феодальных привилегий, — превратился у Карамзина в расплывчатую эмоциональность, в фикцию свободных бесед условного автора с условным читателем. Человечность западного сентиментализма, в сущности требовавшая свободы, равенства и братства, превратилась у Карамзина в тощий лозунг: «И крестьянки любить умеют». Если западные сентименталисты показывали сильные и глубокие переживания людей из народа для того, чтобы снять с этих людей ярмо феодального подавления, то Карамзин проповедует другое: так как все люди могут чувствовать одинаково, и крестьянам, так же как помещикам, доступны сладостные переживания любви, семейных радостей, «добродетелей», чувство природы, то незачем волноваться и стремиться к изменению участи крестьян: они и в

крепостничестве могут быть счастливы. Тема любви между дворянином и девушкой из народа, разрешаемая западными буржуазными писателями в плоскости гнева по отношению к неравенству и прославления плебейских добродетелей, разрешается Карамзиным в «Бедной Лизе» в тонах приятной меланхолии. Бедная Лиза — не столько настоящая крестьянка, сколько идеальная оперная героиня, и ее печальная история не возмущает, а лишь должна создавать лирическое настроение.

Культ природы у Карамзина также совсем не тот, что у Руссо и у других западных писателей данного круга. Карамзина тянет в природу, красоты которой он умеет и ценить и изображать, подальше от бурь общественной жизни, в мирную обстановку деревни, где помещики — отцы своих крестьян, и крестьяне благополучны в меру своего трудолюбия, покорности и «добродетели». «Руссоизм» стал для Карамзина не стимулом разрушения феодального уклада, а методом оправдания свободы от политики, свободы помещика в своем поместье, свободы от прогресса и реорганизации общества. Само собой разумеется, что относительная реалистическая зоркость западных сентименталистов была в сильной мере ограничена у Карамзина идеализацией существующего мира. Бытовой реализм западных сентименталистов, — орудие вскрытия противоречий жизни, — заменялся у него рисовкой бытовых деталей, наблюденных через розовые очки.

Сила Карамзина заключалась в том, что он все-таки обновлял русскую дворянскую литературу, приспособляя ее к новым условиям европейской культуры эпохи буржуазной революции. Все-таки он шел навстречу Европе, т. е. сыграл известную роль в сближении русской дворянской культуры с новой Европой. В этом отношении замечательно центральное произведение Карамзина «Письма русского путешественника», целая энциклопедия западноевропейской жизни, культуры, искусства, приспособленная для русского дворянского читателя.

Сила Карамзина заключалась и в том, что он дал русской литературе образцы психологической лирики в прозе, открывшие перспективы психологического

анализа, необходимого в дальнейшем для поступательного хода литературы. Сила Карамзина заключалась, наконец, в той огромной работе, которую он проделал в области кристаллизации и очищения русского литературного языка.

Однако положительное значение Карамзина и «карамзинизма» в русской литературе — тема особой работы.

8

Радищев и Карамзин, — каждый по-своему, — стоят в преддверии XIX столетия; оба они, — каждый по-своему, — подводят итоги предшествующего века и открывают новый этап русской литературы. От обоих тянутся непосредственно нити в пушкинское время. Каждый из них явился как высшее, наиболее законченное проявление большого течения, определившегося до конца ко времени французской буржуазной революции. Традиция русской демократической мысли, не имевшая возможности до поры до времени выступить открыто и широко, накопила к этому времени силы и дала «Путешествие из Петербурга в Москву». Враждебная ей традиция дворянской культуры, создавшая в XVIII столетии немало эстетических и идеологических ценностей, на своем склоне сосредоточилась и дала тонкое, хотя и дряхлеющее искусство Карамзина. Радищевский путь — это путь подъема, дерзновенного восхождения на неизведанные высоты человеческой свободы. Карамзин — это уход от жизни, увядающая воля, воспоминание о благородных традициях и скорбь об утере жизненных идеалов, это путь реакции.

Тем не менее, как ни противоположны оба течения русской мысли и литературы, о которых шла речь в моей книге, оба они оказались нужны для последующего развития, — не только великий Радищев, но и изящный Карамзин в том лучшем, что в нем было. Они были современники, и те же исторические проблемы волновали их, но ответы на вопросы истории они давали разные. Оба они созрели как художники слова на основе восприятия предромантических литературных

веяний, но и сентиментализм у них разный. И самые традиции, воспитавшие их, росли и развивались одновременно под напором тех же исторических событий, начиная от середины века, затем — в пору пугачевского восстания, но столкновение и борьба этих традиций были проявлением глубочайшей классовой борьбы в крепостническом государстве. Это были традиции культуры, стоявшей на защите власти угнетателей, и традиции культуры, призванной развенчать и ниспровергнуть эту власть. Понятно, что, пока живо было крепостническое государство, пока живы были феодальные устои и пережитки, не могли исчезнуть те и другие традиции, не могла быть снята их борьба и в литературе. Изменяясь и принимая различные формы, радищевское начало в длительном борении с карамзинским живет на всем протяжении русской культуры XIX столетия; и великая борьба за народ началась до Радищева в сфере освободительной мысли. Таким образом глубоко в XVIII век уходят корни проблемы пушкинской народности. Таким образом и творчество декабристов, высокая гражданская поэзия, культ древнерусской освободительной героики, — все это возникает не только на основе идеологического опыта французской революции, но и на основе опыта собственного, русского движения, в поэтическом слове воплощенного и в оде «Вольность» и в «Песнях древних» Радищева.

Глубоко в XVIII век уходят также корни проблемы реализма. И здесь много материалов для Пушкина было накоплено со времен Фонвизина и Чулкова, Державина и Радищева, Крылова и Плавильщикова, — и Карамзина и Жуковского. Все эти писатели — и многие другие — не прошли бесследно для всей литературы пушкинского времени в целом. Даже чулковский метод мы подметим и в «Евгении» Измайлова и позднее, вплоть до Степанова, неудачно пытающегося в своем «Постоялом Дворе» объединить Чулкова с Бальзаком, вплоть до Бегичева и, с другой стороны, до Александра Анфимовича Орлова. Реалистические элементы сатирической традиции, выросшей из классицизма в XVIII веке, отразятся у Грибоедова. Державин, Радищев, Фонвизин, Крылов и даже Карамзин (глав-

ным образом через Жуковского) — все они внесли свою долю при построении Пушкиным системы реалистического мировоззрения в искусстве, каждый по-своему способствовал успеху колоссального дела Пушкина и в проблемах созидания языка и стиха, и в проблеме психологического анализа, и в проблемах освободительного миропонимания и социального мышления вообще. Отсюда — и посвящение «Бориса Годунова», и формула «Фонвизин, друг свободы», и воспоминание о Радищеве (первоначальный текст) и о Державине (самый стиль, построение, стих) в пушкинском «Памятнике».

СОДЕРЖАНИЕ